СОКРОВИЩА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

ВЕРГИЛИЙ
ЭНЕИДА

ВЕРГИЛИЙ
БУКОЛИКИ И ГЕОРГИКИ

СЕНЕКА
РИМСКИЕ ТРАГЕДИИ

ФИНСКИЙ НАРОДНЫЙ ЭПОС
КАЛЕВАЛА

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ
т. IV

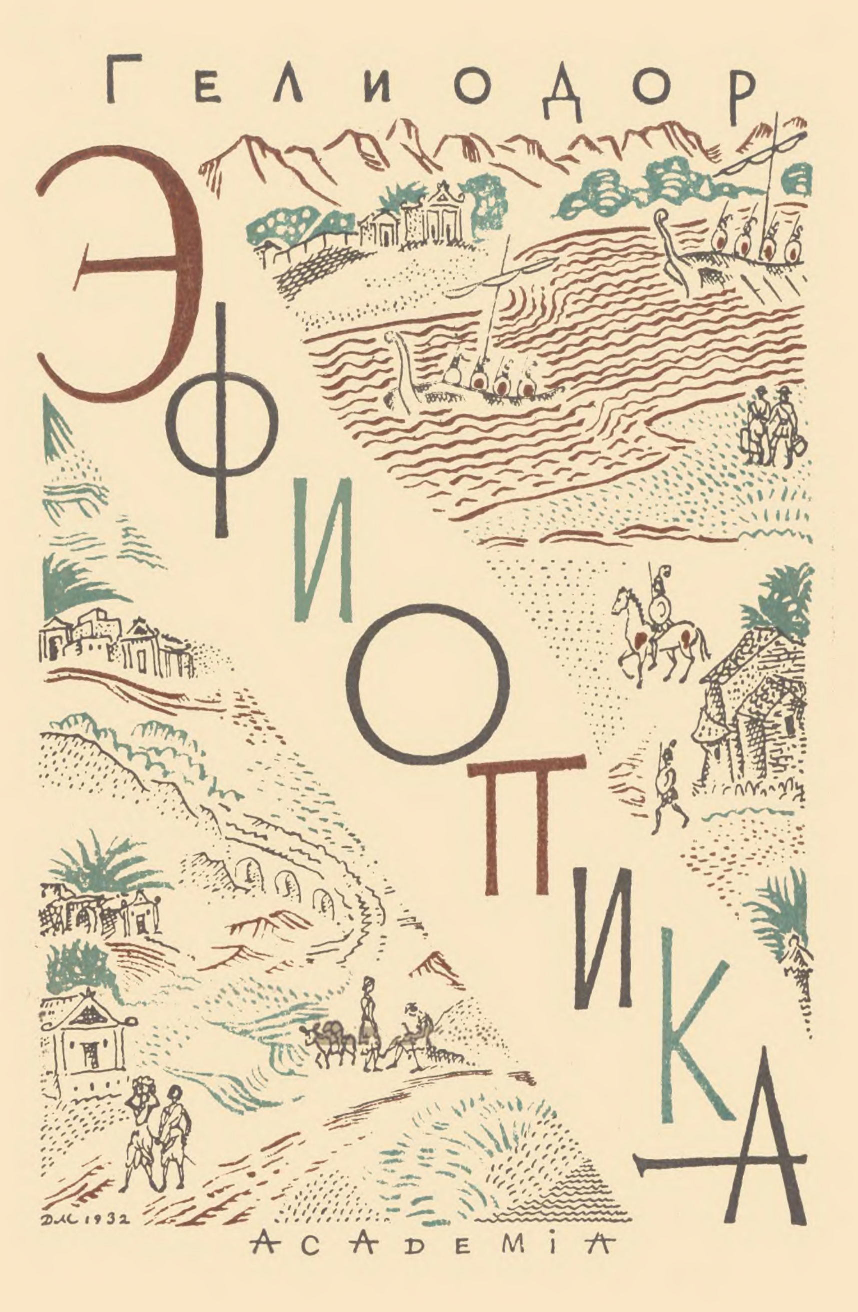
«ACADEMIA»

Москва, Кузнецкий мост, 18/7
Тел. 4-34-37

Ленинград, Социалистическая, 14
Тел. 1-38-98







Возникнув на окраинах позднего эллинистического мира как одно из последних его творческих усилий, «греческий роман» как литературный жанр оказался впоследствии чрезвычайно плодотворным образцом для развития новых европейских литературных форм.

В частности роман Гелиодора был особенно популярен в XVI и XVII веках. На него ссылается Шекспир, им зачитывался Сервантес. Но и помимо своего историческо-литературного значения «Эфиопика» Гелиодора может занять читателя как искусный рассказ о необычайных происшествиях в «далеких странах», ведомых античному миру как легендарные земли, как места приключений, как земли, манившие экспансивные группы поздних колонизаторов греко-римской эпохи.

Цена 6 р.
Переплет 1 р. 60 к.


Гелиодор
Эфиопика
ACADEMIA


1932


ACADEMIA

СОКРОВИЩА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ГЕЛИОДОР

ЭФИОПИКА



ACADEMIA
МОСКВА ЛЕНИНГРАД
1932

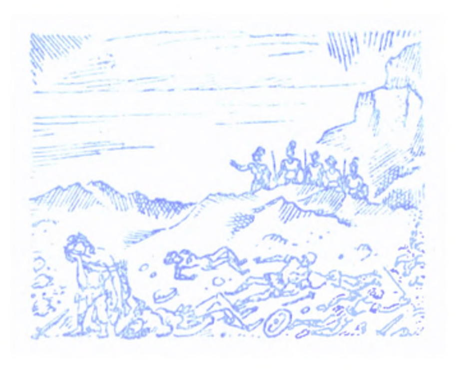
ГЕЛИОДОР

ЭФИОПИКА





ВСТУПИТЕЛЬНАЯ
СТАТЬЯ
РЕДАКЦИЯ
ПЕРЕВОДА
И
ПРИМЕЧАНИЯ
А. ЕГУНОВА



ACADEMIA
МОСКВА ЛЕНИНГРАД
1932

ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ
ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΑ
ΔΕΚΑ

Орнаментация книги
Д. И. Митрохина

ГРЕЧЕСКИЙ РОМАН И ГЕЛИОДОР



1. Читатель, с юной непосредственностью перелистывающий роман Гелиодора как сказку или приключенческую повесть, порою, вероятно, будет склонен улыбнуться, приметив, правда, в чуждом обличьи нечто ему давно уже знакомое (и, следовательно, наивное). Гелиодор имеет за собой по меньшей мере полторы тысячи лет, в течение которых его элементы были усвоены европейской литературой и в измененном виде стали общеизвестны. Любители литературных памятников в праве ожидать, что им будут приведены те контексты, в которых встречался роман Гелиодора за время долгого своего существования. И это тем более, что греческая литература II—V веков н. э. не входит в обычный читательский кругозор. Этой потребностью и определяется несколько хрестоматийный характер введения (большинство прозаических греческих в нем текстов — впервые на русском языке).

2. «Никогда в Аттике не испытывал я такой стужи; ветры дули не с одной какой-нибудь стороны, но неслись отовсюду в беспорядке, поражая нас грохотом. Падал густой и частый снег, покрыв всю землю. Он лежал не только на поверхности, но и в вышине поднялась страшная снежная вьюга, так что, открыв дверь дома, нельзя было различить знакомого переулка. А у меня не было ни дров, ни углей. Как тут быть? Холод пронизывал до самого мозга костей. И вот я замыслил Одиссееву уловку — побежал в баню, в комнаты для потения, поближе к печам, но не пустили меня туда обретающиеся там сотоварищи по несчастью: их пригнала очень схожая богиня — нужда. Едва я заметил, что войти туда мне не удастся, как побежал в баню Фрасилла, помещавшуюся в частном доме, и нашел ее пустой. Кинув два обола и этим расположив к себе банщика, я мог греться там все время, пока на дворе

был лед и снег и пока соединялись друг с другом камни застывшей между ними влагой. Когда же кипенье пронзительной стужи прекратилось, ласковое солнце беспечно показало мне свободный путь для прогулок». «Суровая зима в этом году, и никому нельзя выйти из дому. Все покрыто снегом, и белеют не только холмы, но и впадины земли. Работать нельзя, сидеть же в праздности—постыдно. Высунувшись из хижины, я едва-едва приоткрыл оконце — вдруг вижу несущуюся вместе со снегом целую стаю птиц — черных и серых дроздов. Сейчас же достаю я из лохани птичьего клея и намазываю им ветви дикой груши. Недолго пришлось ждать: налетело облако пернатых, и все птицы повисли на ветвях — приятное зрелище — приклеившись крыльями, головой или ножками. Часть их, жирных и тучных, послал я тебе — двадцать пять штук. Ведь у добрых все добро общее. Пускай завидуют дурные соседи» (Письма Алкифрона (около 200 года н. э.) I, 23, III, 30).

3. Появление мелкой литературной формы—письма, не преследующего практических задач, не выводящего именитых мужей древности, но посвященного бытовым мелочам, означает изменение сознания и автора и читателя. Снег выпадал в Аттике и в классическую эпоху (климат не мог существенно перемениться), но тогда литературное сознание не допускало его, по крайней мере в его бытовой окраске. Был снег на горах, на Олимпе; был Сократ, философски ступающий босыми ногами по льду; бывала зимняя стужа, но ее разгоняли вином у теплого очага. Много этапов должно было быть пройдено, прежде чем появилось любование мелкими явлениями быта, свидетельствущее об интимности и общем миниатюризме психики.

4. Когда-то «предпосылкою греческого искусства служила греческая мифология, т. е. природа и общественные формы, уже получившие бессознательную художественную окраску в народной фантазии... Разве был бы возможен тот взгляд на природу и на общественные отношения, который лежит в основе греческой фантазии, а потому и греческого искусства, при наличии сельфакторов, железных дорог, локомотивов и электрического телеграфа? Разве нашлось бы место Вулкану рядом с Roberts et C°, Юпитеру рядом с громоотводом и Гермесу рядом с Crédit Mobilier?» (К. Маркс).

5. Гомер и классическое искусство V века до н. э. заслоняют для неспециалистов всю остальную греческую литературу, которая между тем распространяется еще на целое тысячелетие (скажем, от V века до н. э. по V век н. э.). Греческий роман, при всей шаткости попыток его датировать, относится к I—V векам н. э., следовательно, он отделен от классической эпохи промежутком от 500 до 1000 лет. Тенденция многих исследователей помещать в каждое столетие приблизительно по одному роману может вызвать удивление. Естественнее сгруппировать греческие романы на более узком отрезке времени, основываясь на аналогии расцвета того или иного литературного жанра (например, трагедии) как в греческой, так и вообще в европейских литературах. Национально-языковая линия связывает греческий роман с предшествовавшим искусством, но линия социально-общественная и литературно-психологическая делают его явлением своеобразным. Существенно, чтобы читатель не воспринял греческий роман в виде греческого искусства «вообще», но почувствовал бы его психологическую отдаленность от классического времени. Язык даже современного нам греческого народа еще не до такой степени отстоит от языка Гомера, насколько резко несовместно сознание, проникающее гомеровские поэмы, с тем, что составляет содержание жизни нынешних греков. Так и греческие романисты, пользуясь языковыми клише и кусками классических литературных форм, сконструировали из них нечто совсем иное, что может быть прослежено на примере восприятия природы, времени, пространства и человека в греческом романе.

6. «Небольшое имение из четырех полей, подаренных мне в Вифинии моей бабкой,— писал император Юлиан (331—363 г.) ритору Евагрию,— я даю в дар твоему благорасположению; оно слишком мало, чтобы доставить владельцу избыток или славу богатого человека — все же этот подарок не совсем лишен прелести, если рассказать тебе о нем все подробности. К тому же ничто не мешает непринужденно поболтать с тобою, раз ты преисполнен харит и имеешь вкус к музам. От моря отстоит это именьице не более чем на 20 стадий, однако ни купец, ни моряк, болтливые и нахальные, не обременяют его собою, а между тем оно не вовсе лишено благосклонности Нерея: есть там рыба, всегда

недавнего улова, еще трепещущая, и, немного отойдя от дома, с какого-то холма ты увидишь море — Пропонтиду — острова и город, носящий имя благородного царя; тебе не придется итти по водорослям и мхам, тебя не затруднят морские отбросы, выбрасываемые на прибрежный песок, очень неприятные и недостойные даже названия — нет, ты будешь окружен тисом, чебрецом и благовонной травой. Великий там покой кругом для человека, прилегшего и склоненного над книгой; а чтобы отдохнуло зрение — сладчайший вид на корабли и море. В моей ранней юности это местечко было для меня самым милым летним приютом. Есть там и источники прекрасные, купанье отрадное, сад и деревья. Теперь, уже зрелым мужем, я томлюсь по этому давнишнему образу жизни, часто посещаю эти края, и эти встречи всегда отражаются в моих сочинениях. Есть там и скромный памятник моих земледельческих занятий: маленький виноградник, дающий благовонное и сладкое вино, не требующее, чтобы время прибавило ему что-либо от Дионисия или Харит: виноградная гроздь, даже еще висящая на лозе или выжимаемая на точиле, отдает розами, в боченках же — чистый нектар, если верить Гомеру. Что же так мал этот виноградник? Почему не простирается он на многие и многие плефры? Или я не был ревностным земледельцем? Нет, но трезв мой Дионисов кратéр и в сильной мере требует Нимф (воды); поэтому я припасал вина лишь сколько нужно было мне и моим друзьям — потребности же таких людей не велики. Теперь, дорогой друг, даю тебе этот дар, хоть и не большой, но отрадный для друга дружеский дар — из дома в дом, по словам вещего поэта Пиндара. Это письмо я пишу наспех, при светильнике. Поэтому, если в чем погрешил, не суди строго, не так, как ритор ритора. Ахеменида считали владельцем, а ныне Мениска, но и его я сменю, в новые руки попав, ибо некогда тот обладать мною мнил, ныне этот мнит, но я, поле, ничье, кроме единой судьбы».

7. В этом же роде, хотя и по деловому поводу, философ Евстафий писал императору Юлиану так: «Как помогло мне хотя бы и запоздавшее разрешение на право проезда! Вместо того, чтобы дрожать от страха, несясь в почтовой повозке и встречаясь с хмельными погонщиками мулов и лошаков, раскормлен-

ных ячменем, по выражению Гомера, ленивых, наевшихся доотвала; вместо пыли, гнусных криков и щелканья бичей, мне дана возможность путешествовать со вкусом, по дороге, осененной деревьями и тенистой, где много источников, много пристаниц, годных для отдыха усталому,— там нахожу я убежище, освежаемое легким дуновением, под развесистыми платанами или кипарисами, с «Федром Мирринусийским» в руках или с каким-нибудь другим сочинением Платона. Наслаждаясь свободой такого путешествия, я считал бы странным, божественный и священный друг мой, не сообщить тебе моих впечатлений».

8. Приведенные в §§ 6 и 7 тексты представляют собой действительно бытующие письма, несмотря на всю их олитературенность. От переписки таких эрудитов, щеголяющих друг перед другом и возвышенностью своих душ, и антикварным своим уклоном, недалеко было до создания письма как самодовлеющего литературного жанра, порою бесфабульного (см. письма, приведенные в § 2. Алкифрон любил рисовать быт и чувства поселян, рыбаков, нахлебников, гулящих девиц и прочего мелкого люда, но отнюдь не с оттенком социальной к ним жалости, а с подчеркиванием своей изощренности, позволяющей автору любоваться такими «непоэтическими» незначительностями). Литературное письмо после включения эротического момента подводит нас уже к области новеллы. Примером может служить Аристэнет (около 500 г. н. э.):

9. Филоплатан—Анфокому (Яворолюб—Цветовласу) «С моей Леймоной мы приятно провели время в любовном саду, вполне подходящем к красоте моей возлюбленной: там явор развесистый и тенистый, умеренное дуновение ветерка и мягкая трава, обычно цветущая летней порою. Мы легли на землю, там, где она убрана самыми драгоценными коврами. Поблизости много плодовых деревьев — груши, гранаты и яблоки, плодоносящие чудно — можно было бы сказать на гомеровский лад, воспевая это святилище осенних нимф. Все это было там, да и другие деревья вблизи, с цветущими молодыми побегами, с обильными плодами, что делало благовоннейшим весь этот приятный уголок. Я сорвал лист с одного из деревьев, размягчил его пальцами, затем поднес к своим ноздрям и стал вдыхать сладчайший, несравненный аромат. Очень длин-

ные и высокие виноградные лозы обвивались вокруг кипарисов, так что мы, откинув как можно более назад голову, смотрели на гроздья, качающиеся вокруг: одни уже стали наливаться соком, другие чуть начали принимать черно-голубую окраску; некоторые еще не созрели, иные, повидимому, только цветут. Чтобы достать зрелые гроздья, я полз по земле; Леймона же, приподнявшись на достаточную высоту, с силой ухватилась левой рукой за край ветки, влезла на дерево и там стала правой рукой собирать виноград, с дерева протягивая руку престарелому земледельцу. Под явором течет приятнейший ручей, с очень студеною водой — в этом легко убедиться, погрузив туда ногу. Ручей так прозрачен, что когда мы стали плавать и в ясной воде любовно сплетаться друг с другом, каждый член нашего тела был явственно различим. Впрочем, признаться, я порою испытывал тогда некий обман чувств из-за сходства ее персей с яблоками. В воде между нами плавало яблоко, я схватил его рукою, думая, что это вздымающаяся, словно квитовое яблоко, грудь моей желанной. Да, этот ручей прекрасен, клянусь садовыми нимфами, и сам по себе, но он кажется еще блистательнее, когда украшен благовонными листьями и телом моей Леймоны — она необычайно хороша лицом, но, скинув платье, настолько выигрывает в своей, дотоле скрытой красоте, что, одетую, ее можно счесть прямо безобразной. Да, прекрасен этот ручей. Благорастворенное дыхание зефира смягчает тяжкий летний зной, звучит тонко и усыпляюще, веет благовониями деревьев, отвечая притираньям моей сладчайшей. Смешивались оба аромата и чуть ли не равноценно радовали мои чувства. Пожалуй, однако побеждали притиранья, но только потому, что это были притиранья моей Леймоны. Кроме того, дуновенье ветерка звонко оглашалось мусикийским хором цикад, делавшим более нежным удушье полудня. Приятно пели и соловьи, летая вокруг источника; мы слушали пенье и остальных сладкогласных птиц, словно разговаривающих с людьми на своем стройном наречии. Мне кажется, я до сих пор вижу их перед своими очами: одна отдыхает на камне, стоя на одной ножке, другая прохлаждает крылья, третья чистится; эта тащит из воды какую-то добычу, та выкарабкалась на сушу, чтобы там закусить чем-нибудь. Мы беседуем о них, понизив голос, чтобы птицы не

улетели и чтобы не вспугнуть это птичье представление. Еще вот что, клянусь Харитами, было большим наслаждением; для орошения грядок и деревьев быстрая вода текла там по желобу, изливаясь в ручей; и вот слуга, стоя вдали, пускал по течению чаши, полные прекраснейшего напитка; они стремительно неслись по этому потоку и не в беспорядке, а поодиночке, в небольшом промежутке друг от друга. Каждый из кубков, наподобие грузового судна, плыл изящно и был снабжен прямо стоящим листом мидийского растения— это служило парусом для наших чаш в их мерном беге. Управляемые сами собою спокойным и безмятежным дуновением, словно корабли, быстро подгоняемые дующим в корму ветром, чаши благополучно причаливали со своим приятнейшим грузом прямо к пирующим. Мы же услужливо привлекали к себе каждый бегущий мимо бокал и пили его содержимое, в меру смешанное, так как соразмерный виночерпий нарочно смешивал с кипящей водой вино, настолько более должного теплое, насколько охладит эту смесь вода студеного потока: когда это чрезмерное тепло уменьшится под влиянием холода, тогда получится соразмерное. Так-то мы провели время, предаваясь Дионису и Афродите — мы наслаждались их чарами при каждом кубке. Леймона убрала голову цветами, словно луг. Прекрасен этот венок, он мог бы приличествовать самим Гóрам и сделать блистательнее окраску роз, если бы тогда была их пора. Итак, мой друг, спеши туда — этот уголок принадлежит красавцу Филлиону — и насладись, подобно нам, дорогой Анфоком, с твоею вожделенной Мирталою» (1,3).

10. Мотив сада не редок у греческих романистов. С данным письмом Аристэнета сопоставим в смысле интонации следующий отрывок из романа Евматия, хотя и относящегося к позднейшей эпохе, но сохраняющего в виду подражательности интонацию более ранних романистов и порою, вследствие стилизаторского своего уклона, особенно подчеркивающего некоторые приемы своих предшественников (по выражению Роде, Евматий — сумасшедший Ахилл Татий): «Сад был полон прелести и наслаждения, преисполнен растений, весь полон цветов. Рядами росли кипарисы, разросшиеся мирты образовывали кровлю, виноградные лозы обременены гроздьями, фиалка выглядывала из своих листьев

и, помимо своего аромата, еще веселила и зрение. Из роз многие свешивались со своего цветоложа, другие лишь беременели, третьи уже высунулись. Поблекшие лепестки иных уже осыпались на землю. Лилия украшает сад, обоняние ласкает, зрителя привлекает и спорит с цветками розы. Если б тебя поставили судьей над ними, не знаю, чью сторону бы ты принял. При этом виде мне казалось, что я взираю на сады Алкиноя, и я не считал басней Елисейские поля, прославляемые поэтами; здесь лавр, мирта, кипарис, виноградные лозы и другие растения, украшавшие сад или, вернее, взрощенные Сосфеновым садом, простирали свои ветви, как руки, и, виясь словно в хороводе, осеняли этот сад. Лучам солнца они позволяли касаться земли лишь в те мгновенья, когда ветерок своим дуновением колебал листья. Увидев все это, я воскликнул: «Золотой цепью опутал ты меня, Сосфен!» (Затем следует описание фонтана) «...вода изливалась из их (т. е. фигур) уст, ее журчание напоминало птичий голос. Шелестела и древесная листва, колеблемая ветерком. Прислушавшись, ты сказал бы, что это поют пернатые. Прозрачно-струящаяся по камням вода меняла их оттенок. Дно колодца украшал островной камень, белый, но отчасти отдающий чернотою. Эта чернота подражала искусству художника. В этом месте вода, казалось, беспрерывно движется, тронутая легкой рябью. Окружность колодца украшал хиосский камень, затем—лаконский, а с противоположной стороны — фессалийский. Середина выложена многоцветным камнем бесчисленных оттенков, подобранных поочередно друг к другу. И это было зрелищем необычайным и полным прелести — колодец, столь пестрый, птицы, изрыгающие воду, фессалийская чаша и золоченый орел, клюв которого служил началом источника. Рядами стояли ложа, не деревянные и не из слоновой кости, но из блистательного камня — основание из фессалийского мрамора, по бокам их украшал халкидийский камень. У каждого ложа находились полукружия, высеченные мастером из пентелийского мрамора; они служили для отдохновения ног. Благородно вытянувшиеся, друг с другом связанные и прямые, словно стропила, миртовые деревья со всех сторон обступили эти ложа. Видя это, я, клянусь Зевсом, весь обратился в зрение; еще немножко, и я онемел бы» (I, 4 — 7).

11. Сад у Евматия еще пуст; он ждет героя и героиню. В романе Ахилла Татия (I, 15—19) будущие любовники гуляют по саду. «Дафнис и Хлоя» разыгрываются целиком, можно сказать, в саду, изображенном по лучшим литературным образцам и выдаваемом за безыскусственную природу. Дарование Лонга делает убедительной эту иллюзию (ср. отзыв Гёте об этом романе; «А ландшафт! — сказал Гёте. — Он немногими чертами обозначен так ясно, что позади действующих лиц мы видим: вверху — виноградники, нивы, плодовые сады, внизу — луга с речкой и небольшой рощицей, а вдали расстилается море, и нет следа пасмурных дней, тумана, облаков и сырости; всегда голубое чистое небо, приятный воздух и постоянно сухая почва, где можно лечь без одежды»). Гумбольдт в «Космосе» также одобряет чувство природы, выраженное Лонгом. В романе Ямвлиха «Вавилоника» (известном нам по пересказу Фотия) легко наблюдать вплетение пейзажа в фабульную ткань: «Действующими лицами в романе Ямвлиха являются Синонида и Родан, красавица и красавец с виду. Они влюблены друг в друга и соединены брачными узами. Гарм, царь вавилонский, после смерти своей жены, влюбляется в Синониду и понуждает ее выйти за него замуж. Отказ Синониды и оковы ее, сплетенные из золота. Родан вследствие этого подвергается распятию на кресте — дело это поручается Даму и Саку, царским евнухам. Родан освобождается с креста стараниями Синониды. Оба спасаются бегством — он от креста, она от брака. Саку и Даму за это отрезывают уши и вырывают ноздри. Их посылают на поиски любовников. Они, разойдясь в разные стороны, принимаются за поиски. Преследователь Дам захватывает Родана и его подругу на каком-то лугу. Рыбаком был тот, кто донес на пастухов. Те, даже под пыткой, и то едва-едва указали на этот луг. Там Родан нашел золото, на которое намекала надпись на столбе со львом. Какой-то призрак козла влюбляется в Синониду, поэтому Родан и его подруга покидают этот луг. Дам находит венок Синониды, сплетенный из цветов этого луга, и отсылает его, как утешение, Гарму. Во время своего бегства, Родан и его подруга встречают у шалаша какую-то старую женщину и скрываются в пещере, прорытой насквозь на протяжении тридцати стадиев. Вход в нее зарос кустарником. Дам

останавливается. Старуха подвергается расспросам и, увидав обнаженный меч, испускает дух. Захватываются кони Родана и Синониды, на которых они ехали. Войско окружает место, где укрылись Синонида и Родан. У одного из стражей разламывается медный щит — над пещерой. Благодаря звуку, отраженному пустым пространством, обнаруживается тайное убежище. Раскапывают доступ в пещеру. Дам окликает по всем направлениям. Замечают это те, что спрятались там внутри, бегут в сокровенные закоулки пещеры и наконец убегают через другое ее отверстие. Рой диких пчел нападает затем на тех, кто копал. Частично мед достается и беглецам. Пчелы эти и их мед были заражены пищей пресмыкающихся. Некоторые из людей, ужаленных ими там, у пещеры, лишились чувств, другие умерли. Родан и его подруга, принужденные голодом, стали лизать этот мед, у них разболелся живот, и они падают на дороге, словно трупы. Войско обращается в бегство из-за тягостей войны с пчелами, однако продолжается преследование Родана и его подруги. Видят тех, кого они преследовали, распростертыми и проходят мимо, приняв их действительно за трупы. В этой пещере Синонида отрезала свои кудри — при их помощи она и Родан доставали себе, словно из колодца, воду. Дам находит там эти кудри и отсылает Гарму в знак того, что он вот-вот поймает и самих любовников».

12. Роман Гелиодора сравнительно мало пейзажен (в смысле «зеленой природы») — лишь когда героя и героиню Багоас похищает из тюрьмы, дается следующее описание: «Все было покрыто обильной муравой, так как все смывалось водой. Свежая трава и обильная растительность давали естественное пастбище. Разросшиеся персидские кусты, смоковницы и другие деревья, что обычно любят расти на берегу Нила, осеняли этот луг. Здесь-то вот и остановился Багоас со своими спутниками, в тени деревьев» (VIII, 14).

13. Приведенные примеры восприятия природы отличаются психологической общностью, несмотря на разницу литературного уклона (подлинное письмо — письмо как литературный жанр — пейзажный пассаж в романе — сплошь пейзажный роман, «Дафнис и Хлоя»). Природа воспринимается, как пейзажный аккомпанимент к подчеркнутой психической жизни. Мифологическое содержание природы выветрилось, сменившись антикварным

и даже гастрономическим к ней отношением (свежая пища; окрестности, славные по воспоминаниям об историческом прошлом; развесистый платан (чинара) не воспринимается непосредственно: при взгляде на него приходит мысль, что это дерево упоминается в знаменитом диалоге Платона и т. п.). Разница с классическим искусством в смысле подхода к природе особенно будет резка при сопоставлении например с мифологически-крестьянской поэзией Гесиода. Русские аналогии: в поэзии Кольцова нарочито возобновлена память о мифотворческом и трудовом отношении к земле (... «из большого леса солнышко выходит... выбелим железо о сырую землю...»); ... «Косари ушли уже далеко; их едва было видно с нашего берега. За ними неотвязчиво ползли бесконечные борозды скошенной травы, и изредка чуть шевелившийся ветерок веял на нас ее благовонной испариной»,—писал Достоевский («Маленький герой»), не побоявшись мимоходом дать трудовой мотив пота (правда, перенесенный на траву), вопреки понятиям его современников о приличиях («приличие—величайшее несчастье XIX века»—С т е н д а л ь). Тургенев, описывая исподний край листочков липы, запах воздуха и проч., отличается исключительно барственным, эстетическим подходом к природе, чуждым и народной сказочности и трудового утилитаризма. Крестьянину при взгляде на красный закат естественно может притти в голову мысль о том, будет ли или нет завтра вёдро, что для него не безразлично. Если же созерцание природы наводит человека лишь на переживания эротического или антикварного характера, то у читателя не без основания возникнут и некоторые социологические предположения. Приведенное в § 6 письмо принадлежит императору Юлиану, человеку, уже по самому своему сану стоявшему в центре тогдашней политической жизни, а между тем как приметны в этом письме психические морщинки утомления, пассивности, стремление убежать прочь от мира в искусственно созданный эстетический монастырь или оранжерею, чтобы оттуда, из «прекрасного далека», взирать на общественные треволнения. Несмотря на то, что действие греческих романов подчас протекает в саду, именно свежего воздуха им, быть может, недостает. Это все равно, как если бы в наше время кто-нибудь, минуя всю природу, исключительно радовался бы ком-

натным растениям. Читатель-северянин не должен забывать, что нашу противоположность между каменным городом и зеленой влажной страной греки ощущали не так: страна была сама каменистой, сухой, и эта «радость садов» есть в значительной мере радость отъединения, радость домашнего уюта, интерьера, поместья, так как подобные сады-парадизы именно и служили отрадой зажиточных домов. Что как-раз о таких садах идет речь, достаточно ясно указано в романах Ахилла Татия и Евматия, другие же романисты замаскированно распространяют эту домашне-садовую линию, вплетая в нее обломки мелких стихотворных форм и смутные реминисценции пейзажных пассажей из эпоса (гомеровские сады Алкиноя, обрисованные там, впрочем, с величественной наивностью и прямодушным утилитаризмом — их прелесть состоит не только в цветах, но и в овощах).

14. Героическая эпоха давно в прошлом, период местных демократий также. Царит римское замирение вселенной — pax romana. «На почве всесветной монархии, в течениях космополитизма, центрами интереса явились не политические, а домашние, личные отношения; схемы рассказа о себе, о личном горе и счастьи и признании не укладывались в формы, увековеченные поэтическим преданием, и вместо эпоса явился роман в прозе» (Веселовский). Беллетристика, таким образом, свидетельствует о происшедших социальных сдвигах. «Императорская власть еще со времен Септимия Севера (193—211) шаг за шагом отрешилась от всех пережитков былого принципата и приняла форму самодовлеющего начала. Император являлся неограниченным хозяином, собственником всей римской империи, а вследствие этого императорская власть представлялась такою же необходимостью в государстве, как и власть домохозяина в частном хозяйстве. В формальном отношении верховное управление государством сосредотачивалось в руках императора. Однако в текущих делах всесильным фактором власти являлась императорская администрация, поглощавшая собою всякую постороннюю деятельность. Гражданская масса населения теряла свою самодеятельность в управлении местными делами, а в IV веке также и она является уже строго нормированной во всех функциях государственного и общественного характера. Хотя в провинциаль-

ном управлении сохранялись разные местные особенности (напр. в Египте), однако, общие нормы были распространены одинаково на всю империю, не исключая и Италии. Причины переворота, начавшегося во времена Аврелиана (270—275) и зафиксированного в определенных формах в IV веке, представляют собою конечную стадию тех общих экономических основ, которые привели к превращению республики в империю. Созданная республикой римская держава явилась не только политической наследницей эллинистического востока, но приняла на себя целиком и экономическое наследие эллинистических государств. Еще на почве самостоятельных городов государств Греции совершился переход от патриархального натурального строя самодовлеющих хозяйств к торговой системе товарооборота. На этой основе в эллинистических государствах развился класс крупных капиталистов, исподволь сосредоточивших в своих руках и землю, что повлекло за собою развитие безземельного и необеспеченного пролетариата. В течение II века обнаруживаются признаки того, что обеднение захватывает более широкие круги населения, но выступило это наружу только в смутную эпоху III века, когда при Галлиене впервые начала сильно ощущаться недостача денег. Явилась необходимость в возвращении к первобытному натуральному способу, даже в государственном финансовом режиме, тягость которого в свою очередь заставляла уклоняться от повинностей не только бедных, но и более состоятельные классы. А это привело к установлению принудительных форм несения повинностей, к закрепощению труда и людей. Сосредоточение земли в руках капиталистов еще в эллинистических государствах создало образец для возникновения на Западе класса колонов (мелких арендаторов, фермеров), находившихся в большей или меньшей зависимости от владельцев. Финансовая реформа Диоклетиана возлагала на хозяев имений обязательство представлять подати нераздельно со всей принадлежащей им земли в зависимости от ее количества и качества, и таким образом помещики оказывались ответственными в исправном поступлении подати и с земель, отданных колонам. Отсюда получилось закрепление колонов к имениям. Рука об руку с закреплением социального расслоения, созданного экономическими условиями, идет сильная нивеллировка общей

массы жителей. Различие между римскими гражданами и провинциалами исчезло в III веке; исчезает также различие между коренным населением империи и пришлыми из-за рубежа варварами. Подобная нивеллировка получилась и в культурном отношении. Некоторая степень образованности охватила широкие слои населения; одако общий уровень культуры понизился. (*И. Нетушил*).

15. Самая форма романа, как прозаического повествования о том, о чем классическое искусство привыкло говорить только в стихах, была подтверждением происшедших перемен; роман предполагает приватный, домашний способ его чтения: он не связан ни с публичными рецитациями, ни с религиозным действом, ни с обрядами семейной жизни (как это было с эпосом. трагедией, комедией, брачными песнями); он не приурочен ни к какому поводу — это его отличает от большинства стихотворных античных жанров. Он подобен и в этом отношении тем мнимым письмам (на самом деле новеллам), образчики которых приведены раньше. Гелиодоровский рассказ о лечении Хариклии близко подходит к 13-му «письму» 1 книги Аристенэта. Похожи даже имена персонажей: у Гелиодора «больна» (влюблена) Хариклия, у Аристенэта «болен» Харикл. Отец у Гелиодора — Харикл, у Аристенэта — Поликл. Врач у Гелиодора Акестин, у Аристенэта — Панакий.

16. Стихотворный метр, повышая выразительность включенного в него материала, мог служить затруднением, если целью ставилась лишь развлекательность. С другой стороны, проза, кроме непосредственно прикладных, деловых задач, наполнялась обычно научным — философским, историческим — или же общественно-политическим материалом (ораторская проза). Обратное переключение обычных сочетаний — момент появления беллетристики (новелла, роман). Естественно, что прозаическая форма легко могла вызывать ассоциации и реминисценции из всех областей предшествовавшей или современной роману прозы — вплоть до естественно-научных трактатов (тем более, что любовь, как факт бытовой или биологический, могла стать предметом изучения философов, историков, естественников, облекавших результаты этого изучения, разумеется, в прозаическую форму. Напр.: Клеарх, ученик Аристотеля, был автором сочинения на такую тему, равно как и сам Аристотель); между тем общая

поэтическая задача романа и его лирическая концепция делали его наследником всего, что имелось в стихотворной форме. Отсюда формальная сложность греческого романа. Однако в виду прозрачности его техники почти всегда ясны литературные предки того или иного встречающегося в нем пассажа. Поскольку же развлекательность была его первой целью, его надо поставить в один литературный ряд с предшествовавшими прозаическими памятниками занимательно-развлекательного и эротического уклона. Здесь на видном месте стоят «Милесиака» Аристида (около 160 г. до н. э.; на латинский язык переведены Сизенной в середине I века до н. э.). Эти недошедшие до нас «Милетские рассказы» милетца Аристида отличались, как есть основания предполагать, большим объемом; они распадались на обрамляющий диалог и на вставленные в него рассказы. Обрамляющий диалог был локализован в Милете. По случаю какого-то празднества состоялось пышное пиршество, симпосион — «безудержное ночное бдение с участием женщин». Собутыльники были людьми разного состояния и характера. Это обрамление было в свою очередь вставлено в еще одну рамку: Аристид пересказывал обо всем, происшедшем на пиру, одному или нескольким лицам, которые сами не присутствовали на празднестве. Таким образом Аристид являлся в двойной роли: 1) рассказчика, 2) участника пиршества, который сам на пиру не рассказывал, но побуждал к этому других и делал ряд критических замечаний, служивших мостиками от рассказа к рассказу. Беседа велась на классическую со времени Платоновского симпосиона, тему—о любви. Но в отличие от Платона целью беседы ставилось не метафизическое раскрытие предмета, но всего лишь веселая занимательность, подчас требующая сведения темы к анекдоту, конкретизации ее в различных забавных типах и бытовых историйках, действие которых приурочивалось к Милету или вообще к Ионии. О популярности «Милесиака» свидетельствует следующий эпизод из войны парфян с римлянами, рассказанный Плутархом в биографии Красса: «в собрании селевкийского совета Сурена показал вольного содержания произведение Аристида «Милесиака». В данном случае он не солгал, — книги были, действительно, найдены в обозе Росция и дали повод к целому ряду издевательств и насмешек над римлянами, которые даже

в походе не могли удержаться от подобного рода поступков и чтения». Далее Плутарх рассказывает так: по случаю победы над римлянами «цари давали друг другу обеды и пиры; между прочим было представлено несколько греческих пьес. Гирод был немного знаком с греческим языком и литературой, Артавасд же даже писал трагедии, рассказы и исторические сочинения. Когда принесли голову Красса, столы были уже унесены, и трагик Язон стал декламировать, в роли Агавы, сцены из «Вакханок» Еврипида. Ему аплодировали. В это время вошел в зал Силлак, поклонился и показал всем голову Красса. Парфяне подняли в знак своего восторга крики, смешанные с аплодисментами... Язон, отдав одному из хоревтов маску Пенфия, схватил голову Красса и, вне себя от овладевшего им вакхического исступления, стал декламировать следующие стихи: «Мы несем с гор к себе в дом недавно убитого зверя, добычу счастливой охоты». Все пришли в восторг. В то время как хоры пели, попеременно отвечая один другому, стихи: «Кто нанес ему первый удар?—Честь эта принадлежит мне!», Помаксатр, присутствовавший на обеде, вскочил и взял голову себе, как будто декламировать эти стихи было приличнее ему, нежели другому. Царь на радостях сделал ему, по туземному обычаю, подарок». Это известие Плутарха любопытно во многих отношениях: перед нами, во-первых, оценка, правда не литературная, а морализующая, произведенная парфянами применительно к произведению Аристида (побежденному ставится в вину даже его чтение; но победителей не судят: Наполеон имел в своей походной библиотечке «Вертера»); затем мы видим, что создания классического греческого искусства были распространены и среди варваров. Близкое соседство в рассказе Плутарха упоминаний о «Милесиаке» и о трагическом театре Еврипида имеет символическое значение. «Милесиаке» и трагедии суждено было встретиться, хотя не непременно при тех обстоятельствах, какие изображает Плутарх. Греческий роман впоследствии как-раз и характеризуется заполнением заранее имевшейся новеллистической канвы театральными заимствованиями, в результате чего бытовые, анекдотические стороны повествования отступили на второй план перед высокой идеальностью в духе трагического театра (о театрализации греческого романа см. также § 45).

17. Литературная линия ведет от Аристида к римскому роману (Петроний, Апулей), а от него к французским фаблио, к итальянской новелле (хотя бы Бокачио). Сложны взаимоотношения между римским романом и греческим, даже тогда, когда они трактуют одинаковые темы—например, романы Лукиана и Апулея о превращении человека в осла. Отличающая римский роман сочность и, пожалуй, грубость письма (сравнительно с греческой сухостью и воздушностью) должна быть поставлена за счет национального момента. Еще сложнее отношения римского романа и греческого эротического романа в том его виде, который мы застаем у Гелиодора, Лонга, Ахилла Татия, Харитона и Ксенофонта Эфесского, т. е. у дошедших до нас греческих романистов. В них имеются явные следы новеллистического происхождения. В романе Гелиодора, таковы повести Кнемона и Каласирида; эпизод с Арсакой может быть также рассматриваем как отдельная новелла. Кроме того, обрамление романов Лонга и Ахилла Татия мотивирует эти романы как пересказ слышанного от другого лица, причем у Ахилла Татия рассказчик сам и является героем романа. Этот прием впоследствии в новом европейском романе многократно и многоразлично повторялся (ср. хотя бы подставного рассказчика в романах Достоевского: его по большей части незначительное «я» позволяет романисту играть мнимым авторским незнанием всех обстоятельств относительно героев романа и тем самым заинтриговывать читателя — фразы типа «тогда я еще не знал», «как я узнал впоследствии» и т. д.).

18. Несвязанные между собою обрамлением новеллы дошли до нас в виде сборника Парфения (I век до н. э.)— «О любовных страстях». Этот сборник содержит 36 кратко и сухо изложенных (на греческом языке) новелл, почерпнутых из различных источников и повествующих о любви к женщинам и молодым людям. Вводное письмо Парфения к римскому поэту Корнелию Галлу объясняет этот сборник как извлечение из поэтов, пособие для справок, литературные заготовки для самобытного обратного переложения в стихи. Таким образом этот Парфений (грек из Никеи, во время войны с Митридатом взятый в плен и таким образом еще юношей попавший в Рим, затем получивший свободу, живший некоторое время в Неаполе, там обучавший

греческому языку Виргилия, потом вернувшийся в Рим, пользовавшийся благосклонностью молодого Тиберия и подружившийся с элегиком Корнелием Галлом, который был другом Виргилия) любопытен тем, что он дает образчик новеллы, полученной как прозаический пересказ отрывков из поэтов. Подобным образом Аристэнет в одном из своих «писем» пересказывает поэму Каллимаха «Аконтий и Кидиппа». Ничто не мешает такой новелле вырасти до объема романа путем включения разнообразнейшего, могущего быть ассоциированным, материала. А грекам до самого конца их литературы всегда было что сказать. То, что Гёте называет die Lust zu fabulieren («радость выдумки») — черта совершенно греческая. У Гелиодора это названо «раздольем рассказов». Когда возобладала новая религия, эта черта позволила расцветить ее многочисленными «житиями святых», в которых порою будут слышаться отзвуки древних романов.

19. Для лиц, прошедших тогдашние риторические школы, новеллистические задания вообще не являлись новостью: там упражнялись в сочинениях на темы, взятые из истории и мифологии. Готовым пособием служили новеллы, вкрапленные в сочинения историков ионийской школы Существовала и теория таких сочинений, подразделявшая их на две категории: 1) рассказ о вещах, как-то: война, битвы, путь, картины природы, произведения искусств; 2) рассказ о лицах: этот вид должен был обладать торжественностью слога, изображать психологическое несходство, серьезность, легкость, надежду, страх, подозрение, желание, сострадание, пестроту обстоятельств, изменчивость судьбы, неожиданные неприятности, внезапную радость, наконец счастливый исход (ср. с этим те требования, которые, по словам Мопассана, читатель предъявляет к романисту: «заставьте меня смеяться, заставьте меня плакать и т. д.»).

20. Школьные реминисценции и начитанность неприкрыто сквозят в греческом романе. Впрочем, еще задолго до него, с эллинистической эпохи (и до самого своего конца) греческая литература идет под знаком эрудиции, отягощенная ценностями, созданными ранее. Но и в классическую пору художник понимал себя не как творца или изобразителя неслыханно-нового, но только как организатора уже имеющегося материала.

По эллинским воззрениям, и божество не сотворило мир из ничего, но лишь привело в порядок вселенную. Даже там, где эллинистическое искусство, казалось бы, пишет прямо с натуры, оно не может обойтись без цитат из классического наследия. Приведем образчик из жанровых сценок (мимиямбов) Геронда (III век до н. э.). Когда башмачник говорит у него своей клиентке: «Клянусь тебе, богам блаженным тот близок, кому уста ты днем иль ночью раскроешь, поставь же ножку, дай башмак мне примерить» (VII, ст. 111, 112); когда крестьянин будит свою работницу словами: «вставай, рабыня Псилла; будешь доколе храпеть?» (VIII, I), а хозяйка бранит рабыню: «Ты раздражаешь так, что злюсь поневоле; ей богу, говорю, настанет день оный, и ты башку свою дурную почешешь» (IV, 50), — то в первом примере заключен намек на оду Сафо, во втором и третьем намеки на эпическую фразеологию (во втором примере возможен также отзвук гражданской лирики Каллина). С точки зрения «наивного реализма» подобные полуцитаты из классической поэзии в устах башмачника, крестьянина и незначительной домохозяйки могли бы свидетельствовать о проникновении образованности в народную гущу, но вернее видеть в этом указание на принадлежность автора и его читателей к представителям литературного «гурманства». Не даром Плиний младший хвалит мимиямбы за их сладость и остроумие. Но данные примеры остроумны исключительно в литературном плане: стертые литературные клише звучат по новому, будучи приурочены к «низкой» социальной среде и «низким» ситуациям. Следовательно, понимание этой стороны мимиямбов едва ли могло быть широко распространено социально. Это же касается и травестированной трагической дикции у Геронда (последний прием, но только без комической установки был применяем и греческими романистами). Русские аналогии внедрения литературных клише в речь действующих лиц: 1) «я пришел к тебе с приветом..... рассказать тебе, что я проснулся, чорт тебя дери, весь проснулся под ветвями» (Достоевский). «Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоен земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей... Для любви нет различия; и Карамзин сказал: законы осуждают, мы удалимся под сень струй... Руки вашей, руки прошу» (Гоголь). Наконец и сле-

дующие реплики в устах горьковских обитателей «дна» «Да, сэр». «Цыц, лэди».

21. Поэт классической поры, пользуясь общенародным мифологическим запасом, придавал ему свое собственное художественное осмысление, на восприятие которого и должно было быть направлено внимание его аудитории, заранее знакомой с основными чертами фабулы и поэтому чуждой детского к ней интереса. В эллинистическую и продолжающую ее римскую эпоху такое понимание художественного творчества продолжается, осложняясь, однако, тем, что равноправную с бытующим мифом позицию стало занимать и уже данное ему ранее словесное воплощение, вследствие чего литература принимает сильный налет эрудиции и сплетенного с нею понятия литературного щегольства. Слово, закрепленное в цитате; фраза, развернутая в новеллу; новелла, распространенная посредством применения средств историографии, географии и ораторской прозы (столь частые у греческих романистов «судебные» речи в финале романа не прошли бесследно для техники нового европейского романа: ср. например широкое применение судебно-ораторской речи в финале «Братьев Карамазовых»)—вот техническая подготовка греческого романа. Наконец, композиционно возможно было опираться на опыт предшествовавших пространных форм повествования, т. е. на эпос, как это наблюдается в романе Гелиодора. Первая книга вводит читателя сразу в середину событий — in medias res, прием, свойственный классическому эпосу. «Начало этого произведения похоже на свернувшихся змей. Они, спрятав голову внутрь клубка, выставляют наружу остальное тело»—так определяет Фотий композицию гелиодоровского романа, беззаботно относясь к тем склизким образам, которые возникают у читателя под влиянием такого сравнения; Фотий очевидно намекает на данное в романе описание пояса Хариклии: «на грудь наброшен пояс, на который художник расточил все свое искусство, — никогда до того не случалось ему выковать ничего столь прекрасного, да и впредь не мог он этого сделать. Он скрепил хвосты двух змей за их спиною, а шеи змеиные свились друг с другом под грудью, образуя запутанный клубок, откуда показываются лишь головы змеиные, свешивающиеся по бокам, как некий прида-

ток к этому узлу. Ты сказал бы, что змеи эти не только кажутся ползущими, но действительно ползут. И очи их грозной суровостью не страшат, но влажный сон источают, словно задремали они от сладкой тоски на груди девичьей». Первые четыре книги романа перемежаются вставными новеллами. Ситуация рассказа Кнемона затем отчасти дублируется в романе сценами приставаний Арсаки к Феагену, расцвеченными в противоположность аттической среде рассказа Кнемона всем блеском персидской придворной обстановки. Этим двукратным преподнесением схожего мотива, по-разному окрашенного, Гелиодор подчеркивает свою литературную виртуозность. В 33-й главе 5-й книги роман смыкается снова, принимая прямую последовательность развития. Следовательно, роман скомпанован на ретардирующих приемах (10-я книга построена также на приеме ретардации). Щеголяя мало распространенными версиями (или, возможно, выдавая свои домыслы за редкостную легенду), Гелиодор дает фантастическую этимологию имени Гомера, основанную на созвучии Ὅμηρος и μηρός (бедро) и к тому же заставляет Гомера быть египтянином. Пресыщенный вкус романиста позволяет ему в древних Дельфах услышать гимн Фетиде, написанный небывалым размером: сплошь пентаметром (единственный пример такого стихотворения засвидетельствован нам в Палатинской Антологии — XIII, 1 — пятистишие некоего Филиппа, воспевающее Афродиту и открывающее собою XIII книгу Антологии, в которой представлены эпиграммы, написанные различными размерами. Гелиодоровский же гимн Фетиде помещен в IX книге Антологии, № 485).

22. Эта работа художника протекала в условиях многоязычного, но государственно единого мира. Многоязычность тогдашней вселенной дает себя знать в романе Гелиодора: персонажи не понимают языка друг друга и принуждены говорить через переводчика. Многие знают иностранные языки: герой романа, Феаген, немного говорит по-египетски. Об одном из второстепенных персонажей Гелиодор замечает: «греческое произношение его было шепеляво и по большей части неверно» (VIII, 15). В философском романе примерно той же эпохи — «Жизнь Аполлония Тианского» Филострата имеется следующее характерное место: «Дамид, придя в восторг от Аполлония и ревнуя о странствии,

воскликнул: «Выступим в путь, Аполлоний,— ты вслед, за богом, а я за тобой. Ведь и я кое на-что гожусь. Уж что-что, а дорогу в Вавилон, все попутные города и поселки, где множество всякого добра, я отлично знаю, так как недавно оттуда вернулся. Да и языками варварскими я владею, сколько бы их ни было, а ведь у армян один язык, у мидян и персов совсем другой, у кадусийцев третий, но я понимаю их все». А я, друг мой, — отвечал Аполлоний, — знаю их все, не учившись ни одному». Заметив удивление ниневийца, Аполлоний продолжал: «не удивляйся, если я знаю все человеческие языки, ибо я знаю даже то, о чем молчат люди. Услышав это, ассириец преклонился перед ним и стал взирать на него, как на божество и, пребывая с ним, делал успехи в мудрости и запоминал все, чему научился» (I. 19).

23. Космополитические тенденции эпохи видны в утверждении того же Аполлония, что для мудреца всюду Эллада, даже в самой гнусной стране. Подобным же образом в романе Гелиодора говорится, что для мудреца любой город — родина (III, *14*). Как мы видели, даже самому Гомеру Гелиодор устами одного из своих героев, усвояет, пренебрегая национально-эллинскими чувствами, египетское происхождение (III, 14).

24. Однако еще явственнее звучит в греческом романе национальная тенденция. «Варварское очарование ненавистнее аттической вражды» (Гелиодор II, 10). В классическую эпоху у великих эллинских поэтов отношение к иноземцам было величественно: с каким тактом отнесся Эсхил в «Персах» к только-что отраженному неприятелю. Между тем трагедия эта была поставлена, когда Акрополь еще лежал в развалинах после вражеского нашествия. Но в позднюю эпоху греческих романистов именно это обыденное соприкосновение с инонационалами пробуждало у эллинов обостренное и горделивое чувство своей принадлежности к народу, имеющему великое прошлое. «Что я забочусь о вас, — говорит один из персонажей романа Гелиодора, — вам нечего удивляться: мне кажется, вас постигла та же участь, что и меня. К тому же мне жаль вас, греков, так как я и сам грек». — «Грек? О боги!» — закричали от радости оба чужеземца. — «В самом деле грек, и по рождению, и по языку: настанет, может быть, от бед отдохновенье»... — «Но как

зовут» тебя? — спросил Феаген. — «Кнемон, — отвечал тот». — «А откуда ты родом?» — «Афинянин.» — «Какая же судьба постигла тебя?» — «Погоди, - возразил Кнемон, — зачем ворваться хочешь ты неистово, как говорят трагические поэты» (I, 8). Для вящего доказательства своего афинского происхождения Кнемон цитирует стих из «Медеи» Еврипида (ст. 1317). В трагедии Медея, уже убившая детей, из мести Язону, отвечает на его попытки ворваться в дом: «Зачем ты в дом ворваться хочешь силой? Зачем ломаешь двери? не трудись: там больше нет детей твоих убитых, они со мной».

Кнемон, сыплющий цитатами из классических поэтов, не считается с тем, что греческие его собеседники припомнят и остальной контекст, т. е. насчет убитых детей — а это в применении к Феагену и Хариклии, несчастным и невинным любовникам, дает эффект на грани комического. Дальнейшая повесть Кнемона (I, 9 — 17) оказывается сколком с истории Ипполита и Федры (с привнесением бытовых деталей). Подновленная Федра — Демэнета, мачеха Кнемона, клевещет на него, будто он пихнул ее, беременную, ногой в живот. Отец Кнемона нещадно бьет его. Сцена жертвоприношения в конце «Эфиопики» напоминает Агамемнона и Ифигению. Цель романиста — показать (в отдельной ли цитате, в перелицованной ли новелле), как принадлежность к эллинской национальности обогащает и осложняет психику обломками накопленной культуры. Дав в начале 1-й книги романтически-дикую картину разбойников (эти же разбойники - волопасы — своего рода античная «Запорожская сечь» — упомянуты и в романе Ахилла Татия (книги III и IV), в чем можно усматривать признаки того, что, несмотря на римское замирение, социальное брожение тлело где-то под спудом; обрисовка разбойников в большинстве греческих романов далеко не отрицательна (именно отсюда ведут свое литературное начало «благородные разбойники» новых европейских литератур); дав картину разгрома, пленения, болота, Гелиодор затем, контрастируя, нажимает другую педаль и во вставной новелле (повесть Кнемона) щеголяет своим уменьем занимательно рассказать хотя и ретушированную, но все же общеизвестную историйку, которую, по словам Павсания, знают даже варвары, если они хоть сколько-нибудь обучались греческому языку.

25. Но не только на предшествовавшее или современное искусство слова опирались греческие романисты. Ими был осуществлен тот принцип, который в XIX в. Теофиль Готье назвал «транспонировкой искусств». Обнажая случайно (или намеренно) оброненным замечанием еще один из источников своего творчества, Гелиодор говорит: «горожане походили на нарисованных» (VII, 7). Обрамление «Дафниса и Хлои» мотивирует весь этот роман, как пересказ картины: «на ней художник изобразил... младенцев, покинутых на произвол судьбы, юношей и дев, соединявшихся в любви, разбойников на море, нападение врагов на суше... я попросил, чтобы мне подробно объяснили картину и, выслушав все со вниманием, сочинил эти четыре книги». В романе Ахилла Татия дело сложнее, но отправным пунктом тоже служит картина — «Похищение Европы» (при описании этой картины частично дается и садовый мотив). Созерцание картины наводит на мысль о могуществе Эрота; отсюда беседа со встречным юношей, который рассказывает свои приключения — он-то, оказывается, и был героем романа. В современной греческим романистам литературе имелись примеры особого литературного жанра — пересказ картин, например, «Картины» Филострата (Гёте сообщает, что в его время веймарские любители искусств собирались воспроизвести в гравюрах эти филостратовы описания, но их намерение не осуществилось вследствие встретившихся препятствий. В качестве подготовительной работы к этой затее Гёте дает тематическую классификацию и перевод «Картин» Филострата. По мнению Гёте, из художников эпохи Возрождения Джулио Романо, должно быть, читал Филострата). Филостратов сборник содержит 64 описания картин, якобы находящихся в Неаполе. Что такой картинной галлереи на самом деле там не существовало — вопрос второстепенный. Несомненно при создании этих описаний автор должен был комбинированно руководствоваться преимущественно — если не исключительно — зрительными восприятиями. Позднее Христодор дал стихотворное описание 73 статуй (2-я книга Палатинской Антологии). В этих литературных фактах чувствуется вкус эпохи. Сопоставление подобных описаний с теми пассажами греческих романов, которые прямо или косвенно навеяны изобразительными искусствами, дало бы не мало

для уяснения литературной техники греческого романа. По мнению Гелиодора (это его экскурс в область биологии) воздействие зрительных впечатлений столь велико, что у эфиопской царицы родилось белое дитя под влиянием белого изображения Андромеды. Впрочем, данное соображение нужно романисту для обоснования красоты Хариклии, которую не мог же он изобразить чернокожей. Вопросы наследственности: не будут ли у Феагена и Хариклии черненькие детки — не могли, конечно, волновать Гелиодора. Но совершенно бесцельно по ходу романа и замкнуто в самом себе описание резного аметиста (V, 14). Оно всего ближе к самодовлеющему жанру типа „Картин“ Филострата. Наконец, надо отметить еще следующий гелиодоровский «изыск»: в 3-й главе 3-й книги он говорит: «глаза, пренебрегая зрелищем, были пленены слушанием». Если известно явление «цветного слуха», то явление «звукового зрения» еще не засвидетельствовано. По связи речи видно, что романист имеет в виду воплощение звука в ритмизованной поступи участников хора, а это может быть воспринято и зрительным образом.

Таким образом греческие романисты, в отличие от авторов александрийской эпохи, предпочитавших боковые тропинки культуры (мало распространенные версии мифа, фольклорный материал захолустий и т. п.), на ряду с этими источниками не брезгали и общеизвестным материалом, умея сконструировать его по-новому, на новых интонациях. Римские власти расхищали накопленные старыми городами Эллады художественные сокровища — именно таким путем был, например, украшен основанный тогда Константинополь. В древней до-Юстиниановской церкви св. Софии было собрано более четырехсот античных статуй, среди них изображения Зевса, Афродиты, Артемиды. Понятно, что памятники древнего искусства, изъятые из той обстановки, для которой они предназначались, и помещенные на улицах, площадях или в храмах новой столицы, должны были зазвучать по-новому, по-иному должны были быть ассоциированы с окружавшим их ансамблем, что подчас могло давать, разумеется, и весьма положительные эффекты, во всяком случае плодотворные для дальнейшего развития искусства.

По крайней мере, так случилось с произведениями греческих романистов.

26. .... «Мы видим на небе, когда облака разрываются, кентавров, полукозлов, полуоленей и, клянусь Зевсом, даже волков и коней. Как по-твоему, разве это не произведение подражательного искусства?.. живописцем становится бог; он покидает окрыленную колесницу, на которой движется, устрояя божеские и человеческие дела, садится и забавляясь пишет все это, словно дети, которые чертят на песке... эти видения не имеют смысла и носятся как попало по небу — поскольку это касается бога. Но нас сама природа влечет к подражательному искусству, мы творим, внося в него соразмерность» (Philostr. II, 22). Эти слова Филострата — один из редких примеров упоминания облаков в античной литературе. Мечтательно обращенный к небу взор, возникающие отсюда раздумья — эта деталь характерна для романтической настроенности той эпохи. «Романтизм гримасы» (типа Гейне) мы имеем в романе Ахилла Татия, романтизм социальный—у Лонга (идеализация «простых» людей), исторический романтизм (идеализация прошлого) — у Харитона и Гелиодора.

Утомленное реальностью сознание отворачивается от обыденности, от современности и охотно пребывает наедине с дорогими для него обломками прошлой культуры, тем самым свидетельствуя о распаде той связи, на которой когда-то держались и миф и быт. Неудовлетворенность настоящим заставляет эрудита помещать создания своей фантазии в «доброе старое время». Харитон, Гелиодор и Ямвлих идут под флагом исторического романа. В этом жанре существенно ощущение разницы между прошлым и настоящим — от этой разницы и зависит колорит времени. Но греческие романисты, не пытаясь реконструировать психологию, быт и нравы той эпохи, к какой они относят действие своих романов, ограничиваются тем, что отнесение описываемых ими происшествий на несколько столетий (почти на тысячелетие) назад позволяет им показать мир более живописным, а героев (в особенности главных) более идеальными. Таким образом «историзм» греческого романа есть не что иное, как мотивировка его идеальности перенесением действия в фантастически-утопическую плоскость. Ахилл Татий действует откровеннее: и без этой мотивировки (упоминание о войне Византия с фракийцами у него не раз-

вернуто) он заполняет романическую схему самым причудливым материалом.

27. Харитон упоминает египетское восстание, бывшее в 389—87 г. до н. э. В романе Гелиодора указано, что Египет управляется персидским сатрапом — Ороондатом, составляет одну из провинций персидской монархии. следовательно действие романа относится к промежутку между 525 г. и 406 г. до н. э. (или, если иметь в виду вторичную оккупацию Египта персами, то 340-332 гг. — но это мало вероятно). Романиста не беспокоят возникающие отсюда анахронизмы: 1) упоминание памятника эпикурейцев, между тем Эпикур родился в 342 г. до н. э.; 2) на грани анахронизма находится и вложенная в уста Кнемона цитата из «Медеи» Еврипида — пьеса была поставлена в 431 г. — следовательно, являлась для Кнемона совершенной новинкой. Гелиодору важно лишь одно: выхватить читателя из обыденной цивилизованной обстановки. Поэтому с самого же начала он дает следующее подчеркнутое указание: ...«вооруженные разбойники у впадения Нила, близ устья, называемого Геракловым» (русский читатель схватит эту интонацию Гелиодора, если представит себе произведение, начало которого будет, скажем, сопровождаться следующими топографическим и пейзажными ссылками: «... в густом лесу, там, где Неглинная впадает в Москву-реку», или «необитаемое устье Невы...». Последний прием, как известно встречается у Пушкина). Это Гераклово устье называлось обычно Канопским. Каноп (о котором и русский поэт сказал: «Каноп священный, благостный, всю грусть может излечить») был город, расположенный в пяти или шести милях от Александрии. В Канопе находился знаменитый храм Сераписа, куда стекались со всего Египта. Каждый вечер святилище было полно людей, пришедших просить у бога исцеления от своих болезней или излечения своих друзей. После горячих молитв они ложились спать в храме и во сне получали средство, которое должно было избавить их от немощей. Но большей частью здоровье было только предлогом; отправлялись в Каноп больше для развлечения, чем для лечения. Путешествие делалось по каналу в пять миль длины. День и ночь раздавались по воде любовные песни. По обеим сторонам канала возвышались гостиницы, в изобилии снабженные всем,

что могло возбуждать радость и удовлетворять желания. Там останавливались, чтобы пить Мареотисское вино, возбуждавшее легкое и веселое опьянение, и по окончании пиршества, под звук флейт начинались танцы в виноградных беседках или под тенью деревьев. Так, не торопясь, доезжали до Канопа, где находили еще больше развлечений, чем в дороге. Император Адриан, желавший, чтобы его тибуртинская вилла напоминала ему то, что он видел в своих путешествиях, не мог забыть про Каноп и воспроизвел его там в уменьшенном виде. Гостиницы виллы Адриана делали все, от них зависевшее, чтобы заслужить славу, какая была приобретена подлинно каноцскими. Можно себе представить, что там происходило, если припомнить, что Адриан любил удовольствия со страстью и никогда не пытался это скрывать. Быть может, Марк-Аврелий намекал позднее именно на эти развращающие зрелища, когда упоминал об опасностях, угрожавших его добродетели в дни его юности, причем он благодарил богов, что «они излечили его от любовных страстей, которым он одно время поддался» (Буассье). У Гелиодора же это устье представлено пустыней, среди которой мы застаем отвлеченные фигуры, созданные его воображением: разбойники и добродетельная девушка, плачущая над поверженным юношей. Вместо веселых поездок по воде, Гелиодор рисует мрачное море, опасное главным образом пиратами. Император Юлиан (см. § 6) брезгливо писал о болтливых и нахальных купцах и моряках, отстраняясь в своей частной жизни от меркантильного значения моря. Когда-то Платон, также опасаясь моря, как средства общения и торговли, писал: «Море, прилегающее к местности, хотя и услаждает каждый день, но на самом деле это весьма горькое и соленое соседство» («Законы»). Для греческих романистов море, с одной стороны, обязательно в виду скитаний героя и героини и в виду формальной связи романа с эпосом (Одиссея), с другой стороны, оно слишком огромно для их сознания, поэтому по большей части его функция отрицательная. Слегка ироническая интонация по отношению к морскому купцу слышится у Гелиодора, когда он рисует Навсикла, но как-раз сцены в доме Навсикла принадлежат к наиболее сравнительно реалистическим в романе — очевидно, он мог их писать с натуры.

28. «Наступило то время дня, когда земледелец выпрягает быка из плуга»,—говорит Каласирид в романе Гелиодора (V, 23). Так как рассказы действующих лиц романа поданы романистом не в виде «сказа», передающего особенности речи рассказчика, то следовательно, эту фразу можно приписать автору, и она выдает его с головой: так определяет он час в то время, когда его герои находятся в открытом море. Если даже перед нами фраза из обыденной речи (быть может, с привкусом литературной реминисценции), все же она показывает совершенно сухопутный, далеко не морской образ мыслей автора. Гелиодоровское описание морей и путешествий носит все тот же мечтательно-антикварный характер, отдающий прочитанными книгами. Существование путеводителей по суше и по морю (периэгезы и периплы) — признак той эпохи. Маршруты скитаний героев греческого романа — тоже своего рода перипл, но заполненный лирическими переживаниями («сантиментальное путешествие» романиста: он берет места, уже прославленные в поэзии, и прислушивается к возникающим у него ассоциациям). Наподобие путеводителя, греческий роман сообщает попутные сведения о достопримечательностях, которыми, впрочем, герой и героиня обычно вовсе не интересуются, будучи исключительно полны друг другом. Во всяком случае насущна задача сопоставления материалов периплов и греческих романов.

29. У трех романистов: Гелиодора, Ахилла Татия и Ксенофонта, молодая чета скитается по Египту, и Египет в конце концов для нее благоприятен. Такое совпадение египетских мотивов вряд ли случайно. Египет уже давно подвергся поэтизации в греческой литературе (см. гелиодоровское замечание: «всякий египетский слух и рассказ чрезвычайно чарует уши грека», II, 27). Литературный Египет греческих романистов лежит на пересечении следующих двух линий: 1) далекая страна, где возможны всякие чудеса; 2) мотив верности любовников друг другу. Что героя заносит в Египет, это дается и гомеровским эпосом: Одиссей, в своем вымышленном рассказе, говорит Евмею, как по прибытии в Египет он дал приказание своим спутникам с ближних высот обозреть окрестность (ср. подобный момент в самом начале романа Гелиодора: разбойники смотрят с горы), но вдруг загорелось в них

буйство, и они в безумии стали грабить поля мирных египтян, выступило навстречу египетское войско, спутники Одиссея потерпели поражение и попали в плен, а самого Одиссея помиловал египетский царь. «О, для чего, — восклицает Одиссей, — избежал я судьбины и верной не встретил смерти в Египте! Мне злее беды приготовил Кронион». В этих словах Одиссея уже имеется мотив жалобы, сходный с восклицаниями героев греческих романов. Менелай, добыв Елену, в своих скитаниях по взятии Трои также был заброшен в Египет, где претерпел временные беды. В Египте Елена научилась прибавлять в питье разных зелий. Таким образом в Одиссее имеется мотив любящей четы, заброшенной в Египет. Геродот сообщает сказание, что Парис с похищенной в Спарте Еленой был занесен к Канопскому (ср. Гелиодор) устью Нила. Протей оставил Елену в Египте, сохраняя ее для мужа, а Парис отплыл. По взятии Трои Менелай получил от Протея Елену. Театр осложнил этот сюжет: добродетельный Протей умер, а его преемник Феоклимен пристает к Елене, что, естественно, ведет к хитростям и побегу. Непорочная Елена притворно соглашается на брак с Феоклименом. Когда Менелай прибывает в Египет, супруги встречаются и узнают друг друга. Таким образом перед нами та же схема, что и в греческом романе (еврипидовская «Елена» — трагедия со счастливой развязкой). Моменту узнавания, столь характерному и для греческого романа, Еврипид придавал божественное значение: «О боги! — восклицает у него Елена — ведь божество тот миг, когда мы узнаем любимого».

30. Казалось бы, Египет, по крайней мере нижний Египет, эллинистической и вслед за тем римской эпохи, с его большими эллинскими поселениями, мог бы попасть в греческий роман и в своем бытовом плане, но это случалось лишь изредка. Так, в романе Гелиодора сюда отчасти относятся выше отмеченные жанровые сцены в доме купца Навсикла; распространенность греческого языка в Египте также видна из многих мест романа. На возможность проникновения эллинистической культуры даже вглубь Африки намекает случайно оброненное Гелиодором замечание, что эфиопская царица ожидает аттической компаньонки. Романистам, в том числе и Гелиодору, не было необходимости непременно самим побывать в Египте, чтобы дать ряд

правдивых сведений по его топографии (впрочем, одного из романистов — Ахилла Татия — легенда называет «александрийским», очевидно, связывая его с Александрией). У Гелиодора Египет дан в основном верно, но имеются и недосмотры: Элефантину, судя по 10-й главе IX книги, он, повидимому, представлял не островом, а городом, куда можно добраться сухим путем. Одного из своих разбойников - Фермуфида — он окрестил именем египетского города. Известие о солнечных часах в Сиене (нынешнем Ассуане), сообщаемое Гелиодором в 22-й главе IX книги, намекает на научные изыскания Эратосфена: александрийские астрономы времен Птоломеев считали, что Сиена расположена как-раз на тропике, поэтому там лучи во время летнего солнцестояния должны падать вертикально. Основываясь на этом и определив астрономическим путем положение Александрии, а с другой стороны, высчитав расстояние между Сиеной и Александрией, Эратосфен в 240 г. до н. э. установил данные для измерения земли. В наше время, однако, известно, что Сиена лежит на 37 градусов севернее тропика Рака (во времена Эратосфена это отклонение понижалось до 15 градусов). Сиена римского времени была расположена к юго-востоку от нынешнего Ассуана, между Нилом и скалами. От нее осталось несколько гранитных колонн и руины храмика, обращенного фасадом к Нилу. На стенах можно прочесть имена Нерона и Домициана. Уцелели ничтожные остатки нилометра (измерителя уровня воды в Ниле), упомянутого Гелиодором (IX, 22). В римскую эпоху Сиена была одним из форпостов империи — за нею простиралась африканская стихия, не подвластная римскому порядку. В 23—24 г. до н. э. Петроний совершил экспедицию против эфиопов. Их царица Кандака укрылась на острове, откуда вела переговоры с римским полководцем. Благодаря этой экспедиции римские ученые получили сведения о верхнем течении Нила. С тех пор установилось мирное соседство с эфиопами. В 295 г. н. э. Диоклетиан, находя обременительным содержание пограничных гарнизонов, призвал племя нобадов, жившее вокруг большого оазиса, и поручил им охрану нильской долины к югу от Сиены. Они должны были охранять верхний Египет от набегов блеммиев (ср. упоминание о блеммиях в романе Гелиодора). Отголоски этих погра-

ничных происшествий слышатся в романе Гелиодора, когда он повествует об осаде Сиены и войне с эфиопами. Романист отмечает и экономический повод к войне: эфиопский посол потребовал от египетского сатрапа уступки смарагдовых россыпей. Хотя впоследствии, в XVI веке, Гелиодор порою слыл одним из пособий по тактике, однако живого ощущения войны у него нет. Описание осады Сиены явно кабинетного происхождения, хотя нелегко указать его непосредственные литературные истоки. Всего вероятнее, что эти пассажи сделаны у Гелиодора путем «транспонировки» картин из военной жизни. Быть может, в них надо видеть также реминисценцию пышных цирковых представлений – водяных пантомим.

31. Лишь только роман Гелиодора покидает пределы Египта и вступает в пределы Эфиопии, сказочные мотивы проступают в нем все откровеннее. У эфиопов золота столько, что из него делают даже оковы. Это внушает гелиодоровскому герою Феагену следующую «философическую» мысль: «какая блестящая перемена! мы сменили железо на золото и в богатых оковах стали более почетными узниками». Гелиодор опирается здесь на Геродота, сообщающего, что „в тюрьме у эфиопов все заключенные закованы в золотые цепи» (III, 23).

32. Русскому читателю слышится в слове «эфиоп» нечто ругательно-комическое или, быть может, вспоминается некрасовская строчка: «эфиопы видом черные... как уголья глаза». Но совершенно иная интонация была для грека в этом слове. Потребность в идеальной форме человечества вызывала веру в «золотой век», некогда якобы существовавший на земле. Эта ретроспективная проекция во времени чрезвычайно характерна для эллинского сознания, в отличие от библейской психологии, склонной проицировать в будущее. При проекции в пространстве тот же контраст: в библии — централизующая тенденция, у эллинов — периферийная. Эллины верили, что в самых дальних странах, на краю света, живут благочестивые, любимые богами народы, — эфиопы на юге, гипербореи на севере. Не даром у эфиопов столько золота — это овеществление того же «золотого века». У Гомера и других поэтов — эфиопы, обитатели самых дальних концов земли, занимают западный и восточный край южного пояса земли, те места, где солнце при закате

и восходе так близко подходит к земле, что люди чернеют от его лучей. Эфиопы непорочны, они друзья богов. «Говорят, что эфиопы... самый рослый и красивейший народ. У них существуют совершенно особые порядки, отличающие их от прочих народов. Таков в частности выбор на царство: достойным царской власти они признают того из соплеменников, который окажется наибольшего роста и соответствующей этому силы» (Геродот, III, 20).

33. Читатель, склонный отнестись со снисходительной улыбкой к «наивному» Гелиодору, вероятно, не отдает себе отчета, что нечто вроде «Эфиопики» ему случалось видеть всерьез на сцене. «Аида» Верди — опера, написанная по заказу египетского правительства для открытия египетского оперного театра, возобновила в 70-е годы XIX века весь этот ветхий аппарат прекрасных эфиопских царевен, благородных эфиопских царей, кровожадных жрецов и т. п.

34. Частым у романистов выражением идеи пространства является остров. Замкнутость этой круглообразной формы издавна позволяла населять ее всем наилучшим. В религии это будут острова блаженных, в гомеровской Одиссее — два соперничающих острова: прельстительный остров волшебницы и побеждающий его остров семейного благополучия. Итак, в эпосе намечена филиация островного мотива: 1) любовный остров, 2) благоустроенный остров. «Дафнис и Хлоя» целиком разыгрываются на острове, частично этот мотив встречается и у Харитона. Гелиодоровская Мероя—остров вдвойне—не только потому, что это соответствует реальности, но еще и по своей литературной функции (см. 10-ю книгу романа). Природа литературных островов обычно отличается пышностью. «И деревья создает Мероя и может производить всяческие растения. Помимо пальм необычайной высоты, покрытых вкусными и тяжелыми плодами, есть там и колосья ржи и ячменя такого роста, что иной раз скрывают с головой и всадника и едущего на верблюде» (X, 5). Ново-европейские повести типа «езда на остров любви» (voyage sur l'île d'amour) продолжают одно из ответвлений островного мотива греческой литературы. Другая ветвь — благоустроенный остров — логически мотивирована в «Законах» Платона. Социальные утопии часто заключают в себе этот островной мотив, первоначально намеченный эпосом и романом («Утопия»

Томаса Мора, «Новая Атлантида» Бэкона). Оба варианта совмещены в шекспировской «Буре»: и любовная пара и по-разному умиряемые общественные противоположности: узурпатор престола и дикарь Калибан. В «Робинзоне Крузо» момент человеческой четы латентно дан в Робинзоне и Пятнице, социальная островная тема разработана во 2-й части — устройство поселения на острове и мирное сожительство вероисповеданий. Оба ответвления островного мотива легко переходят в область фантастики — отсюда их связь с повествованиями о диковинных путешествиях. Евгемер, автор воззрения, что боги — это лишь обожествленные люди, утверждал, что он во время своего путешествия попал на остров Панхею и там, в храме, прочел на золотой колонне древнейшую историю мира. Роман Антония Диогена «Чудеса за Фулой», известный нам только по пересказу Фотия, и был таким романом путешествием. Живучесть вплоть до нашего времени островных мотивов, в их различных модификациях можно наблюдать на современном романе Жироду «Сюзанна и Тихий Океан», где Робинзоном является девушка, а вместо спутника — трупы немцев, прибитые волнами (где-то вдали от острова происходит империалистическая война). Мотив острова, ведущий от греков свое начало, намеренно пародирован в «Дон Кихоте». Герцог от имени Дон-Кихота дарит Санчо остров: «все, что я могу дать тебе, я даю: округленный, богатый, чрезвычайно плодородный остров, на котором ты в состоянии будешь приобрести себе, если сумеешь взяться за дело, сокровища небесные вместе с земными». — «Да, ваша светлость, — отвечает Санчо, — я думаю, что хорошо повелевать даже стадом баранов». Решив продолжать свои шутки, герцог и герцогиня в тот же вечер отправили Санчо с большой свитой в одну деревеньку, которая должна была сделаться для Санчо островом. Санчо верхом прибывает на «остров» Бараторию, впоследствии уезжает оттуда на осле. Утопический мотив благоустроенного острова дан в следующих словах: «Все время после обеда Санчо провел в рассуждениях и постановлениях, долженствовавших упрочить благоденствие жителей своего воображаемого острова. Он повелел столько хорошего, что законы его сохраняются доселе под именем «Узаконений великого губернатора Санчо-Панса».

35. При таком восприятии природы, времени и пространства непременно через литературную традицию, не удивительно, что художник-эрудит заселяет сконструированный им мир следующим образом: 1) в качестве скорее курьеза и во всяком случае только для литературного контраста допущены бытовые, реалистические фигуры — им отводится второй план (ведь как-раз от них то, как представителей обыденности, и спасается романтически-настроенный художник в мир старины и фантазии); 2) на первом плане стоят высоко идеальные призраки, созданные лиризмом автора. Когда этот лиризм носит отвлеченный (философский, религиозный, этический характер), перед нами — философский или аретологический роман. Когда же этот лиризм, соответственно распаду религиозного и общественного сознания, переключается в домашний, житейский план, то единственно влиятельным из божеств становится Эрот, и перед нами — роман «эротический». Законы контраста естественно делают то, что в «эротическом» романе «высокая» любовь молодой четы будет оттенена «низкими» проявлениями любви (у Гелиодора антитеза с одной стороны отношений Феагена и Хариклии, с другой — разных посягательств разбойников, Арсаки, Демэнеты). Роман философский поневоле противопоставит мыслителю, чудотворцу и энтузиасту тип человека простого и «себе на уме». Вот почему мы встречаем в нем на-редкость реалистические фигуры. Проследим это в романе Филострата «Жизнь Аполлония Тианского».

36. Вначале Филострат упоминает источники, которыми он пользовался, и среди них записи Дамида, спутника Аполлония: «Был некто Дамид, человек не лишенный мудрости и некогда живший в древней Ниневии. Он примкнул к Аполлонию и его философии и описал его путешествие, в котором, по его словам, он и сам принимал участие, а также его суждения, речи и предвещания. Некий родственник Дамида познакомил императрицу Юлию с этими записками, дотоле неизвестными. Так как я принадлежал ко двору императрицы — она одобряла и любила всевозможные риторические занятия, — то она повелела мне списать эти повествования и позаботиться об их внешней форме, так как стиль ниневийца, хотя и отличался ясностью, но не изящен» (I, 3). Итак, Филострат, казалось бы,

ограничивает свою роль только лишь стилистическим перелицовыванием, а частые ссылки на Дамида придают роману Филострата внешность наукообразно-обоснованной исторической монографии. Но дело осложняется тем, что Дамид является вместе с тем и одним из действующих лиц романа. Происходит столкновение литературной функции Дамида как персонажа романа с его ролью первоисточника — мемуариста. Когда в романах Лонга и Ахилла Татия выводится подставной рассказчик (у Лонга неизвестно кто, у Ахилла Татия — Клитофонт, играющий роль «я» в романе — Ich-Erzählung), авторы берут его без критики. Филострат же путем внедрения мемуариста в роман получает ряд новых, быть может, для него самого неожиданных эфектов. «Наукообразность» романа Филострата (историографические приемы ссылок на источники) тем самым терпит крах, потому что комичность этого персонажа опорачивает его как мемуариста. Как второстепенное действующее лицо романа, Дамид должен контрастировать с Аполлонием; поэтому он пуглив, экспансивен, не чужд житейской опытности (II, 40), мудрость гимнософистов кажется ему неразумием, порою он бестактно вмешивается в беседу своего учителя, но, впрочем, сам скромно признает себя невеждой и неучем. В довершение всего он носит наводящее на раздумье пасторальное имя (Дамид), в чем можно усмотреть литературный рудимент. «Достоинства речи этого ассирийца были весьма умерены: он не отличался комильфотностью (λογοειδής — язык, обычно принятый в общественной жизни), так как был воспитан среди варваров. Однако записать беседу и разговор, запечатлеть, что слышал или видел, составить о подобных вещах заметки для памяти — на это у него вполне хватало способностей и занимался он этим лучше, чем кто либо. Именно такую цель ставил себе Дамид в своей работе под названием «Крохи» (с чужого стола)».

37. Первая встреча Дамида с Аполлонием произошла так: «Аполлоний прибыл в древнюю Ниневию, там воздвигнут кумир на варварский лад, изображающий Ио, дочь Инаха, с небольшими, как бы только-что начавшими расти рогами на висках. Когда Аполлоний, остановившись у статуи, старался вникнуть в ее смысл более глубоко, чем жрецы и пророки, к нему приблизился ниневиец Дамид, который... совершил с ним

вместе путешествие, был сподвижником всей его мудрости и много слов и дел этого мужа спас от забвения»; Дамид хотел знать все, что относится к Аполлонию, если даже тот мимоходом что-нибудь произносил или говорил — он записывал и это. Кстати, стоит упомянуть о его ответе хулителю этой его работы: некто, человек легкомысленный и завистливый, признавая впрочем общую правильность записи суждений и мнений Аполлония, поносил Дамида за склонность собирать всякие мелочи и приравнивал его к собакам, подбирающим отбросы от обеда. «Если у богов, — возразил Дамид, — есть обеды и если боги вкушают пищу, то, конечно, есть у них и слуги, обязанность которых следить, чтобы не пропала даже оброняемая амвросия». Таким был друг и поклонник Аполлония, с которым вместе он пространствовал большую часть своей жизни» (I, 19). Вот несколько эпизодов из романа Филострата, рисующих нам облик Дамида: «Когда они плыли... по Эвбейскому морю, которое и Гомеру казалось одним из трудных для плавания, море оказалось спокойным вопреки этому времени года; и вот начались разговоры относительно островов, так как встречалось много и (весьма) славных, относительно кораблестроения и искусства кормчего (словом), разговоры обычные у путешественников. Но Дамид то врывался в эти разговоры, то прерывал их, то мешал задавать вопросы. (Наконец) Аполлоний заметил, что (вероятно) Дамид хочет, чтобы завязалась беседа на другую тему. «Что с тобой, Дамид? Почему ты прерываешь расспросы? Как будто бы ты не страдаешь морской болезнью и вообще не плохо переносишь плавание. Зачем же ты мешаешь беседе? Видишь, как мирно подчиняется море кораблю и как (спокойно) несет его. Чего же ты хмуришься?» — «Потому, — отвечал Дамид, — что посреди нас есть великое слово, к нему-то естественно было бы обращать вопросы, а мы расспрашиваем о вещах пошлых и старинных». — «А что же это за слово, — спросил Аполлоний, — вследствие которого ты считаешь все остальное лишним?» — «Вступив в общение с Ахиллом, — отвечал Дамид, — ты, Аполлоний, без сомнения, много слышал от него того, чего мы еще не знаем, однако ты не сообщил нам этого и даже не описал нам облик Ахилла, но плаваешь вокруг островов и словесно строишь корабли» (IV, 15). Иархас, желая быть

любезным с Дамидом, обратился к нему: «А ты, ассириец, ничего не предвидишь — ты, который сопровождаешь столь великого мужа?» — «Клянусь Зевсом, — отвечал Дамид, — я предвижу только то, что мне необходимо. Когда я впервые встретился с этим Аполлонием, он показался мне исполненным мудрости, уменья, целомудрия, надлежащей выдержки, а когда я в нем заметил памятливость, широкую ученость и любознательность, он показался мне гением (или: я испытал нечто божественное), путем общения с ним я надеялся стать мудрецом из неуча и невежды, воспитанным человеком вместо варвара, я хотел последовать за ним со всем усердием, чтобы увидеть индусов, увидеть вас, смешаться с эллинами, став и сам эллином, благодаря ему. Вашу науку, которая касается высоких предметов, считайте Дельфами, Додоной и чем угодно, мою же науку — раз это предвещания никого другого, как Дамида, а он предвидит только в своих собственных интересах, считать надо наукой какой-нибудь шарлатанской старухи, которая прорицает о своих овцах и тому подобном. При этих словах все мудрецы рассмеялись» (III, 43). «Приближаясь к Киссийской стране и будучи уже у Вавилона, Аполлоний видел сон, следующим образом явленный богом: рыбы, выброшенные из моря, трепетали на суше, стенали человеческим голосом, жалуясь на то, что им пришлось покинуть привычную стихию; дельфина, плывущего мимо берега, они умоляли помочь им в их жалостном положении, словно люди, тоскующие на чужбине. Аполлоний нисколько не устрашился этого сна и стал размышлять над его значением. Желая смутить Дамида (он знал, что тот из трусливых), Аполлоний рассказал ему свой сон, представляясь устрашенным этими, якобы плохими, видениями. Дамид закричал так, словно он сам это видел и стал отговаривать Аполлония от дальнейшего пути: «Чего доброго и мы, как рыбы, выброшенные из своей стихии, погибнем и придется нам стенать на чужбине! Когда мы окажемся в безвыходном положении, какого владыку или царя будем мы умолять? Да он нас станет презирать, как дельфины рыб». Аполлоний рассмеялся: «Ты еще не философ, — сказал он, — раз ты боишься таких вещей. Я объясню тебе смысл этого сна» (I, 23). Царь предложил Аполлонию выбрать самому подарки. «Дамид рассказывает, что он понял,

что Аполлоний не попросит ничего, так как Дамид видел характер Аполлония и знал, что он молился богам так: боги, дайте мне возможность обладать немногим и не нуждаться ни в чем. Но видя, что Аполлоний стоит в задумчивости, Дамид предположил, что, пожалуй, Аполлоний попросит подарка, а сейчас взвешивает, что попросить. Уже под вечер Аполлоний промолвил: — «Дамид, я размышляю о том, почему это варвары считают евнухов целомудренными и допускают их в свои гаремы.» — «Ну, это-то, Аполлоний, —заметил Дамид, — ясно и младенцу, ведь оскопление лишило их возможности предаваться любви, вот почему открыты для них гаремы даже в том случае, если они захотят спать с женщинами». — «Так что же, — отвечал Аполлоний, — по-твоему у них отсечено: способность влюбляться или способность соединяться с женщинами?» — «И то и другое: раз погашена частица, подстрекающая тело, то никому уж не придет на ум влюбляться». Аполлоний немного помолчал. — «Завтра ты узнаешь, что даже евнухи влюбляются и что вожделение, входящее через очи, не увяло у них, но остается жарким и жгучим. Должно случиться нечто, что опровергнет твой довод. Если бы даже и было у людей какое-нибудь искусство, столь мощное, что оно в состоянии было бы изгнать подобные вещи из (человеческой) души, то и тогда, по-моему, нельзя было бы вписать евнухов в число людей нравственно-целомудренных, так как у евнухов целомудрие принудительно и доведены они до невозможности любить путем насильственного приема. Целомудрие же состоит в том, когда кто, вожделея и стремясь, все-таки не уступает похоти, но воздерживается и выходит победителем в этой борьбе». Дамид прервал Аполлония: — «Ну это-то, Аполлоний, мы потом обсудим, а сейчас надо решить, какой ответ дать завтра на блестящее предложение царя. Ты, пожалуй, ничего не попросишь. Но как бы не показалось, что ты из гордости отвергаешь дары царя. Смотри, остерегайся этого, взгляни, в какой стране ты находишься, как мы зависим от царя. Надо остерегаться клеветы, будто ты надменен. Пойми, что наших средств хватит только на проезд в Индию, а на обратный путь уже не хватит, а взять их неоткуда». Такими нежными уловками Дамид склонял Аполлония не отвергать подарков царя (I, 34). «Дамид, побежденный этими речами Димитрия,

промолвил: «Если бы ты в качестве друга присутствовал при Аполлонии, то это было бы для него великим благом. Ведь мои доводы незначительны, если я стану ему советовать не кидаться на обнаженные мечи, не итти против тирании, тяжелее которой никогда не бывало». «Если бы я не встретился с тобой, я не познал бы и смысла нашего путешествия сюда. Я следую за Аполлонием охотнее, чем иной сам за собой; если же спросят меня, куда и зачем я держу путь, я оказался бы в смешном положении: моря и Тирренийские заливы измеряю я, но не знаю ради чего. Впрочем, если бы мне угрожала вышеуказанная опасность, я ответил бы на вопрос так: «Аполлоний влюблен в смерть, а я, его соперник в этой любви, путешествую с ним вместе». Но так как я ничего (такого) не знаю, мне остается сказать только то, что знаю. Скажу же я это о самом Аполлонии» (VII, 13). «Когда Аполлоний подошел к изваянию колосса Родосского, Дамид спросил его, что, по мнению Аполлония, может считаться больше колосса. Аполлоний отвечал: человек, философствующий здраво и честно» (V, 21).

38. Техника диалога сократического типа требовала, чтобы один из собеседников был слабее другого. Поскольку же Аполлоний странствует подчас по безлюдным местам или общается с мудрецами тоже высокого полета, литературно необходимо было снабдить его придурковатым спутником, чтобы на этом фоне выделялось умственное и нравственное величие Аполлония. Этот прием укоренился и в новой европейской беллетристике, в тех ее пассажах, где речь идет о чем-нибудь изыскательном, идейном, философском в широком смысле. Наудачу выхваченные примеры: Шерлок Холмс и д-р Ватсон; Базаров и Аркадий. Разумеется, чрезвычайно велико здесь разнообразие оттенков, повернутость персонажей в ту или другую сторону — положительную или отрицательную, но греческий роман, как наследник всей греческой прозы, в том числе и философского диалога (сниженного и беллетризированного), впервые дал фигуры учителя-философа, странствующего энтузиаста, и его более бытового спутника (Дамида можно назвать античным, так сказать, Санчо-Пансой).

39. Философский аретологический роман по существу не так уж далеко отстоит от романа типа picaresco,

т. е. с жуликом в качестве главного героя (в русской литературе — «Мертвые души»). Здесь дело зависит исключительно от освещения, даваемого или автором или, хотя бы вопреки его намерениям, читателем. В XVIII веке роман Филострата появился в Берлине во французском переводе с ироническим посвящением папе: пусть-де «отец верующих» укажет, как отличить «мнимые» чудеса Аполлония от «истинных» и т. п. Можно представить, что правоверный церковник, читатель романа Филострата, был бы склонен понимать этот роман именно как роман о похождениях жулика. Подобным образом престарелый Лев Толстой воспринимал произведения искусства, повествующие о переживаниях любящих сердец, как «размусоливание любовных мерзостей». Это показывает, что деление романа на жанры; роман плутовской, приключенческий, философский, эротический и т. п., хотя и удобно вследствие традиции, но весьма относительно по существу, так как уже содержит в себе скрытый элемент моральной оценки и основано, следовательно, на индивидуальной и общественной психологии, подверженной переменам, что в особенности ясно в эпоху больших социальных сдвигов. Историк Екатерины II особо отмечает, что она читала «Дафниса и Хлою», чтение в то время несколько смелое для женщины. Филологи на рубеже и в начале XIX века, занимавшиеся греческими эпистолографами (Аристенетом, Алкифроном) порою, указывали, что несмотря на такой «предосудительный» материал, ими движет исключительно «научный» интерес. С точки зрения христианских монахов-переписчиков роман Ахилла Татия был запретным плодом — недаром в некоторых средневековых рукописях он помещен украдкой между наставительными сочинениями. Все это показывает, что термин греческий «эротический» роман имеет крайне условное значение и применяется лишь за неимением другого. По существу же нет пропасти между «эротическим» и «не-эротическим» греческим романом. Техника их конструкции поражает сходством. Иной раз совпадают и детали, в виду общности источников. Так упоминаемый у Гелиодора камень «пантарб» встречается и в романе Филострата (III, 46).

40. Плутовской роман в обычном его виде не засвидетельствован для нас в греческой литературе. Однако

в потенции он имеется хотя бы и в Гелиодоре: героиня романа, Хариклия, беспрестанно прибегающая к хитростям (правда, с целью охранить свое целомудрие) — уже своего рода жулик. Еще более граничит с этим типом ее воспитатель — мудрец и жрец Каласирид (см. § 51).

41. Принято, однако, романы Гелиодора, Харитона, Лонга, Ахилла, Татия и Ксенофонта Эфесского называть «эротическими». Термин этот в данном случае не столько выделяет их из гущи остальных греческих или ново-европейских романов (с точки зрения последних Гелиодор—вовсе не образчик эротизма), сколько обособляет их от искусства классической эпохи, подчеркивая в этом отношении новую их сексуальную интонацию. Фабула перечисленных романов проста: юноша и девушка полюбили друг друга; после ряда препятствий они соединяются законным браком. Северное, медленное нарастание чувства, когда люди постепенно видят, как уменьшается их отстояние друг от друга, чуждо греческому роману. Любовь постигает героев внезапно, с первого взгляда, внешние препятствия принуждают их отстоять друг от друга (мотив разлуки). Лонг в этом отношении занимает особое место среди греческих романистов: он переносит мотив разлуки извне вовнутрь, мотивируя своеобразную «разлуку» невинностью героя. Такова схема этих «эротических» романов. На взгляд читателя новой европейской литературы что может быть банальнее. Но как-раз эта схема резко отделяет роман от классического греческого искусства, потому что там не поэтизировался извечный и простой биологический факт — соединение разных полов для произведения потомства. Поэзия сватовства и брака отсутствовала в эпосе и в драме, оттесненная в сравнительно немногочисленный и непосредственно прикладной разряд лирики — брачные песни. Некоторые утверждают, что самый язык у греков не имел слова для выражения понятия «невеста» в современном смысле—то-есть для обозначения сравнительно продолжительного состояния, среднего между девушкой и молодой женщиной. Греческий эпос, фиксируя внимание на изображении самодовлеющей, горделивой мужественности, давал любовные эпизоды лишь мимоходом: Парис и Елена, Одиссей и Кирка. Не любовь Ахилла к Бризеиде задел Агамемнон, а самолюбие

Ахилла. Не любовью, а дружбой Ахилла с Патроклом заполнена Илиада (так понимали поэму и в александрийскую эпоху и в эпоху Возрождения — ср. также Шекспир «Троил и Крессида»). Одиссея воспевает супружескую верность, но отнюдь не окружает поэтичностью женихов, пристающих к Пенелопе. Самое беглое сравнение с эпосом новых европейских народов покажет разницу интонаций: Зигфрид прекрасен и как возлюбленный, Ахилл — как друг. Не путь к браку или любовной связи окружен ореолом значительности в греческом эпосе, но уже совершенный брак (образы Гектора и Андромахи). Когда-то Тургенев указывал, что русская народная поэзия не дает фигур трогательных любовников («только какие-то там Ванька с Танькой»). Надо признать, что он был прав, и интонация русского эпоса (а также и «Слова о полку Игореве») в этом отношении отличается от западного эпоса и сближается с античным. Подобное же и в драме классического периода. Эсхил в аристофановских «Лягушках» хвалится так: «Но, свидетель мне Зевс, не выдумывал я Сфенобей или Федр—потаскушек. И не скажет никто, чтоб когда-нибудь я образ женщины создал влюбленной». Антигона, у Софокла, — невеста Гемона, но какое незначительное место занимает в пьесе этот факт. Характерны для классической интонации слова Креонта, когда он пристыжает Гемона за его любовь к женщине. Еврипид (против которого направлены вышеприведенные слова Эсхила), пользовавшийся репутацией женоненавистника, вывел на сцену влюбленную женщину. Страсть, приводящая к полному ниспровержению всех норм—религиозных, общественных, семейных, охватывает женщину, но не мужчину (Вертер, на античный лад, мог быть только женщиной).

42. У Гелиодора картины страсти Демэнета и Арсаки соблюдают эту классическую интонацию. Когда же у романиста боги, демоны, страны, цари, народы, разбойники, города, моря, болота — словом все пестрое разнообразие мира, вместо классического самоценного изображения, служит фоном для оттенения любви Феагена и Хариклии, размещается вокруг любовных томлений юноши и девушки и, следовательно, из самостоятельной конструкции перерождается в орнаментику, мы имеем дело с интонацией, глубоко отличной

от классического искусства и связанной с тем укладом жизни, при котором общественные и религиозные интересы отступают на задний план, а сексуально-бытовая, личная, домашняя жизнь и ее устройство («свой дом», «своя жена», «свои дети»), непропорционально раздувшись, заслоняют многое.

43. Эту особенность греческого романа можно было бы иллюстрировать памятниками помпейской живописи. Эти картины непосредственно не касаются никаких моментов из романа Гелиодора. Изображенные на них мифологические образы и проч. являлись фоном для протекавшей в этих стенах домашней, личной жизни. Желающему ничто не мешает протянуть в своем воображении нити от этих картин к роману Гелиодора и обратно. Греческий роман и эта живопись близки друг к другу по общей своей направленности. Вдобавок, вот впечатление Гёте при чтении «Дафниса и Хлои»: «кажется, будто видишь картины из Геркуланума; равно эти картины оказывают обратное действие на книгу и при чтении приходят на помощь фантазии».

44. Эрудиция, много раз отмеченная у греческих романистов была естественным результатом домашнего уклада жизни, обособленного от внешнего мира и влекущего к мечтательности Другим выходом, возмещавшим однообразие обыденности, являлись театральные представления, в эту эпоху уже значительно потерявшие в своем религиозном и художественном значении. Человек той же приблизительно эпохи, что и греческие романисты, так описывает впечатления от театра: «Я был увлечен театральными спектаклями, полными картин моих собственных несчастий и разжигающими мой собственный пламень. Почему это хочется там человеку испытывать горе, взирая на трагические боренья, между тем как испытать их на самом деле ему не хочется? Однако желает зритель испытать в театре горе, и само это горе есть его наслаждение. Что это как не жалкое безумие? Ведь на всякого тем больше действуют эти представления, чем менее он охранен от таких аффектов: впрочем, когда сам чувствуешь, это принято называть страданием, а когда другим сочувствуешь — состраданием. Но какое же, в конце концов, сострадание к сценическим вымыслам! Ведь не зовут зрителя помочь, его приглашают только погоревать,

и чем больше он горюет, тем более одобряет он актера, представляющего эти образы. Если же эти бедствия, постигавшие людей в старину или сплошь вымышленные, так исполняются на сцене, что зритель не испытывает скорби, то он уходит из театра со скукой и упреками; если же испытывает скорбь, то остается в театре, смотрит с напряженным вниманием и не без радости льет слезы» (Августин, «Исповедь» III, 2).

45. Поскольку, однако, театр сохранял свой классический репертуар, в нем не могло быть пьес, в которых любовное соединение юноши и девушки стояло бы в центре (исключение — так называемая «новая комедия»). Но посетители театров, проникнутые своей «домашней» психологией и своеобразно восприимчивые (любопытно в только-что приведенном отрывке из Августина замечание, что спектакли, очевидно, трагические, были полны картин его собственных несчастий и разжигали его собственный пламень), могли соотносить театральные впечатления со своей жизнью. Какие несчастья находили они в ней? Рок ли, тяготевший над Эдипом? или им пришлось вкусить мяса своих детей? И какой «пламень» горел в их жизни? Для громадного большинства обывательски-настроенных театралов главная трудность их жизни была в обзаведении своим собственным домком. А «пламень» это то, в результате чего появились детки. Такая или подобного рода психология позволила, вопреки всем классическим традициям, применить понятие драмы и трагедии к повествованиям о счастливо окончившихся злоключениях любовной четы. Театральные термины особенно часты у Гелиодора (например: I 3; I 8; II 4; II 7; II 11; II 23; II 24; II 29; III 1; IV 8; V 6; V 11; V 12; VI 8 и т. д.), но встречаются и у других греческих романистов. В виду того, что некоторые из этих терминов стали очень обычны в новых европейских романах, современный читатель может подчас пройти без внимания мимо этих терминов в греческом романе и недостаточно почувствовать их свеже-театральный там привкус. Например следующая фраза из Гелиодора: «разбойники, стоявшие на горе, явились зрителями такой сцены: девушка, горюющая над юношей». Театрализация повествования коснулась у греческих романистов не только ситуаций, но и

концепции характеров действующих лиц. Для второстепенных персонажей допускаются бытовые черты при обрисовке же персонажей первого плана — то-есть героя и героини романа — они избегаются. Любовная чета, подобно действующим лицам трагедии, дается не в конкретизированном, но, по возможности, в самом обобщенном виде («чистая человечность»). Пока они вступают в вынужденное соприкосновение с персонажами второго плана, герой и героиня (в романе Гелиодора в особенности эта последняя) могут иметь некоторые житейские черты (например, смекалка Хариклии), когда же любовники остаются наедине, они, по мнению романиста, подымаются на наибольшую высоту, по мере сил вне времени и пространства; наступает момент напряженного лиризма, выраженного в виде монологов (напр., II, 4 — «Феаген на трагический лад возопил...»). В языковом отношении этот театрализованный лиризм дан, в виду отказа романиста от стихотворного метра, в форме ритмизованной прозы, полной реторических фигур, среди которых чаще всего—гомеотелевт, т. е. этимологическое и фонетическое подобие окончаний синтаксических отрезков — род рифмовки. В предлагаемом переводе романа Гелиодора (как и в переводе Ахилла Татия) сделана попытка передать эту фигуру по-русски. Однако, надо сказать прямо, что в русском языке эта реторическая фигура ассоциирована не с возвышенным стилем, а с балаганным (см. у Достоевского: «Вы богиня в древности, а я ничто и догадался о беспредельности. Капитан Лебядкин, покорнейший друг и имеет досуг»), так что читателю необходимо в этих местах самому сделать поправку на кривизну своего языкового восприятия. Эти реторически-окрашенные вопли и причитания героев греческого романа (например, плач Феагена II, 4) стилистически близки к акафистам греческой церкви, родившимся из обломков ораторской прозы, спутанной со стихотворными реминисценциями.

46. Повышенный лиризм требует перехода повествования от третьего лица («он») к первому («я»). Один из таких способов — произносимый монолог, понятный при театральной технике, но плохо обоснованный в романе (героям зачастую выгоднее думать про себя, а не произносить вслух: их могут подслушать недоброжела-

тели). Новый европейский роман, соответственно более письменному характеру цивилизации, чаще заменяет монолог введением писем или дневников, функция которых не менее лирична (например, письмо Татьяны). Прием этот, однако, встречается и в греческом романе. У Ксенофонта, Ахилла Татия, Гелиодора и Харитона имеется до 20 писем, вплетенных в ткань повествования (у Лонга письма отсутствуют). Эти письма можно поделить на две категории: 1) письма не эротического содержания, служащие конструктивным и фабульным целям. Таких писем 13, в числе их и совсем краткие записки); 2) письма «эротические», т. е. корреспонденция между лицами, связанными романическими отношениями. В романе Гелиодора все письма принадлежат к 1-й категории (8 писем). В недошедшем до нас романе Антония Диогена «Чудеса за Фулой», известном нам по пересказу Фотия, письма первой категории (неэротические) были, повидимому, развиты более чем в каком другом греческом романе, соединяясь между собою по системе ящичков, вставляющихся друг в друга (как в русской народной сказке смерть Кащея).

В самом деле, роман Антония Диогена содержит следующее: 1) Письмо Антония к его сестре Исидоре — посвящение и введение ко всему роману. 2) Письмо Антония к своему другу Фаустину относительно заботливого собирания им материалов из старых источников. 3) Введение — письмо Балагра Филе, его жене: при занятии Александром Великим Тира он сообщает, что за городом им найден ряд каменных гробов с загадочными надписями: такая-то жила 35 лет, такой-то жил из 75 лет 66, такая-то жила из 52 лет — 47 и т. д. В стене склепа нашли ящичек с кипарисовыми дощечками, на которых Диний рассказывал о своих приключениях. Их-то и списал для своей жены Балагр. 4) Дощечки в 2-х экземплярах, один, для Кимба, чтобы по ним Эрасинод, афинянин, ритор, составил описание приключений Диния, другой—для жены Диния Деркиллиды с тем, чтобы та после смерти Диния положила дощечки в его гроб.

Вторая категория писем («эротические») по большей части подчинена закону парности. Но главная их особенность — та, что они понятны и отдельно взятые, даже если мы не знаем фабулы романа. Вот, например

письма из романа Ксенофонта (II,5): Аброкому, красавцу, госпожа твоя — привет. Я, Манто, влюблена в тебя и более не могу переносить. Быть может, это не подобает девушке, но неизбежно для любящей — умоляю, не презри меня, не надругайся над той, кто принимает близко к сердцу твое положение. Если ты послушаешься меня, я сумею убедить отца моего, Апсирта, согласиться на наш брак, а твою нынешнюю жену мы устраним. Ты будешь богат и счастлив. Но если ты отвергнешь меня, подумай, чему подвергнешься: сама я, оскорбленная, учиню с тобою расправу, (подумай) чему (подвергнешь) ты своих близких, внушивших тебе надменность»! Ответ Аброкома: «Госпожа, делай, что хочешь, распоряжайся моим телом, как телом раба. И если ты даже убить желаешь меня — я готов. Если пытать — как угодно пытай, но я не взойду на твое ложе и не подчинюсь такому твоему приказанию». Другой образчик письма из романа Харитона (IV, 4): Каллирое-Хэрей. «Я жив, и жив благодаря Мифридату, моему благодетелю, надеюсь, также и твоему. Я был продан в Карию варварами, которые сожгли прекрасную адмиральскую триэру твоего отца. На ней послал (наш) город посольство за тобой (в твою защиту). Я не знаю, что сталось с другими гражданами, меня же и Полихарма, друга моего, уже близких к насильственной смерти, спасло сострадание господина. Мифридат оказал мне всяческие благодеяния, но взамен и заставил скорбеть, рассказав мне о твоем браке. Ибо смерти — раз уж я человек — я ожидал, твоего же брака не чаял. Но умоляю — опомнись! Я орошаю это мое письмо слезами и поцелуями. Я твой Хэрей, тот, кого ты увидела, когда была еще девушкой, когда шла в храм Афродиты, Хэрей—из-за которого ты проводила бессонные ночи. Вспомни опочивальню и таинственную ночь, когда впервые мы испытали, что я мужчина, а ты женщина. Правда, я стал ревновать. Таково уж свойство любовника. Но ты была отомщена: я продан, стал рабом, на мне оковы. Не помни злом моего опрометчивого пинка. Из-за тебя я пошел на крестную муку, не упрекая тебя ни в чем. Если ты еще сохранила память обо мне — я ни во что не ставлю свои страдания, но если ты замыслила другое — то этим вынесешь мне смертный приговор».

47. Первое в греческой литературе упоминание о письме находится в «Илиаде» (XI, 168): «С юношей (Беллерофонтом) Прета жена возжелала Антия младая тайной любви насладиться; но к ищущей был непреклонен чувств благородных исполненный Беллерофонт непорочный. И жена клевеща говорила властителю Прету: смерть тебе, Прет, когда сам не погубишь ты Беллерофонта: он насладиться любовью со мною хотел, с нехотящей. Так клеветала; разгневался царь, таковое услыша, но убить не решился: в душе он его ужасался; в Ликию выслал его и вручил злосоветные знаки, много на дщице складной начертав их ему на погибель». Однако погубить Беллерофонта не удалось: после ряда подвигов он убивает Химеру, побеждает Амазонок, избегает засады, устроенной Претом, и царь дает ему в жены свою дочь. Мотив любви супруги Прета к Беллерофонту, ее клеветы и т. д. — тот же, что в истории Федры и Ипполита (ср. в романе Гелиодора эпизоды: Кнемон и Демэнета, Феаген и Арсака). Итак, письмо появляется в греческой литературе в новеллистической ситуации, мимоходом попавшей в эпос. Цель письма — зловещая. На примере вставных «эротических» писем греческого романа вновь видна его связь с эпистолографической новеллистикой. Сохраняется и несчастливая цель письма, по крайней мере в тех случаях, когда персонажи связаны любовной фабулой, когда таким образом письмо должно иметь иллюзию реальной корреспонденции, в отличие от «благополучных» писем (напр., приведенное в § 9), хотя бы и эротического содержания, но в сущности замкнутых в самом себе и не направленных на объект, лежащий вне данного письма (преобладающий тип у Аристэнета и Алкифрона, в своем прямом виде не развившийся в дальнейшей европейской литературе: слабо мотивированный адресат и корреспондент легко могли улетучиться, в результате получались мелкие, промежуточные формы — вроде «стихотворений в прозе»).

48. Особый тип писем составляет односторонняя корреспонденция или психологический роман в письмах, причем о позиции адресата или предлагается догадаться или она остается вообще несущественной для читателя. Этот род писем общеизвестен всем из новой европейской литературы. Он ведет свое начало от салонных писем, приписываемых Филострату. Каким бы ни было

происхождение этого сборника (быть может, здесь случайно соединение писем именно в этом, а не в ином порядке), он, в его нынешнем виде, должен считаться романом в письмах, как, скажем, несмотря на недостаточную мотивированность и, следовательно, тоже «случайность» расположения отдельных пьес в сонетах Шекспира, именно в данном, а не в ином порядке, они все же позволяют вывести некоторые заключения о взаимоотношениях автора, того, кому он посвящает сонеты, и темнокудрой красавицы. Эти письма Филострата рисуют психологию светского эрудита той эпохи. В качестве примера страничка из этого сборника: «Юноше. I. Эти розы, словно на крыльях, стремительно неслись к тебе своими лепестками. Прими их благосклонно, как память об Адонисе, или ткань Афродиты, иль как очи земли. Атлету подобает венок из ветвей дикой маслины, великому царю—высокая тиара, воину — шлем с гривистым гребнем, прекрасному же юноше — розан; он сродни ему благоуханием, близок оттенком кожи. И не ты увенчаешься розами, а они тобой. II. Ему же. Послав тебе венок из роз, не почтить хотел я тебя, впрочем было у меня и это намерение — но угодить розам, чтобы они не завяли. III. Ему же. Лакедемоняне одевали пурпурные хитоны, чтоб устрашить врагов этим цветом или чтобы не замечать крови, пурпурной, как и эта ткань. Но вам, красавцам, надо вооружаться только лишь розами, принимая в дар от влюбленных это вооружение. Гиацинт подобает светлому юноше, нарцис – смуглому, а роза — всякому, так как и она сама некогда была юношей, цветком, зельем, благовонным маслом. Она Анхиза завлекла, Арея спасла, Адонису прийти напомнила; она — кудри весны, перуны земли, она — Эрот лампады. IV. Ему же. Ты винишь меня, что я не прислал тебе роз. Не по небрежности сделал я это, и не потому, будто разлюбил тебя, — нет, я считал, что тебе, златокудрому, венчающемуся розами своих кудрей, не нужно чужих цветов. Ведь и Гомер не возложил венка ни на златокудрого Мелеагра — это было бы к пламени прибавить другой пламень и удвоить горящую головню — ни на Ахилла, ни на Менелая, ни на других всех, чьи кудри воспеты им. Страшно завистлив этот цветок, быстротечен и скоро вянет; по преданию, и рождение его имело печальную причину: шипы роз укололи мимоидущую Афродиту — так рас-

сказывают киприяне и финикийцы. Так неужели же нам увенчиваться теми цветами, что не пощадили даже Афродиты»?

49. Филострату принадлежит следующее суждение о стиле писем: «он должен быть ближе к аттической речи, чем обычный разговорный язык, но (с другой стороны) он должен быть более близким к разговорному языку, чем (чистый) аттицизм, стиль должен быть простым, но не избегать нежности. Его красота состоит в отсутствии прикрас».

50. Гораздо чаще, чем эти два способа выражения лиризма (произносимый монолог и письмо), новая литература прибегает к «внутреннему монологу», т. е. психоанализу, производимому или самим действующим лицом романа («я») или автором за него («он думал, что . . .»). Этот способ мало свойствен как классической греческой литературе, так и греческому роману, однако и его можно встретить на окраинах античной литературы, в жанре «исповеди», пограничном с эротическим романом, но существенно отличающимся от него тем, что все события внешнего мира заменены событиями мира внутреннего, по которому скитается автор Если наиболее поздняя датировка греческого эротического романа относит его к V веку н. э. (между тем как наиболее ранняя датировка—ко II веку), то «Исповедь» Августина (354 — 430 гг.) возникла во времена тех же общественных форм и, в широком смысле, той же литературной настроенности. Вот образчик из нее, который может служить примером такого «внутреннего монолога» (некоторой аналогией этого отрывка по содержанию и тону в русской литературе являются «Ночи на вилле» Гоголя): «В те годы... был у меня друг, разделявший мои занятия, чрезвычайно для меня дорогой; он был мне ровесник и вместе со мной цвел цветом юности. Мальчик рос со мной, мы одинаково ходили в школу, одинаково резвились... дружба эта была для меня чрезвычайно сладостна, она созрела в горячем нашем пристрастии к одним и тем же занятиям... Уже вместе со мною блуждал духовно этот человек, и не могла душа моя быть без него...- и вот он покинул этот мир, едва лишь год продолжалась наша дружба, утешительная для меня больше всех утех тогдашней моей жизни... от этого горя затемнилось сердце мое, и все, на что я взирал, было смерть. Отечество мне стало

мученьем, отеческий дом — небывалым несчастьем. Все то, в чем протекало наше общение, без него обратилось в страшную пытку. Мои глаза ждали его отовсюду, но он не был мне дан. Я ненавидел все, так как не имел его. Уже не могли мне сказать: вот он придет — как это бывало при его жизни, когда ему случалось отлучиться. Я сам для себя стал неразрешимым вопросом, я спрашивал мою душу: почему ты грустишь и так сильно мятешься, но ничто не могло дать мне ответ... В таком состоянии я был в то время, горчайшим образом я плакал и покоился в горести... Не знаю, согласен ли я был бы умереть за друга, как это передают про Ореста и Пилада — если только это не вымысел, что у них было желание умереть друг за друга или обоим вместе, так как не жить вместе было для них хуже смерти. Но во мне зародилось не знаю какое-то чувство, вполне противоположного порядка: у меня было жгучее отвращение к жизни, но и страх перед смертью. Думается, чем больше я любил друга, тем с большим страхом ненавидел смерть, как жесточайшего врага, унесшего его у меня. Она, думал я, внезапно возьмет всех людей, раз она смогла похитить его. Мое тогдашнее состояние было именно такое, я помню это. Дивился я, что остальные смертные живут, тогда как умер тот, кого я любил, словно ему не предстояло никогда умереть. Еще больше дивился я на себя, что живу, между тем я был вторым «я» для покойного. Хорошо кто-то (Гораций о Вергилии I, 3) выразился о своем друге: «половина души моей». Ведь я чувствовал, что моя душа и его душа составляли одну душу в двух телах. Жизнь приводила меня в ужас: не желал я половинчатого существования. Потому-то я так сильно и боялся смерти, чтоб не умер всецело тот, кого я много любил... Так-то я волновался, вздыхал, плакал, метался. Не было ни успокоения, ни выхода. Я носил свою душу, разорванную, окровавленную, досадующую, что именно я ее ношу — и не находил места, куда бы ее положить. Ни в приятных рощах, ни в играх, ни в песнях, ни в благоуханных местах, ни в изысканных играх, ни в наслаждениях ложа и постели, ни, наконец, в книгах и стихах не могла успокоиться моя душа. Все наводило ужас, даже самый свет. Что не было тем, чем был мой друг, было гадко и ненавистно, помимо рыданий и слез. Ведь только в них есть еще кое-какая отрада.

Но лишь только из них уносилась моя душа, отягощало меня огромное бремя несчастья... Когда я пытался туда (на мой вымысел) сложить мою душу, чтобы она успокоилась там, она проскальзывала сквозь пустоту и снова обрушивалась на меня, и я для самого себя продолжал оставаться тем несчастным местом, где я не мог быть, но и не мог и уйти оттуда. Куда сердцу моему бежать от сердца моего? Куда бежать от самого себя? В какую сторону я сам не последовал бы за собою? Наконец, я покинул родину, потому что меньше искали его мои глаза в тех местах, среди которых не привыкли его видеть. И вот я из Тагаста переселился в Карфаген. Время идет не попусту, не досужливо катится оно по нашим чувствам, нет, оно производит в нашей душе удивительное действие. Дни шли за днями, их приход и миновенье давали мне другие впечатления и другие воспоминания... В особенности восстановили мои силы утешения новых друзей. В них больше пленяло мою душу другое: вместе беседовать и смеяться, угождать друг другу; вместе читать книги нежного содержания, вместе пустословить, друг другу говорить комплименты; порою разойтись во мнениях — но без гнева, словно человек сам с собою, и даже этим, впрочем очень редким, расхождением утвердить многочисленные случаи полного согласия; учить друг друга чему-нибудь, учиться друг у друга; нетерпеливо ожидать возвращения отсутствующих, радостно принимать приходящих — признаки, показывающие сердце тех, кто любит и кто любовью отвечает на любовь; этому служат уста, речь, глаза и тысяча милых движений — все это как бы воспламеняет души и делает из многих — единое» (I,V 7—13).

51. Некоторые филологи 1-й половины XIX века считали Гелиодора христианином. Указывали на сходство некоторых его выражений с теми, что имеются в сочинениях Павла; отмечали якобы высокое в романе Гелиодора положение женщины, которое, по их мнению, объяснимо только новой религией. Однако первый (языковый) довод слишком широк, со вторым едва ли можно вообще считаться. Исследователи 2-й половины XIX века причисляли Гелиодора к ново-пифагорейцам: наивысшее божество — Гелиос (Солнце), от богов исходит добро, от демонов — зло. Подобные суждения не учитывают, однако, сложности настроений времен раз-

ложения античности. Так, например, связь императора Константина с христианством не исключала его благосклонности к неоплатонику Сопатеру, которому, совместно с гиерофантом Претекстатом и астрологом Валенсом было поручено, при основании Константинополя, совершить торжественное освящение города по языческим обрядам. Афинянину, неоплатонику Никагору, дадуху елевзинских мистерий, Константин предоставил средства на поездку для изучения Египта. В Фивах сохранилась надпись, в которой Никагор выражает благодарность богам и императору за то, что они даровали ему возможность совершить это путешествие. От художника типа Гелиодора всего менее можно ожидать определенной ортодоксии. Уже было показано, как переродились у него в орнаментику старинные боги. К тому же стоить прочесть эпизод, рассказанный в 13-й главе V книги, чтобы усумниться в религиозности Гелиодора или, по меньшей мере, сказать, что гелиодоровское понимание религии имеет мало общего с современной ему религиозностью. Рисуемый Гелиодором портрет Каласирида, почтенного священнослужителя, стоит на границе комического. Некоторые из тех черт, за которые римляне презрительно называли греков graeculi (интонация вроде русской «грекосы»), отчетливо выражены в Каласириде, см., например, III, 17, 18); порою он предстает перед нами не то античным «салонным аббатом», не то прямо-таки Калхасом из «Прекрасной Елены». Несмотря на свои проделки, Каласирид все же проповедует: «пусть никогда голод не будет столь силен, чтобы заглушить память о божественном начале» (II, 22). Но религиозное содержание в романе Гелиодора выветрилось, боги попали в один ряд с другими остатками памятного национального прошлого, поэтому отношение романиста к ним самое почтительное, но вместе с тем вполне музейное, литераторское и пейзажное: «день едва улыбался и солнце (Гелиос) своими лучами освещало лишь вершины гор» (I, 1). (От этой первой фразы Гелиодора ведут свое начало вводные фразы бесчисленных новоевропейских романов. «Стоял прекрасный ясный день...» «солнце стояло уже высоко, когда..» и т. п.). «Когда же бог (солнце) закатился, пламя пожара необоримо стало светить» (II, 1) — замечает Гелиодор, отмечая малость земного пожарища при солнечном свете. Разгар

лирического «пожара» романист приурочивает к темноте. Причитания, в форме монологов, и патетические излияния влюбленной четы происходят главным образом ночью: «Еще с большей силой возбудила, думается мне, страдания ночь, не пленявшая ни слуха, ни зрения и позволившая всецело отдаться скорби» (I, 8). См. также ночные сетования мнимой Фисбы (II, 2). Ночью же впадает Хариклия в любовное исступление, рвет на себе волосы и одежды, бросается на одинокое ложе, прижимается к нему и в мечтах обнимает отсутствующего возлюбленного. «Пением будет плач, а вопли будут пляскою. Темнота пусть подтягивает!» — восклицает Хариклия (VI, 8). Любовные муки Арсаки также приходятся на ночь (VII, 9). Кроме этих, всецело лирических, моментов ночь дана Гелиодором еще в следующих сочетаниях: 1) пещера и сцены у входа в пещеру, 2) ворожба старухи (VI. 12). Вставные новеллы и сведения о прошлом действующих лиц романа мотивированы как повествуемые в ночные часы. «До глубокой ночи затянул я описание моих испытаний» — говорит Каласирид (V, I). «Остаток ночи прошел медленнее, чем они желали, но скорее, чем думали, так как большая часть времени ушла на пиршество и на неисчерпаемое раздолье рассказов» (VI, 1). Таким образом вечер, ночь, темнота поддерживают у Гелиодора главным образом лирическую конструкцию романа, затем обслуживают композиционную ретардацию; значительно реже являются моментами развития фабулы (сцены у пещеры; освобождение Феагена и Хариклии из темницы). Из всех греческих романистов Гелиодор наиболее отчетливо проводит разграничение света и темноты (в буквальном смысле этих слов). Приближение вечера отмечено в I, 7; I, 33; VII, 39. Ночь, полночь, поздняя, глухая — VII, 26; VIII, 10; VIII, 12; IX, 10. Заход солнца — VI, 12; Заря, восход солнца I, 19; II, 19; V, 10, VI, 1, VI, 8, VII, 11 и др. Благодаря тому, что Гелиодор часто отмечает начало и конец дня, можно подсчитать, что в его романе описано не более 15 дней целиком, с небольшими и не очень частыми между ними интервалами (пропуск 2—3 дней в VI книге; «по прошествии 5 или 6 дней» — VII, 20; «дня два — три» IX, 9; «войско отдохнуло около 2 дней» — X, 1). Такой Гелиос (— Солнце) озаряет мир Гелиодора, т. е. то поэтическое видение мира, которое романист мозаически сложил

из разнородных обломков, подчинив их двум доминантам: любви и занятности. «Эти создания фантазии движутся в туманном, волнообразном, облачном мире, не принадлежащем ни к какому времени и ни к какому пространству. Словно прозрачные, бескровные схемы волшебного фонаря, в диковинном потоке мчится все это перед нами», — говорит Роде. И однако мы убедились, что этот мир von nie und nirgends вполне принадлежит тому времени, пространству и среде, среди которых приходилось жить создавшему его романисту. При этой «обескровленности» персонажей романа особенно бросаются в глаза те частности, где неожиданно попадается резко-реальное: страдающий глазами и потому прибегающий к мазям Ахэмэн, потливость героини и других персонажей (IV, 11; II, 3; X, 13). Мы останавливаемся, читая, как Хариклия из ревности царапает себе щеку под ухом (II, 8) или как благородный Феаген, не узнав переодетой Хариклии и приняв ее за надоедливую попрошайку, дает ей оплеуху (VII, 7) (подробность, любопытная и в социальном отношении).

52. Если, таким образом, при внимательном чтении Гелиодора и при сопоставлении его романа с современными ему памятниками литературы, можно сделать немало наблюдений, то все же что нам известно из фактов жизни самого этого человека? Какова его биография? Церковный историк Сократ сообщает следующее известие: «каждый клирик, который после посвящения не прекратит супружеского общения с женою, должен быть лишен сана. Это правило установил Гелиодор, епископ Трикки в Фессалии, тот самый, который в своей юности написал любовный роман под заглавием «Эфиопика». По Сократу время жизни Гелиодора приходится на вторую половину IV века. Фотий выражается осторожнее: «уверяют, что Гелиодор впоследствии достиг епископского сана». Никифор Каллист, более поздний церковный историк, рассказывает так: «местный синод, в виду того, что чтение «Эфиопики», чаще называемой теперь «Хариклией», соблазнительно действует на молодежь, потребовал от Гелиодора или предать сожжению этот роман или отказаться от епископского сана. Гелиодор выбрал последнее». Такова легенда о Гелиодоре. В ней ясно сквозит настроение, характерное для эпохи гибели античного мира: новая

религия вступает в конфликт с эстетическими обломками прошлого. Понимание художественного творчества как «грехов молодости» повторится еще неоднократно (ср., например, биографию Бокачио), пока, наконец, процесс обмирщения церкви не приведет к тому, что именно епископы и вообще лица духовного звания станут нередко беллетристами. Гелиодора отожествляли также с одним из корреспондентов Иеронима и с автором ямбического стихотворения о способе делать золото, посвященного Феодосию Великому. Иными словами, мы ничего не знаем о Гелиодоре. Легенда же относительно епископства Гелиодора служила в новой Европе деталью, на которой можно было показать свое отношение к церковному. «Гелиодор, этот добрый епископ Трикки, предпочел потерять свой сан, доходы..., чем потерять свою дочь, дочь, которая и до сих пор очень мила, хотя, для дочери церковной и священнической, ее изгибы немного слишком причудливы, нежны и чересчур проникнуты любовью» — замечает Монтэнь. Сорель (Remarques sur le Berger extravagant, Rouen 1646) не может поверить, чтобы Гелиодор был таким дураком, чтобы отказаться от епископства, и вообще отвергает всю эту версию. Буало в одном письме сравнивает Фенелона с Гелиодором и иронически замечает, что Фенелон не отказался бы от доходов от своего прихода, как это сделал Гелиодор. Бэйль считает возможным, что Гелиодор был епископом, чему, по его мнению, не противоречит содержание романа. Бэйль ссылается на склонность первых христиан не отрывать себя от классических традиций, так Иероним выводил род апостола Павла от Агамемнона. Приводимой Никифором легенды касается Ла-Моннэ в следующих стихах: «митра, тягостное бремя! — воскликнул Гелиодор, — меня следовало бы лечить от безумия, если бы я сжег свой роман, чтобы тебя сохранить. В будущем, мою голову станут почитать гораздо больше за то, что она сумела произвести такую прелестную книгу, чем за то, что она была увенчана епископской митрой». Таковы биографические «сведения» о Гелиодоре. Но о других греческих романистах мы знаем еще меньше. Самые имена их внушают сомнение: имя «Лонг» (неожиданно римское) едва ли не возникло вследствие неверного прочтения греческого слова λόγοι (книги), стоявшего в заглавии его романа; имя «Евматий» в других рукописях читается

«Евстафий»; Ксенофонт Эфесский—указание на чистоту стиля этого романиста, следовательно «Ксенофонт» здесь заключает в себе оценку, а все это выражение звучит, примерно, как русское старинное прозвание: «российский Расин» и т. п.; «Харитон» явный псевдоним, произведенный от «харит» В этой связи не исключена возможность, что Гелиодор тоже имя вымышленное, намекающее на ту роль, которая отводится в романе Гелиосу — солнцу (Гелиодор — Солнцедар). А так как «Аполлон это то же самое, что и Гелиос» (Эфиопика X, 33), то, быть может, под Гелиодором кроется Аполлодор. «Эфиопика» дает в самом конце X книги несколько сведений об авторе: он 1) финикиец; 2) из Эмесы; 3) из рода Гелиоса (Солнца); 4) сын Феодосия. Эмеса — город в Сирии на восток от реки Оронта, при Каракалле — римская провинция, место рождения Александра Севера. В великолепном храме солнца Гелиогабал (с 217 г. по 222 г. — римский император) был главным жрецом. Культ Гелиоса старался он распространить и в Риме. Если связывать сообщенные (всего вероятнее добавленные впоследствии) в конце »Эфиопики» сведения об авторе с этими эпизодами римской истории, то приписка эта, учитывая вкус эпохи, может быть истолкована как чистая аллегория, намекающая на роль Гелиоса в этом романе. В самом деле, слово φοίνιξ может означать не только «финикиец», но и «феникс». Он — из Эмесы, т. е. из города, прославленного культом Гелиоса. Он из рода Гелиоса и сын Феодосия (= сын богоданного). При таком толковании отпадает и негреческое (финикийское) происхождение Гелиодора, кстати сказать, ничем не подтверждаемое в его романе.

53. Роман Гелиодора был популярен в ранне-византийскую эпоху. Вот несколько примеров, показывающих отношение к нему. Сперва образчик чисто эмоционального подхода: стихи (вернее: вирши) неизвестного автора: «Тобою, дева Хариклея, поражен. Сжималась грудь, цепенел в смятеньи ум, когда я созерцал тоску любви твоей. Тобой я восхищался, по тебе скорбел. Как целомудренны все помыслы твои, как терпеливо ты сносила море бед, верна в любови Феагену до конца. О сколь блаженна ты среди влюбленных дев, средь дев любимых всех блаженней ты! Вначале жизнь твою объял несчастный мрак, но, наконец, ты обрела счаст-

ливый брак. Ты испытала злодеяния людей, разбои, тысячи превратностей и бед, скитания и долгие блуждания, но сочеталась ты — о сладкий свадьбы час — с триждыблаженным Феагеном навсегда».

54. «Толкование из уст Филиппа Философа относительно целомудренной Хариклии. Как-то раз я вышел из Регийских ворот, ведущих к морю; когда я уже был у источника Афродиты, вдруг слышу: какой-то голос кричит и окликает меня по имени. Обернувшись, я стал смотреть, откуда идет этот крик, и увидел Николая, царского писца. Он бежал к морю вместе с дражайшим Андреем. Оба они были мне в высшей степени приятны. Поэтому я решил, покинув приморскую дорогу, пойти к ним навстречу. Мы скоро сошлись, оба улыбаясь. Ты сказал мне; странный ты человек, почему ты так равнодушно позволяешь злым языкам яростно ополчаться против мудрых сочинений? Дело в том, что в преддверии святилища собралось много любителей словесности. Они читают книгу о Хариклии. Большинство из них ругает и поносит ее, издеваясь над этим повествованием. А я, как любитель Хариклии, не могу этого выносить, клянусь мудростью. Умоляю тебя, не оставь без внимания этих наглых насмешек над целомудренной девушкой Противопоставь им твою мудрость, твои соображения, твою чистосердечность. Покажи всем этим глупым болтунам, что рассказ о Хариклии совершенно безупречен. Право, хоть сейчас, я советую тебе это сделать, друг мой. — Милый мой, — возразил я ему, — чудное ты ко мне предъявляешь требование: это все равно, что искать зимою весенние цветы, а в седой старости — мальчишества. Впрочем, согласно изречению мудреца, есть забавы у старцев, но эти забавы почтенны. Что же, давай и мы позабавимся, этим плодом фантазии но, впрочем, самым почтенным образом... Мудрый Сократ вообще был только мыслителем, однако, усевшись вместе с красавцем Фэдром в укромном месте среди тростников, даже и он стал направлять юношу на путь рассказов о любви. И вот, придя туда, мы застали наших друзей, всех вместе, перед священными воротами храма. Они приняли нас в свою компанию. Я воздал обычное поклонение владычице-деве и затем обратился к друзьям. Мы уселись на невысоких скамейках, у порога священных ворот. Я начал свое слово так: эта книга, друзья мои, похожа на киркейское

зелье: непосвященных она превращает в свиней, в смысле их поведения, но тех, кто любомудрствует по примеру Одиссея, она посвящает в высокое, сокровенное учение. Дело в том, что перед нами назидательная книга, наставляющая нас в нравственной философии; в этой книге вода фабулы смешана с вином умозрения. А так как человеческая природа делится на мужской и женский пол... (здесь дается — довольно плоский — разбор мужских и женских типов романа, с попутным замечанием, что дурные качества вообще более свойственны женщинам. Затем автор переходит к иносказательному истолкованию персонажей романа: Хариклия является символом души и разума, упорядочивающего душу. Ибо слава (κλέος) и прелесть (χάρις) — это и есть разум, когда он внедрен в душу. Харикл, воспитатель Хариклии — символ деятельной, практической жизни. Камень пантарб («всестрах») намекает на страх божий, потому что бог — это и есть все (τὸ πάν). Кроме того, автор вдается временами и в мистику чисел. Сведений об авторе этого «толкования» — философе Филиппе у нас не имеется вовсе.

55. По стечению обстоятельств греческий роман неразрывно связан с именем Фотия, бывшего дважды константинопольским патриархом (с 857 г. по 867 г. и с 877 г. по 888 г.). Мирянин, в несколько суток достигший высших церковных степеней благодаря сложному переплетению придворных интриг; враг римского престола, за это впоследствии идеализированный греками, видевшими в нем чуть ли не национального героя; автор многочисленных богословских трудов и, между прочим, двух проповедей по поводу набега руссов на Константинополь в 860 г., вообще человек, проживший шумную жизнь, чтобы кончить ее в безвестном изгнании — этот Фотий был большим начетчиком. Около 850 г. его посылали с миссией к «ассирийцам» (очевидно, сарацинам) в Багдад. Готовясь к экспедиции, он собрал воедино те конспекты, заметки, экстракты, которые он делал при чтении книг. Получилась коллекция, известная под именем «Мириобиблион» (= тысяча книг) и содержащая сокращенное изложение 280 томов классических авторов. Среди серьезного чтения и препирательств с Римом, Фотий урывал минутку и почитывал древние эротические повести. Если мы знаем содержание недошедших до

нас романов Антония Диогена «Чудеса за Фулой» и «Вавилоники» Ямвлиха, — этим мы обязаны Фотию. Ему же принадлежит и следующая сравнительная характеристика романов Гелиодора и Ахилла Татия: «В чем разница этих сочинений? Я знаю, что многие, притом очень образованные люди, затрудняются относительно этих двух сочинений любовного характера, сюжетом первого из которых является Хариклия, второго — Левкиппа — девушки изящной внешности и превосходной нравственности. Одни решительно утверждают, что роман о Хариклии стоит выше вульгарной отделки романа о Левкиппе. Другие, как-раз наоборот, считают выше второй из них. Ознакомившись и с той и с другой книгой и тщательно разобравшись в их слоге и смысле, я не могу примкнуть ни к одному взгляду, столь резко высказанному в пользу того или иного романа, но думаю, что каждый романист в известной мере и выше и ниже другого. Однако по большей части все же выше стоит роман о Хариклии. В самом деле, красота его слога не является ни вполне пышно-театральной, ни строго-аттической, но отличается величественностью. Слог не лишен приятности и удовольствия, цветисто украшен нежными и прелестными словами и возвышенно поражает слух сменой необычных по языку фигур. Он приятно прилажен и оживлен неожиданными мыслями, высказанными кратко, вообще, хозяйство речи соответствует приемам Исократа и Демосфена. Действительно, иной раз кажется, что автор начинает как-то издалека, но сейчас же в противовес следует то, что зависит от этого далекого начала. Кто читает впервые этот роман, думает, что очень много здесь лишнего, но, с ходом повествования, поражается хозяйственности автора. Да и само начало этого произведения похоже на свернувшихся змей. (см. § *21*). Приятен этот роман и по языку и по риторическому красноречию автора. Он прекрасен возвышенным складом речи и, по большей части, составлен так, что это величественное красноречие кажется примененным в меру. Он испещрен эпизодическими рассказами, дышащими, если так можно выразиться, любовною прелестью. Его прекрасный язык и сладкие картины, пленяющие сладострастие слушателя, выражены поэтически без грубости, а вся композиция, словно в героической поэме, проникнута красноречием. Я знаю, что многие

упрекают этот роман за то, что речи Харнклии не носят женского или женственного характера и вопреки требованиям искусства, ее язык клонится в сторону софистики. Но я лично не могу достаточно восхвалить это Дело в том, что писатель выводит Хариклию не как простую девушку, но как посвященную в таинства служительницу пифийского Аполлона; вот почему даже большая часть ее плачей имеет пророческое значение. Хариклия преисполнена вдохновения, как это бывает с исступленными пророчицами; вообще она сродни треножнику. И остальные действующие лица изображены писателем очень правдоподобно. Рискованные моменты фабулы, которые вряд ли кто мог бы утаить, этот писатель рассказывает великолепно, предпочитая показать их нам сказанными по-хорошему, чем совершенными по-худому... Еще более удивительно, что в столь гибком и широком произведении автор сохранил постоянство и как бы упорство в целомудрии; так, душу Хариклии раз навсегда воспламенил он строгостью к красоте и до конца сохранил ее вдали от всенародной Афродиты; Хариклия не откинула благопристойности даже когда была побеждена. Я вижу, что это произведение причастно и ко многим областям знания. Дело в том, что в него введены естественно-научные сведения, приводятся поучительные сентенции, богословские замечания и несколько наблюдений над движущейся сферой. Ее влияний сочинение это не оставляет в стороне. Это обнаруживают нити Кроноса, которые Каласирид поспешил избежать, благодаря неким сокровенным вещаниям. Ведь я думаю,—чтобы сказать согласно с эллинами—что не все эти виды сводятся к одному этому, но что автор с вакхическим тирсом и от него истекающим вдохновением не так уж далек даже и от Демосфенова красноречия. Автор заботится и о читателе, освежая его переменами, неологизмами, эпизодами и разнообразными изгибами. В этом сочинении не меньше высказано поучительных мнений, чем в каком другом, из мною прочитанных». Вообще Фотий, сравнивая между собой романы Гелиодора, Ахилла Татия и Ямвлиха отмечает, что авторы их ставили перед собой почти что одну и ту же задачу, но подошли к ней по-разному: «Гелиодор более значительно и благопристойно, Ямвлих уступает ему в этом отно-

шении, Ахилл же Татий пишет с позорным бесстыдством».

56. Так называемый византийский ренессанс (с XI века) воскресил мотивы греческого романа, в том числе и Гелиодора, в романах: Евматия «Гисмин и Гисминия» (см. отрывок из этого романа в § 10), Федора Продрома «Роданта и Досикл», Никиты Евгениана «Дросилла и Харикл». Последний роман написан уже в стихах; таким образом греческий роман, столь многим воспользовавшийся из стихотворной поэзии, снова вернулся в нее, дав причудливый с точки зрения классического греческого искусства, образчик эпоса сплошь любовного содержания и к тому же написанного ямбическим триметром размером, свойственным диалогическим частям театральных пьес. Некогда эпос давал и сюжеты для театра, теперь театр дает свой метр для эпоса. Отчетливые границы жанров классического искусства стали делаться зыбкими еще в эллинистическую эпоху. В дальнейшем развитии этой линии, греческий роман один из самых существенных моментов литературного движения, снимавшего перегородки между жанрами. Роман с самого начала явился как помесь, порою—как ублюдок. Немудрено, что для этого «незаконнорожденного» детища греческой литературы, классическая поэтика не предусмотрела даже названия. Все остальные жанры носят до сих пор свои первоначальные греческие названия (трагедия, лирика и т. п.), лишь р о м а н имеет не греческое, а западно-европейское, средневековое название—так называли повести с любовной интригой, написанные не на ученом—латинском—языке, а на местных, народных—романских наречиях. Греческие романисты (или их читатели) обозначали этот жанр различно: то просто λόγοι (=сказы), так назван роман Ахилла Татия, Лонга; то βιβλία (=книги)—подзаголовок романа Ксенофонта, Гелиодора. Евматий называет свой роман открыто театральным термином; δρᾶμα (=действо). Кроме того, называли романы διηγήματα= повествование и т. п. Иначе говоря, по-гречески нет единого термина для обозначения романа, хотя именно Греция наметила и самый этот литературный жанр и его возможные видоизменения. Пример романа Никиты Евгениана показывает, что роман в стихах также имелся по-гречески. Что же касается Гелиодора, то

в Византии им интересовались до самого конца, вплоть до XV века, когда Иоанн Евгеник, в своих «Экфразах», подражавший «иконам» (т. е. картинам) Филострата, написал предисловие (προθεωρία) к Гелиодору,

57. Западная Европа восприняла византийские, восходящие к античности, фабулы и сказания преимущественно во время крестовых походов (включением гелиодоровских эпизодов в «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо—см. § 61—символизируется это явление, разумеется, без намерения автора). Древняя Русь вместе с византийской религией получила, сама того не подозревая, изрядный запас греческих романов, правда, не эротических. Это были аретологические сочинения (цель их—прославить высокие качества какого-либо лица, изложив его доблестную жизнь). Сюда относятся жития святых. Традиции античной аретологической повести в них ясны (вышеуказанный философский роман об Аполлонии Тианском надо также причислить к аретологическому жанру).

Наблюдается сложный сплав романических схем с церковной идеологией. Древне-русская письменность введением национальных элементов еще более осложнила этот вид романа. Житийная литература была использована в XIX веке Лесковым и Л. Толстым с назидательными целями, следовательно без принципиальной перемены житийной идеологии. В манере письма Лесков подчеркивает византийскую орнаментовку этих сказаний, Л. Толстой приводит их к мнимо-изначальному примитивизму. Проникшие к нам внецерковным путем аретологические сказания об Александре Македонском были в XX веке возобновлены Кузминым в «Подвигах великого Александра», опирающихся, впрочем, преимущественно не на русскую, а на западно-европейскую, волшебно-рыцарскую традицию. Эротический греческий роман не был на Руси воспринят своевременно, т. е. в эпоху Ренессанса, в виду того, что у нас этой эпохи не было. Слабые отзвуки галантных западных повестей, впитавших в себя элементы греческого романа, стали проникать в XVII веке через посредство юго-западной образованности (Так в «Римских деяниях» находится повесть об Аполлоне, короле Тирском). Нелегко было передать отсутствующие на Руси понятия, которыми пропитаны западно-европей-

ские авантюрно-рыцарские романы: «странствующие рыцари» переводилось, как «езжалые рыцари»; «вежливость»—«придворное обращение», «куртуазность»—«дворность», «дворщина»; прекрасные дамы—«добрые госпожи». Если бы греческий эротический роман проник к нам в до-петровскую эпоху, то это сказалось бы на именах и авторов и героев. Самое имя «Гелиодор» отлично известно на Руси: это—Илиодор, рождающий, впрочем, у русского читателя совершенно иные ассоциации. Разнобой двух произношений («рейхлиновского» и «эразмовского») греческих имен собственных не устраним из русского языка, так как имеет исторические корни и, впрочем, способствует богатству языковых интонаций. Считаясь с ними, с традицией и могущими возникнуть ассоциациями, приходится, при передаче имен, каждый раз решать вопрос отдельно. Иначе языковая последовательность привела бы к нежелательному комизму; например, «рейхлиновский» ряд: роман Илиодора, действующие лица: Феаген, Хариклия, Книмон, Кивела, Фисва и т. д.; «эразмовский» ряд: роман Гелиодора, действующие лица: Теаген, Хариклея, Кнемон, Фисба; города—Атены, Тебы, река Нейл (=Нил) и т. п.).

58. Отношение запада к греческому роману может быть показано на статистике изданий и переводов Гелиодора (данные даны по 1884 г.), не говоря об изданиях и переводах других греческих романов. Первое печатное издание Гелиодора появилось в Базеле в 1534 г. Единственное комментированное издание, вышедшее в Париже в 1804 г., принадлежит греку Кораису (комментарий также на греческом языке). Наилучшие издания текста романа относятся к 1855 году (Bekker, Lpz) и 1856 (Hirschig, Paris). Именно с этого издания и сделан предлагаемый перевод). Европейский читатель знакомился с Гелиодором в многочисленных переводах: латинский перевод сделан в 1556 г., польским рыцарем Варшевицким. Всего за время с 1534 по 1856 г. насчитывается 19 полных или частичных изданий Гелиодора на греческом и латинском языках. На французском языке Гелиодор появился в 1547 г., в ставшем классическим переводе Амьо, доставившем переводчику аббатство (как утверждает легенда, роман стоил Гелиодору его епископства, литературные же заслуги переводчика были награждены доходным аббатством). Даль-

нейшие французские переводы представляют собою переиздания перевода Амьо, иногда с частичными коррективами. Всего появилось на французском языке 39 изданий перевода Гелиодора. Первый итальянский перевод появился в 1556 г. Всего—15 изданий. На испанском языке, начиная с 1554 г. 7 изданий Первый английский перевод—1569 (Thomas Underdowne), всего —18 изданий. На немецком языке, считая со времени появления первого перевода в 1554 г. (Iohann Zschorn), всего 13. На голландском языке Гелиодор появился в 1659 году, и на датском — в 1690 г., на польском — в 1606 г., на венгерском – в 1700 г., на ново-греческом— в 1804 г

59. Английский перевод Андердауна (1569 г.), очевидно, был заметным литературным явлением, раз Шекспир в «Двенадцатой ночи» (около 1601 г.) влагает в уста герцога ссылку на одно место романа Гелиодора (книга I гл. 30), надо думать известное хотя бы некоторым из посетителей театра. Ссылка эта сделана в следующей ситуации: главные действующие лица объединены непрерывной любовной цепью: Оливия, влюбленная в Виолу, переодетую мужчиной, и принимающая ее за юношу Цезарио, тайно венчается с Себастьяном, братом Виолы, чрезвычайно на нее похожим, считая, что венчается с Виолой. Себастьяна любит, спасает ему жизнь и поддерживает его материально Антонио, капитан корабля. Виола влюблена в иллирийского герцога, герцог влюблен в Оливию, но та отвергает его ухаживания. В 5-м действии (1-я сцена), перед самой развязкой, у герцога происходит следующее объяснение с Оливией: Г е р ц о г: По прежнему жестока. — О л и в и я: Попрежнему постоянна. — Г е р ц о г: В жестокости? Увы, неумолимая красавица, на твой алтарь неблагодарный приносил я души моей священнейшие жертвы—и все напрасно! Что же делать мне?— О л и в и я: Что вы почтете более приличным. —Г е р ц о г: Так почему же мне не умертвить того, что для меня всего милее, как египтянин тот, который в час кончины злой убил свою подругу? И разве необузданная ревность не на границе благородства? (в подлиннике сказано яснее: Egyptian thief—египетский вор—вор в том же смысле, как и в древнерусском языке, напр., в выражении «тушинский вор»-разбойник, мятежник, шельма). Эта ссылка Шекспира

не случайна. Многие ситуации греческого романа могли в эпоху Возрождения давать материал для театра. Чтобы почувствовать эту близость мотивов и интонаций, вернемся еще раз к роману Ямвлиха: «Затем любовники укрываются в гостинице, бегут оттуда и около полудня находят пристанище на другом постоялом дворе. Там происходит страстная распря между братьями. Родана и Синониду обвиняют в убийстве, но отпускают на свободу, так как их обвинитель—тот старший брат, который отравил младшего—снял с них подозрение своим самоубийством. Родан незаметно унес с собой яд. Любовники попадают в дом разбойника, который грабил путников и поедал их. Солдаты, посланные Дамасом, схватывают разбойника и поджигают его дом. Любовники, охваченные огнем, едва избежали гибели, убив ослов и по их телам проложив себе путь среди огня Ночью поджигатели заметили их и задали им вопрос: «кто вы такие?». Они отвечали: «мы—образы людей, убитых разбойником». Бледность изнуренных лиц и подавленный голос убедили и устрашили солдат. И вот любовники опять бегут оттуда, встречают похороны девушки, вместе со всеми идут на это зрелище. Халдейский старец внезапно останавливает погребение, утверждая, что девушка еще жива. Так и оказалось. Он предвещает, что Родан станет царем. Гробницу девушки оставляют пустой, там было много одежд, которые предположено было сжечь при погребении, вдобавок много пищи и напитков. Родан и Синонида угощаются всем этим вдоволь, берут кое-что из одеяний и засыпают в гробнице девушки. Солдаты, поджегшие дом разбойника, на другой день поняли, что они попали впросак, и пустились в погоню по следам Родана и Синониды, думая, что те участвовали в злодействах разбойника. Дошли по следам до гробницы, увидали любовников, спящих в гробнице, неподвижных, скованных сном и вином, решили, что видят мертвых, и оставили их там, недоумевая, почему же следы шли туда. Родан и Синоида покидают это место, переправляются через реку, сладкую, прозрачную и предназначенную для питья царю вавилонскому. Синонида продает платье. Ее схватывают, обвиняя в ограблении гробницы и приводят к Сорэху, сыну сборщика податей Сорэха; он прозывался «справедливым» (5, 6, 7).

61. Торквато Тассо (1544—1585) высказал следующее суждение о Гелиодоре: «заставить слушателя недоумевать, между тем, как автор переходит от смутного к определенному и от общего к частному—это постоянный прием Виргилия и это одна из причин, по которым нам так нравится Гелиодор». В поэме Тассо «Освобожденный Иерусалим» имеется явное заимствование из Гелиодора. Евнух Арзет так рассказывает воительнице Клоринде: Сенап был Эфиопии царем; быть может, он там царствует доныне; он сам и с ним все эфиопы сына Марии, Иисуса, почитают. На женской половине во дворце я жил и там прислуживал царице: хотя она была и черной кожи, но цвет ее красы отнюдь не портил. Картина у нее была в покоях священного значения: как снег сверкая белизной, в цепях под стражей Дракона, дева юная томится; чудовище копьем пронзает витязь, и плавает оно в своей крови. Перед картиной часто в умиленьи молитвенном царица преклонялась. Невдолге забеременев, царица рождает дочь, такой же белизны: то ты была... До глубины сердечной она поражена нежданным чудом; потом ей стало страшно, чтобы в белом ребенке доказательства измены не увидал ревнивый муж, и скрыть от глаз его она тебя решилась. Тогда ей предложили заменить тебя новорожденной эфиопкой: служанка лишь да я имели доступ в ту башню, что служила ей жилищем; и мне она с доверием вручила сокровище свое. Осталась ты не погруженной в воду по обряду: у эфиопов он бывает позже. Печаль несчастной матери кто мог бы воочию представить! Сколько раз она тебя в объятиях сжимала. Прощалась сколько раз она с тобою! Слезами орошенные глаза она возводит к небу напоследок и молвит: «Боже! сердца моего ты видишь глубочайшие изгибы. И знаешь ты, что я не осквернила ни помысла, ни ложа твоего... Не о себе тебя я умоляю: во многом я грешна, но, боже правый, спаси малютку чистую! Пусть будет она, как я, строга в законах чести, а находить пути к земному счастью научится уже пусть от другой. И ты, небесный воин, что от змия избавил эту девственницу, ты, чей образ я дарами золотыми украсила в мерцании лампады, будь ангелом-хранителем для той, что не познает материнской ласки". Страдалица смолкает, и от скорби лицо бледнеет сразу, как у мертвой", (XII, 20—27).

62. В испанской драме гелиодоровские элементы усматривают у Кальдерона (1600—1681) и у Хуана Перец де Монтальван, в одноименных пьесах того и другого: «Сыновья фортуны». У Монтальвана разбойники повышены в чине — это принцы; Кнемон тоже принц — именно: принц китайский. Сервантес восхищался Гелиодором и следы знакомства с Гелиодором находят у Сервантеса в некогда популярном его романе «Персилес и Сигизмунда», выпущенном уже после «Дон-Кихота», и относящемся к галантно-авантюрному жанру. Чтобы иметь понятие о романах этого типа, приведем содержание «Московской повести» Генриха Суарец де Мендоза и Мендоза Фигуероа (1665 г.), одного из подражателей сервантесовскому «Персилесу». Московия вызвана здесь к жизни потребностью идеализировать действие перенесением его в экзотические страны: Московского принца Евсторгио преследует смертельной ненавистью его тетка Хуана, поэтому Евсторгио живет вдали от двора в пещере. Однажды, будучи на охоте, увидел он двоих молодых людей, один из них был близок к смерти. Другой, в отчаянии, разражается воплями и падает на труп, орошая его слезами. Из монолога узнаем мы, что мнимый юноша—это супруга умершего, ее имя — Клорилена. Она нечаянным выстрелом убила своего мужа. Евсторгио не слышал этого монолога. Он уносит труп в свою пещеру. За ним следует переодетая мужчиной Клорилена. Под именем Карлото сопровождает она Евсторгио в его скитаниях. Тот отваживается вернуться в Москву, но его сейчас же сажают в темницу, и только благодаря самопожертвованию одного из друзей избавляется он от опасности, что ему отрежут уши. Евсторгио спасается бегством. Он встречает старца и показывает ему цепь, принадлежавшую Карлото. Старец узнает цепь своей дочери. Тем временем княгиня Хуана переменилась и стала благосклонна к Евсторгио. Он должен вернуться обратно и обручиться с французскою принцессой. Евсторгио просит времени для размышления и предпринимает большое путешествие в сопровождении Карлото. Наконец Карлото признается принцу, что он — женщина. Евсторгио страстно влюбляется в нее, женится на ней, а Карлото-Корилена находит своего отца.

63. В биографии Расина рассказывается следующее: будучи в коллеже, случайно нашел он греческий роман

о Феагене и Хариклии. Он с жадностью читал его, пока ризничий Клод Лансело, заставший его за этим чтением, не отнял у него книги и не бросил ее в огонь. Расин нашел способ достать другой экземпляр, который подвергся той же участи, что вынудило его приобрести себе третий, и чтобы не бояться запретов, он его выучил наизусть, а книгу принес ризничему и сказал: «Вы можете и эту сжечь, как и остальные». Юношеская, впоследствии уничтоженная трагедия Расина имела сюжетом любовь Феагена и Хариклии.

64. На ряду с Д'Юрфэ (в его романе «Астрея» фигурирует прекрасный пастух Селадон, чье имя стало нарицательным), Гомбервиллем и Ла-Кальпренедом—видная представительница французского романа XVII века, мадемуазель Скюдери в предисловии к своему роману «Артамен или великий Кир» пишет: «в качестве единственных образцов я взяла для себя — и всегда буду брать — бессмертного Гелиодора и великого Юрфэ. Только этим мастерам подражаю я; только им и следует подражать, потому что уклониться от них значит сбиться с пути». Идеально отвлеченная сторона греческого романа была усилена французами; бытовое, слишком экзотическое и слишком античное, подверглось изгнанию как непристойное. В результате получились произведения, более доступные, чем высокий трагический театр Корнеля и Расина, для придворного общества, узнававшего в этих романах свои идеалы: таким должно было бы быть это общество по своим собственным воззрениям. В великом Кире видели идеализированного Кондэ, в Сафо — самое Скюдери. Очищенному и причесанному Теагену французский камзол пришелся впору, тем более, что в самом греческом романе уже намечалась эта линия: примером может служить гелиодоровский галантный туземец, стремящийся выполнять все поручения своей возлюбленной (эпизод с финикоптером VI, 3). Такой персонаж мог, конечно, без изменения быть перенесен во французский роман. Напротив, следующая, например, подробность из греческих романов была явно неприемлема: «девушка Гисмина, встав на камни, взяла мои ноги, стала омывать их водой — таков священный долг по отношению к глашатаям; но она держала их, удерживала, обнимала, прижимала, безмолвно украдкой целовала, наконец, стала царапать ногтями и щекотать. Я все

сносил молча, но тут меня разобрал смех» (Евматий I, 12). Но, кроме адоптаций, даже самые переводы греческих романов на французский язык подвергались «очищению». Так только что приведенное место из Евмотия опускалось: во французском переводе — герой и героиня, взамен того, рассуждают о добродетели. Эта галантная придворная романистика вызывала, впрочем, и отпор: Шарль Сорель в своем «Причудливом пастухе» (1628 г.) высмеивал пасторальные романы. Буало, как автор «Поэтического искусства», не благоволил к роману-жанру, не предусмотренному классической поэтикой. В диалоге «Герои романа» (1701 г.), он следующим образом отметил вольность романистов в обращении с именами исторических лиц, исключительно салонно-эротический подход ко всему и т. п.: Д и о г е н... Только уж не называйте его «Киром». — П л у т о н: Почему? — Д и о г е н; Это уже не его имя. Его теперь зовут Артамен. — П л у т о н: Артамен? А где же он подхватил это имя? Не припоминаю, чтобы я когда-нибудь читал о нем. — Д и о г е н: Ясно, что вы не знакомы с его историей. — П л у т о н: Кто? Я? Я знаю, Геродота не хуже всякого другого. — Д и о г е н: Да, но несмотря на это, скажите-ка, почему — это, Кир завоевал столько земель, прошел Азию, Мидию, Гирканию, Персию и опустошил, в конце-концов, чуть-что не полсвета? — П л у т о н: Что за вопрос! Ну, потому что он был честолюбивым царем, хотел подчинить себе всю землю. — Д и о г е н: Ничего подобного. Это потому, что он хотел освободить принцессу, похищенную у него. — П л у т о н: Какую такую принцессу? — Д и о г е н: Мандану. — П л у т о н: Мандану? — Д и о г е н: Ну да. А знаете ли вы, сколько раз она была похищена? — П л у т о н: Откуда мне это знать! — Д и о г е н: Восемь раз. — М и н о с: Ну, значит, красотка пошла по рукам. — Д и о г е н: Это верно, но все ее похитители были самыми добродетельными злодеями на свете. Уверяю вас, они и не притронулись к ней».

65. Таким предстает нам роман Гелиодора, отягощенный множеством последующих культурных напластований. Все это показывает, что он, возникнув на окраинах античности, попал, однако, в главное русло последующей европейской литературы. Вальтер Скотт в примечании к «Lady of the Lake» говорит так: «То, что в одном периоде было мифом, перешло в роман следующего

столетия и позднее в детскую сказку. Исследование значительно умаляет наши представления о богатстве человеческой изобретательности». Заключенные в романе Гелиодора обломки эпоса и театра нередко возвращались (и достаточно плодотворно) по принадлежности, то есть обратно в эпос и театр. Непосредственное подражание в романической форме привело к созданию многочитаемой, очень ходкой, но в сущности второстепенной беллетристики, интонационная и формально-техническая оппозиционность к которой — давала, напротив, превосходные результаты («Дон Кихот»). С падением придворного быта его галантная беллетристика оттесняется, как отработанный материал, в «низы» литературы, что в социальном отношении означает ее появление в качестве массовой «народной» литературы: общественные «низы» питались культурными отбросами «верхов». Тот «глупый» Милорд аглицкий, против которого ополчался Некрасов, именно и был таким «культурным отбросом», отголоском галантного романа и, следовательно, среди своих именитых предков может считать и греческий роман. Между тем на литературных верхах возобладавшее третье сословие создает в XVIII веке новый тип романа в произведениях Руссо, Гёте, но главным образом англичан.

66. «Роман отличается тем более высокими и благородными свойствами, чем больше внутренней и чем меньше внешней жизни выражено в нем; это соотношение, как характерный признак, замечается на всех ступенях развития романа от «Тристрама Шенди» вплоть до грубейшего, полного происшествий рыцарского или разбойничьего романа. В «Тристраме Шенди» нет почти-что никакого действия. Как мало его и в «Новой Элоизе» и в «Вильгельме Мейстере». Даже в «Дон Кихоте», относительно говоря, тоже мало действия, к тому же оно очень незначительно и склоняется в шутовскую сторону. Между тем «эти четыре романа представляют собою вершину этого жанра» (Шопенгауэр). «Всякий романист занимается чем-то вроде bouts rimés (задача написать стихи на заданные рифмы): данное ему множество происшествий и ситуаций он располагает в стройной, закономерной последовательности; он целесообразно заставляет одного героя пройти через все эти происшествия по пути к одной цели. Его герой должен быть достаточно своеобразен, чтобы опреде-

лять собою встречающиеся обстоятельства и самому определяться ими. Это последовательно проведенное изменение героя и образует занимательную сторону романа» (Новалис).

67. Французское просвещение, с его разумностью, стремлением к полезному, практически-моральным подходом к жизни, отдельностью мира и человека, гражданственностью и целесообразной необходимостью, воспринимало античность под своим углом зрения, выдвигая рациональные ее стороны и несколько заслоняя Элладу Римом. Новое открытие Эллады, влияние которого продолжается и до сих пор, произошло под знаком Веймарской культуры: стремление к целостному человеку, требование самоценности действия, поэтически-универсальный поход к жизни, единство человека со вселенной, внутренняя его сосредоточенность. На греческом романе это сказалось в том отношении, что при этом новом, германском, восприятии Эллады роман Гелиодора, как прочно ассоциированный с только что преодоленной беллетристикой романского толка, должен был уступить свое место ранее считавшемуся второстепенным и мало приличным, а теперь зазвучавшему по-новому роману Лонга «Дафнис и Хлоя». Общеизвестен отзыв Гёте, записанный Эккерманом: «Воскресенье 20 марта 1831. — Сегодня Гёте за обедом сказал мне, что на-днях перечел «Дафниса и Хлою». — Поэма так хороша, — сказал он, — что в наши скверные времена нельзя сохранить производимого ею впечатления и, перечитывая ее, изумляешься снова. В ней все освещено ясным солнечным светом. Несмотря на значительную замкнутость, — сказал Гёте, — перед нами раскрывается целый мир. Мы видим всякого рода пастухов, земледельцев, садовников, виноградарей, корабельщиков, разбойников, важных господ и рабов. Вся поэма, — продолжал Гете, — свидетельствует о высоком искусстве и образованности. Она так обдумана, что в ней нет ни одного недостающего мотива, и все они как нельзя более основательны: например, клад, найденный на берегу моря в гниющем трупе дельфина. И какой вкус, какая полнота и нежность чувства! Их можно сравнить с лучшим, что только было написано. Все отвратительное, вторгающееся извне в счастливую область поэмы, как-то: нападение, грабеж и война, всегда рассказано самым крат-

ким образом и не оставляет почти никакого следа. Порок является вследствие влияния горожан, и притом не в главных лицах, а в аксессуарных. Все это первостепенные красоты». Отзыв Гёте тем понятнее, что в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к роману, статические, неизменные на протяжении всего романа характеры вроде Феагена и Харикдии уже не могли нравиться. Напротив, Лонг дает характер Дафниса в его развитии — от недоумения к пониманию, и таким образом события внешнего мира достаточно уравновешиваются в этом романе событиями мира внутреннего.

68. Восприятие греческого романа—лишь деталь в общем отношении Запада к античности Прибрежные камни, шлифуемые прибоем,—таковы древние авторы, обточенные столетиями, все возвращающимися к ним. Идеологи революции, дорожа культурным наследием того мира, который подлежал разрушению, также не прошли мимо античности. Эсхила, по словам Лафарга, Маркс читал ежегодно в подлиннике; «своим древним грекам оставался он всегда верен и бичом изгнал бы из храма те жалкие, торгашеские душонки, которым хотелось бы внушать рабочим отвращение к античной культуре» (Ф. Меринг).

69. «Трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными общественными формами развития, трудность состоит в понимании того, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца. Мужчина не может сделаться снова ребенком, не становясь смешным. Но разве не радует его наивность ребенка и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы на высшей ступени воспроизводить свою истинную сущность, и разве в детской натуре в каждую эпоху не оживает ее собственный характер в его безыскусственной правде? И почему детство человеческого общества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень? Бывают невоспитанные дети и старчески умные дети. Многие из древних народов принадлежат к этой категории» (К. Маркс).

70. Незадолго до революции некоторые исследователи, работавшие в России, высказывали мечтания о новом,

«славянском», открытии античности, которое, по их мнению, способствовало бы «славянскому возрождению».

Осуществления этих, быть может, навеянных Мицкевичем чаяний, однако, до сих пор не заметно. Что же касается России, то в ней отношение к античности колебалось между эстетически-идеальным приятием (например, сон Версилова — сон Ставрогина, варьирующий знакомые «островные» мотивы и не новый по существу: Версилов — дворянин древнейшего рода и в то же время парижский коммунар) и, с другой стороны, интеллигентским протестом нигилистически-прогрессивных слоев общества против казенного классицизма, обслуживавшего правительство (в нарочито вульгаризированной форме подобные высказывания вложены в уста Коли Красоткина). Фактическое же ознакомление с древними авторами отличалось в России особенностями. За пятидесятилетие (примерно 1750—1800 г.) на русского читателя (пока-что исключительно дворянина) разом нахлынуло то, что на Западе отделялось друг от друга большими промежутками. На русском языке почти одновременно появляются «Манон Леско» (Елагин) и Геродот (Нартов), Вольтер и Юлий Цезарь, а к исходу XVIII в. — Гёте и англичане. Что же касается переводной беллетристики второго плана (следовательно, преимущественно ходкой у среднего читателя), то ее смутный поток справедливо воспринимался русским читателем как явление единой культуры, в ту пору с Францией во главе. Под этим флагом прошли и случайные переводы греческих «эротических» романов, причем рядовому читателю той эпохи, конечно, не под силу было разобраться, где перед ним был перевод действительно древнего автора, где французская адоптация, а где опыты русских авторов, шедших по проторенной западно-европейской дорожке. Несколько заглавий, не специально подобранных, послужат подтверждением: Чулков, «Похождение Ахиллесово под именем Пирры до Троянския осады» 1769; Херасков, «Кадм и Гармония» 1786; П. Львов, «Российская Памелла или история Марии, добродетельной поселянки» 1789; «Анакреонт или могущество любви», греческая повесть, соч. российское». М. 1790. Историческая перспектива совершенно отсутствовала у русского читателя, и греческий эротический роман как отдель-

ный литературный фактор, не играл никакой роли в русской литературе.

Восприятие этой, главным образом переводной, беллетристики окрашивалось социальной принадлежностью читателя: «Недостаток образования наградил я, некоторым образом, собственным своим любопытством и чрезвычайною охотою к читанию книг, полученною около сего времени. За охоту к тому обязан я книге «Похождения Телемака». Не могу довольно изобразить, сколь великую произвела она мне пользу... Я получил через нее понятие о митологии, о древних войнах и обыкновениях, о троянской войне,—и мне она так полюбилась, что у меня старинные брони, латы и шлемы, щиты и прочее мечтались беспрерывно в голове, к чему много помогали и картины, в книге находившиеся» (Болотов). «Однажды, ехав из деревни в Симбирск, я сидел в коляске с моим братом; он молчал, и я тоже, окидывая между тем глазами с обеих сторон поля, дубравы и селения... Вдруг пришло мне на мысль, отчего я так долго молчу и ни о чем не рассуждаю? Помню из книг, что молодой маркиз дорогою рассуждал в коляске с своим наставником; барон Пельниц—с своим сыном, а дон-Фигеоразо, или «Уединенный Гишпанец»—также со своими детьми; отчего же никакие предметы, никакой случай не возбуждают во мне размышлений? Конечно, оттого, думал я, что они были умнее. При этом замечании мне стало грустно» (Дмитриев). Один любитель романов, «лишась первой супруги своей, уныло бродил по рощам и дубравам и вырезывал на деревьях имя ее. Он плакал, читая романы Федора Эмина и заливался слезами, читая и перечитывая «Маркиза Г», переведенного Елагиным» (С. Глинка). «Я помню и деревенские чтения романов. Вся семья по вечерам садилась в кружок, кто-нибудь читал, другие слушали; особенно дамы и девицы... При этом чтении, в эти минуты, вся семья жила сердцем или воображением и переносилась в другой мир, который на эти минуты казался действительным, а главное, чувствовалось живее, чем в своей однообразной жизни» (Дмитриев). «Скоро отдали Леону ключ от желтого шкапа, в котором хранилась библиотека покойной его матери и где на двух полках стояли романы... Леону открылся новый свет в романах: он увидел, как в магическом фонаре, множество

разнообразных людей на сцене, множество чудных действий, приключений—игру судьбы, дотоле ему совсем неизвестную (но тайное предчувствие сердца говорило ему: ах, и ты, и ты будешь некогда ее жертвою, и тебя схватит, унесет сей вихрь—куда?). Перед глазами его беспрестанно поднимался новый занавес: ландшафт за ландшафтом, группа за группою являлись взору. Душа Леонова плавала в книжном свете, как Христофор Колумб в Атлантическом море, для открытия... сокрытого. Во всех романах желтого шкапа герои и героини, несмотря на многочисленные искушения рока, остаются добродетельными... с каким живым удовольствием маленький наш герой в шесть или семь часов летнего утра, поцеловав руку у своего отца, спешил с книгой на высокий берег Волги, в ореховые кусточки, под сень древнего дуба. Там в беленьком своем камзольчике, бросаясь на зелень, среди полевых цветов, он казался прекраснейшим, одушевленным цветом. Русые волосы, мягкие, как шелк, развевались ветерком по розам милого личика. Шляпка служила ему столиком: на нее клал он книгу свою, одною рукою подпирая голову, а другою перевертывая листы вслед за большими голубыми глазами, которые летели с одной страницы на другую и в которых, как в ясном зеркале, изображались все страсти, худо или хорошо описываемые в романе: удивление, радость, страх, сожаление, горесть. Иногда, оставляя книгу, смотрел он на синее пространство Волги, на белые паруса судов и лодок, на станицы рыболовов, которые из-под облаков дерзко опускаются в пену волн и в то же время снова парят в воздухе» (Карамзин).

71. В XVIII в. на русский язык переведены следующие греческие романы (впрочем, ни один из них не был переведен с подлинника): 1) Харитон, «Похождение Кереа и Каллирон», сочинение на греческом языке Харитоном Афродийским, а с *немецкого* на российский переведенное Иваном Акимовым. В СПБ. 1763 г. 2-е изд.—1766 г. 3-е издание: «Славные язычники, или весьма достойнейшие любопытства приключения Кереа и Каллирон, знатнейших сиракузян, исполненные трогательных происшествий, чрезвычайных бедствий и страшных перемен, увенчанных счастливым окончанием в их жизни случившихся». Переведена вновь и против прежнего издания тщательно исправлена.

Калуга 1793 г. 2) Гелиодор, «Образ невинной любви, или странные приключения эфиопской царевны Хариклеи и Феогена Фессалянина», сочинены на греческом языке Илиодором Емессидским, а с *латинского* на российский переведены коллежским регистратором Иваном Мошковым. Часть первая и вторая в СПБ. 1769 г. при императорской Академии Наук. 3) Ксенофонт Эфесский, „Торжество супружеской любви над злосчастиями, или приключения Аврокома и Анфии». Ефесская повесть Сочинение Ксенофонта. Перевод с греческого на *французский*, а *с сего* на российский язык В... П... Москва 1793. В типографии Решетникова. Этот перевод снабжен следующим предисловием: «Ученая публика довольно известна о сочинителе сея книги; почему за излишнее считаю говорить о жизни его и выхвалять его достоинства. Роман, находящийся теперь перед глазами читателя, стоит похвалы, но не моей. Он сам отвечать за себя может. В нем странные находятся происшествия, но столь естественным порядком расположенные, что, кажется, читатель сам странствовать и терпеть с Авроком и Анфиею встречающиеся приключения может. Краски и цветы разбросаны по пристойным местам. Сему служит доказательством перевод его на Латинской, Германской, Голландской, Французской и, наконец, на Российской языки. Сие-то самое побудило меня употребить некоторые праздные минуты на переложение его на отечественный язык. Слог греческого вкуса довольно приметен. Надеюсь, что, хотя не пользу, по крайней мере удовольствие принесет сия книжка читателю». Соответственно «французским» (см. § 64) способам перевода переводчик позволил себе переделать одно место романа, оговорив это в следующем примечании: «Нужда заставила меня в повести сего разбойника отстать в некоторых словах от подлинника. Древние обычаи не во всем сходствуют с нынешними». Переделка переводчика заключается в замене мужского персонажа женским—Гиперанфа Гиперанфой, отчего романтический образ Гипофоя, ставшего разбойником не только из нужды, но и вследствие гибели возлюбленного, приобретает иной оттенок. 4) Ранне-византийский романист Евматий—без указания автора—«Любовь Исмены и Исменааса, пер. с *французского*. М. 1769. Пересказ этого романа—у Сумарокова (в 10-м томе сочинений), с отмеченной Новиковым лакуной. Предполо-

жительно, Сумароков—«российский Расин»—записал для себя сюжет романа Евматия как материал для пьесы, подражая Расину, увлекавшемуся греческими романами. Ахилл Татий и Лонг не были переведены в XVIII веке.

72. Перевод Мошкова сделан, как видно из заглавия, не с греческого, а с латинского Все же переводчик, надо думать, заглядывал в греческий текст; иначе чем объяснить, что Кнемон назван у него Книмон, вопреки латинской транскрипции. Роман Гелиодора разделен у Мошкова на две части, по пяти книг в каждой. В 1-й части—15 глав, на которые произвольно разделены книги, по 3 главы в каждой книге. Однако 2-я часть имеет всего 14 глав, перенумерованных отдельно от 1-й части. В 1-й части 259 страниц, во 2-й—248. Вставные новеллы Мошков выделяет особыми заглавиями, напр., «Повесть Книмона грека», «Повествование Каласирида, первосвященника Мемфийского». Речи и письма даны курсивом. Стихи переведены прозой. Имеются примечания в таком роде: «Епикур, начальник филофической (sic) секты. Он все добро полагал в роскошах». Чтобы дать читателю понятие о языке и характере перевода Мошкова, приводим здесь отрывок: «В то время восходил месяц, при сиянии коего все предметы ясно видны были: ибо был тогда третий день после полномесячия. Каласирид как по глубокой уже старости, так и от чувствуемых в пути трудов крепко заснул: Хариклия ж, размышляя о великости своих злосчастий, ночь всю препроводила без сна и была зрительницею некоего видения, нечестивого, но у жителей тамошних часто бываемого. Ибо помянутая старуха ночью, думая, что она одна и что помехи ей никто сделать не может, ниже увидит, сперва начала рыть ямку, потом, зажегши малый сруб, между которым и ямкою положила тело сыновнее. После, взяв из треножника глиняный горшок, из коего лила в ямку мед, из другого молоко, из третьего якобы вкушала жертвоприношение, и потом бросила в ту же ямку Кумира, мужеского пола, сделанного из теста, увенчанного сплетенными из лавровых и миртовых листьев венком. По сем, подняв вверх меч со щитом и устремив глаза на месяц, множество диких слов на подобие неистовящихся после лишения ума проговорив, сделала себе рану на плече, и, отерши кровь лавровою ветвью,

кропила сруб, и прочие делала разные чудеса; после наклонясь к трупу и шепнув ему нечто на ухо, вдруг волшебною силою мертвеца воскресила» (VI, 14).

73. В одном общеизвестном и классическом русском романе, автор которого по происхождению связан с воспетой Гелиодором Эфиопией (Абиссинией), можно заметить черты греческого романа, попавшие в него, разумеется, через множество посредствующих литературных звеньев. В самом деле: в этом романе герой и героиня разлучены силой внешних обстоятельств. Главарь разбойников (конечно, своеобразно благородный—в силу литературной традиции) едва не становится неравнодушен к героине; он благосклонен к герою. После ряда перипетий дело кончается счастливо, но перед самым концом—суд, а героиня в виду своего низкого звания повышается в ранге экономическим путем: царица заботится о ее приданом. И герой и героиня, разумеется, невинны и несколько бескровны по сравнению с более жанровыми фигурами второго плана. В «Капитанской дочке» сквозит характерная для автора обращенность к французской культуре, через которую легко могли попадать и элементы античности так же, как в «Борисе Годунове», несмотря на его шекспиризм (вплоть до текстуальных заимствований), все же просвечивает (в статической обрисовке характеров) французский трагический театр. Наконец, и письмо Татьяны, представляющее собою лирически и социально мотивированное сцепление цитат из прочитанных ею книг, вполне достойно греческих романистов по своей литературной технике. Впрочем, сам автор вообще сделал следующее, очевидно, автобиографическое признание: «Талант не волен, и его подражание не есть постыдное похищение... признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по стезям гения».

74. С 1793 года, когда одновременно вышло 3-е издание Харитона (Калуга) и перевод романа Ксенофонта (Москва), вплоть до 1896 г., когда Мережковский перевел «Дафниса и Хлою» (с пропусками в 12-й главе IV книги), греческие романы на русском языке не появлялись—перерыв более чем на столетие.

За время нашей революции вышел, впервые на русском языке, роман Ахилла Татия «Левкиппа и Кли-

тофонт», перевод А. Б. Д. Е. М., под редакцией Б. Л. Богаевского, вступительная статья А. В. Болдырева. «Всемирная литература», 1925 г. Данный перевод романа Гелиодора был вскоре после того выполнен тем же составом переводчиков, с привключением ныне покойного Эмиля Эмильевича Визеля. Существенную помощь в работе над этим изданием оказал А. И. Доватур, участник перевода. Таким образом, по прошествии более чем ста шестидесяти лет, Гелиодор вторично появляется на русском языке, на этот раз впервые переведенный непосредственно с подлинника.

А. Егунов



Гелиодор




КНИГА ПЕРВАЯ



1. День едва улыбался, и солнце своими лучами озаряло только вершины гор, когда вооруженные разбойники, перевалив через гору, лежащую у впадения Нила близ устья, называемого Геракловым,* приостановились на мгновение и окинули глазами простертое перед ними море. Сперва они обратили взоры на морскую ширь, но она не возвещала никакой добычи разбойникам: никто не плыл по ней. Тогда привлекло их зрелище ближнего побережья, а было там вот что: у берега на причалах стояло судно, людей лишенное, товарами переполненное: об этом можно было судить даже издали, так как тяжелый груз вытеснял воду до третьего корабельного пояса. А все побережье было покрыто свеже-поверженными телами — одни уже умерли, другие, полумертвые, еще корчились: очевидно, битва прекратилась недавно. И не только войны вид-

нелись признаки, но примешивались и горестные остатки неудачно окончившегося пира: столы, то полные яств, то валявшиеся на земле, так как они сделались боевым орудием в руках пирующих — ведь внезапно разразилась битва, — то укрывавшие забравшихся под них людей, которые надеялись там спастись; опрокинутые чаши, выпавшие из рук державших — кое-кто пил из них, другие применяли их вместо камней. Неожиданность бедствия вызвала новые нужды и научила пользоваться чашами, как метательными снарядами. Лежали люди, кто секирой пораненный, кто камнем пораженный, поднятым тут же на берегу; тот дубиною сбитый, этот — головней опаленный, иные же иначе.

Бесчисленные образы уготовало на малом пространстве божество, осквернив вино кровью и восставив войну среди пиров, соединив воедино пиршества и убийства, возлияния и заклания, и показав египетским разбойникам такую картину.

Стоя на горе́ зрителями, они не могли понять этой сцены:* перед ними были погибшие, но нигде не заметно было победивших. Они видели блестящую победу и незахваченную добычу, одинокий корабль, безлюдный, в остальном же невредимый, словно охраняемый многими стражами и мирно покачивавшийся на волнах. Хотя разбойники и недоумевали, что значит все происшедшее, все же, помышляя о наживе и объявив победителями себя самих, они ринулись на добычу.

2. Уже были они совсем близко от корабля, когда предстало перед ними зрелище, еще более странное. Девушка сидела на камне, красота не-

сказанная — все в ней обличало богиню. Она тяжко горевала об окружавшем ее, но и тут вся дышала душевным благородством. Лавр вокруг ее головы обвивался, колчан с плеч спускался, левое плечо на лук опиралось, а рука безжизненно свешивалась. На правое колено облокотилась она другой рукой, и щека покоилась на ладони; потупившись, девушка взирала на лежавшего перед нею юношу, и голова ее была неподвижна.

А тот, истерзанный ранами, казалось, едва пробуждался, как от глубокого сна, от почти неизбежной смерти, но и тут он цвел могучей красотой, и лицо, обагренное стекающей кровью, блистало белизной еще больше. Страдания влекли его очи вниз, но взгляд девушки притягивал их к себе, и это заставляло глаза смотреть—ведь на нее они взирали.

Собрав все силы и глубоко вздохнув, юноша промолвил невнятным голосом:

— Сладостная,— сказал он,— действительно ли ты спаслась или, став жертвой битвы, ты и после смерти не в силах покинуть меня, и призрак твой, душа твоя, следит за моей участью?

— В тебе,— отвечала девушка,— для меня спасение и гибель. Ты видишь вот это — тут она указала на меч у своих колен—до сих пор он бездействовал, удерживаемый твоим дыханием.

И с этими словами она вскочила с камня, а разбойники, находившиеся на горе, пораженные изумлением и ужасом, словно молнией, заползли кто куда в кустарник, потому что девушка, выпрямившись, показалась им больше и ближе к божеству, чем обыкновенные люди — так при внезапном движении зазвенели ее стрелы, так

сверкала на солнце ее златотканная одежда, так неистово развивались под венком ее волосы, широко рассыпаясь по спине. Все это повергло разбойников в страх, но еще больше, чем это зрелище, пугало их незнание происшедшего раньше. И одни говорили, что это некая богиня — Артемида или местная Исида; другие, что это жрица, приведенная в неистовство каким-нибудь богом и учинившая замеченное ими великое смертоубийство. Так судили разбойники, но они еще не знали истины.

Девушка внезапно бросилась к юноше и, прильнув к нему, плакала, целовала, отирала кровь, рыдала, сама не верила, что его обнимает. Видя это, египтяне изменили свое мнение и решили другое:

— Могут ли быть такими поступки богини? — говорили они.—Может ли божество с такою страстью целовать мертвое тело?

Разбойники призывали друг друга быть смелее и, подойдя поближе, разузнать наверное.

И вот, собравшись с духом, они сбегают вниз и застают девушку еще склоненною над ранами юноши; остановившись позади, разбойники задержались там, не смея ничего ни сказать, ни сделать. Когда раздался шум и тень от разбойников попала девушке в глаза, она подняла голову, увидала разбойников и снова поникла, нисколько не удивившись необычному цвету их кожи и вооруженному, явно разбойничьему их виду. Она вся отдалась уходу за лежащим.

Так сильная страсть и чистая любовь пренебрегают всеми страданиями и радостями, приходящими извне, и принуждают душу видеть и замечать только то, что она любит.

3. Когда разбойники, обойдя вокруг, встали прямо перед нею и, повидимому, готовились предпринять что-то, девушка снова подняла голову и, увидав людей, цветом черных, свирепых видом, промолвила:

— Если вы призраки павших, вы не в праве преследовать меня; ведь большинство из вас погибло от руки друг друга; а те, что погибли от моих рук, пострадали по закону защиты и возмездия за оскорбление моего целомудрия. Если же вы из числа живущих, то, думается мне, разбойничью жизнь вы ведете и кстати пришли сюда: освободите нас от обступивших нас страданий. Завершите нашу драму: убейте нас.

Так, словно в трагедии, восклицала девушка, а разбойники, не в силах понять ни одного слова, оставили их обоих в прежнем положении, приставив к ним мощную стражу — их же собственное бессилие, а сами бросились к кораблю выгружать товары. Было там много разных вещей, но они все оставили без внимания, забрали лишь, сколько сил хватало, золота, серебра, многоценных камней и шелковых одежд. Когда разбойники решили, что набрали довольно, — а было всего столько, что можно было насытить даже и разбойничью жадность,—они сложили добычу на берегу и принялись делить ее на удобные для переноски части, руководясь при разделе не ценностью каждой захваченной вещи, но одинаковой тяжестью. А с девушкой и юношей они собирались что-нибудь предпринять, когда покончат с первым делом.

Но в это время появляется вторая толпа разбойников, с двумя всадниками во главе отряда. Увидав их, разбойники не пытались со-

противляться, не забрали с собой ничего из добычи, но со всех ног бросились бежать, чтобы только не подвергнуться преследованию: их было около десяти человек, а наступавших заметили они втрое больше.

Девушка, хотя еще никем не схваченная, уже во второй раз попадала в плен, а разбойники, хоть и очень спешили, некоторое время не приступали к разграблению, не понимая, что они видят перед собою и пораженные изумлением. Они думали, что все эти многочисленные убийства совершены первыми разбойниками. Видя девушку в чужеземной и заметной одежде, не обращавшую внимания на грозящие ей ужасы, словно их вовсе и не было, всецело озабоченную ранами юноши, измученную его страданиями, как своими собственными, эти разбойники тоже были изумлены ее красотой и мужеством, а юноше, даже израненному, дивились: таким прекрасным и таким могучим лежал он там, понемногу приходя в себя и принимая свой обычный облик.

4. Наконец предводитель разбойников приблизился, прикоснулся рукой к девушке, велел ей встать и следовать за собой. Она, не понимая ничего из его слов, но догадавшись о смысле приказания, влекла за собой юношу, который, впрочем, и сам не отпускал ее. Девушка, приставив меч к груди, грозила заколоть себя, если не уведут разбойники их обоих вместе. И вот предводитель, поняв кое-что из ее слов, но больше из движений, а вместе с тем надеясь, что в лице юноши, если его спасти, он будет иметь соучастника великих подвигов, велел слезть с лошади своему щитоносцу, слез сам

и посадил пленников на коней. Разбойникам он приказал собрать добычу и следовать за пленниками, а сам пешком бежал с ними рядом и следил, чтобы они не соскользнули на землю.

То, что совершалось, походило на прославление; казалось, властитель исполняет рабскую службу, и победитель предпочитает прислуживать побежденным.

Так проявление благородства и вид красоты оказывается в силах подчинить даже и разбойничий нрав и победить самых свирепых людей.

5. Пройдя около двух стадиев вдоль берега, разбойники свернули с пути и пошли всё в гору, оставив море справа; с трудом перевалив через вершины, они направились прямо к озеру, расположенному по другую сторону гор, и вот каким было это озеро: Воловьим пастбищем называется у египтян вся эта местность. Это впадина земли, принимающая выходящие из берегов воды Нила и становящаяся озером—в середине глубина бездонная, а по краям переходит в болота. Ведь что для морей побережье, то болота бывают для озер. Среди них расположен весь стан египетских разбойников; одни устраивают себе шалаши на клочках земли, где она возвышается над водою, другие проводят жизнь на судах, которые им служат и кораблем и жильем. На судах им женщины шерсть прядут, на судах и рожают. Если родится ребенок, сперва питают его материнским молоком, а затем озерными рыбами, высушенными на солнце. Когда же замечают, что ребенок хочет ползать, привязывают его за лодыжки ремнем такой длины, что он позволяет ему добраться только до края судна или хижины, и таким об-

разом оковы на ногах становятся небывалым руководителем ребенка.

6. В этом племени волопасов человек родится на озере и вскормлен им, и считает своим отечеством озеро, которое может к тому же служить мощным оплотом для разбойников. Поэтому и стекается туда такой люд, все они пользуются водой вместо крепостной стены и за густым болотным тростником укрываются, как за валом. Разбойники проложили извилистые тропинки, запутанные многими поворотами, очень легкие и удобные для них самих, так как они их знают. Для всех же остальных людей разбойники сделали их непроходимыми, устроив себе надежнейшее убежище, чтобы не страдать от набегов. Вот в каком роде это озеро и живущие в нем волопасы.

7. Уже солнце шло к закату, когда прибыли к озеру предводитель разбойников и его спутники. Они сняли юношу и девушку с коней и стали складывать добычу на суда. Появилась огромная толпа оставшихся дома разбойников: вылезали один за другим из разных мест болота, сбегались отовсюду и, встречаясь с предводителем, принимали его, словно своего царя. Видя великое множество добычи, созерцая божественную красоту девушки, разбойники думали, что святилища или богатые золотом храмы ограблены их товарищами и похищена, кроме того, и сама жрица; или, по простоте своей, при виде девушки, предполагали они, что унесен и сам одушевленный кумир богини. На все лады прославляя доблесть предводителя, разбойники провожали его к жилищу.

Это был островок, вдали от остальных, отве-

денный для жилья ему одному с немногими его приближенными. Прибыв туда, предводитель приказал толпе отправиться по домам и велел всем притти к нему на следующий день, а сам остался с немногими обычными своими спутниками, быстро накормил их ужином и сам принял в нем участие. Затем он передал юношу и девушку одному молодому греку, который незадолго до того попал в плен к разбойникам. Чтобы иметь возможность беседовать с пленниками, предводитель отвел им помещение поблизости от своей хижины, а греку приказал всячески заботиться о новом пленнике и оберегать девушку от оскорблений. Сам же, отягощенный усталостью после дороги и охваченный заботой о предстоявших делах, погрузился в сон.

8. Молчанием было объято болото, и ночь достигла часа первой стражи, когда девушка воспользовалась отсутствием тяготивших ее людей, чтобы предаться скорбным рыданиям. Еще с большей силой возбудила, думается мне, ее страдания ночь, не пленявшая ни слуха, ни зрения и позволившая всецело отдаться скорби. Горько девушка жаловалась сама себе (она лежала поодаль—так было приказано—на убогой подстилке).

— Аполлон!— восклицала она, проливая обильнейшие слезы,—как чрезмерно горько наказываешь ты нас за наши поступки. Чтобы покарать нас, разве не достаточно тебе того, что уже совершилось? Утрата близких, пленение пиратами, бесчисленные опасности на морях, а на суше уже второй раз нас захватывают разбойники, и ожидаемые бедствия еще горше

испытанных. Какой предел положишь ты всему этому? Если суждена мне непостыдная смерть, то такой конец сладок; если же кто захочет постыдно познать меня, которую никогда не познал и Феаген, то я скорее выберу петлю, чем оскорбление. Теперь я сохраняю себя чистой, так сохраню чистоту до самой смерти, унося с собой прекрасный саван—свое целомудрие. Никакой судья не будет более жесток, чем ты.

Она еще говорила, когда Феаген удержал ее:

— Перестань,— сказал он,— любимая, душа моя, Хариклия. Понятно, что ты рыдаешь, но ты гневишь божество больше, чем думаешь. Не поносить, а призывать надо его. Мольбами, не упреками смягчаются те, что выше нас.

— Ты прав,—сказала она на это,— но как ты себя чувствуешь?

— Легче,— отвечал он,— и лучше с вечера, благодаря заботам этого юноши: он облегчил боль воспалившихся моих ран.

— А еще легче тебе станет на заре,— сказал тот, кому была поручена их охрана.— Я тебе достану такую траву, которая в три дня заставит срастись все раны; на собственном опыте узнал я ее силу. С тех пор, как эти люди привели меня сюда пленником, всякий раз, как кто-нибудь из подчиненных этому вождю приходит после схватки раненый, немного дней ему надо для исцеления, если только он пользуется этой травой. А что я забочусь о вас, нечего удивляться: мне кажется, вас постигла та же участь, что и меня. К тому же мне жаль вас, греков, так как я и сам грек.

— Грек? О боги!— закричали от радости оба чужеземца.

— В самом деле грек и по рождению, и по языку: настанет, может быть, от бед отдохновенье*...

— Но как зовут тебя?— спросил Феаген.

— Кнемон,— отвечал тот.

— А откуда ты родом?

— Афинянин.

— Какая же судьба постигла тебя?

— Погоди,— возразил Кнемон. — Зачем ворваться хочешь ты неистово, как говорят трагические поэты*. Некстати было бы мне вносить в ваши бедствия, как эпизод,* еще и мои собственные. Кроме того, пожалуй, не хватит остатка ночи для моего рассказа, а вам нужен сон и отдых после стольких мук.

9. Так как, однако, они не отставали и всячески умоляли его рассказывать, считая, что наивысшее утешение — это слушать повествование о подобных же случаях, Кнемон начал вот откуда:

— Был у меня отец — Аристипп, по рождению афинянин, состоял он в верховном совете, а по богатству своему был среднего достатка. Когда случилось, что умерла моя мать, отец решился на второй брак, недовольный единственным своим сыном, то есть мной, как слишком зыбкой опорой, и ввел в свой дом женщину, изящную, но искушенную в пакостях, по имени Демэнета. Не успела она войти к нам, как сейчас же всецело подчинила отца себе, заставляя делать все, что ей было угодно, обольщая старика своей красотой и во всем преувеличенно ухаживая за ним. Она умела лучше всякой другой женщины возбудить неистовое влечение к себе и прекрасно владела искусством оболь-

щения. Когда отлучался отец, она стонала, а когда возвращался, бежала к нему навстречу, упрекала, если он запаздывал, словно она погибла бы, задержись он еще немножко, обнимала его при каждом слове, проливала слезы при поцелуях.

Оплетенный всеми этими уловками, мой отец ею одной дышал и лишь на нее глядел.

Она сперва притворялась, будто смотрит на меня, как на сына, и этим покорила Аристиппа. Как-то раз она подошла ко мне, поцеловала и настойчиво пожелала насладиться мною. Я допускал ее, не подозревая, в чем тут дело, но все-таки удивлялся такому материнскому ко мне расположению. Когда же стала она приближаться с большей решительностью, когда жарче, чем подобало, стали ее поцелуи, а взоры покинули скромность, тогда все это вызвало во мне подозрения, я начал избегать ее и отталкивал, когда она подходила. А остальное... но к чему мне надоедать вам подробностями? Рассказывать ли о тех соблазнах, которые она изобретала, об обещаниях, которые она давала, то называя меня деточкой, то сладчайшим, а то так своим наследником, а немного погодя, своей душой. Она все время смешивала прекрасные имена с обольстительными и наблюдала, что меня больше привлекает. Таким образом, при посторонних прикидывалась она родной матерью, а при укромных встречах явно показывала, что влюблена.

10. Наконец произошло вот что: во время празднования Великих Панафиней, когда афиняне посылают по суше корабль Афине (я был тогда эфебом), я, пропев обычный пэан в честь

богини* и приняв, как положено, участие в шествии, как был одет, в том же плаще и с теми же венками, отправляюсь к себе домой. Демэнета, едва увидала меня, впала в исступление и уже без всяких любовных уловок, гонимая голой страстью, подбежала и обняла меня.

— О, юный Ипполит, о Тезей мой!— восклицала она.

—Вы представляете, в каком я тогда был состоянии, раз я и сейчас краснею, рассказывая об этом.

С наступлением вечера отец мой отправился обедать в пританей*, где по случаю торжественного праздника и всенародного пиршества собирался провести всю ночь. Демэнета явилась ко мне ночью и пыталась добиться коечего запретного. Я всячески противился ей, отбивался от всех ее ласк, обещаний и угроз. Она тяжело и глубоко застонала и удалилась, но одну только эту ночь пропустила, проклятая, а потом начала против меня свои козни.

Прежде всего она тогда не встала со своего ложа, а когда пришел отец и спросил, что это значит, она притворилась нездоровой и сперва ничего не отвечала, когда же он стал настаивать и несколько раз спросил, что с ней такое:

— Этот достойный юноша,— промолвила она,— наше общее чадо, к которому я была нежнее, чем ты (боги тому свидетели), по некоторым признакам заметил мою беременность. Я это до сих пор от тебя скрывала, пока не узнаю наверное. Он выждал твоего отсутствия и, когда я, по обыкновению, увещевала его, призывала быть скромным и поменьше думать о гетерах и

попойках (ведь не укрылось от меня, что он как раз так проводит время; тебе я не открывала, чтобы не подозревали, будто я ему действительно настоящая мачеха) — так вот, когда я говорила ему об этом, оставшись с ним наедине, чтобы не заставлять его краснеть... но мне стыдно рассказывать обо всех его дерзостях на твой и на мой счет... пяткой ударил он меня в живот... вот почему ты видишь меня в таком состоянии.

11. Отец, услыхав это, ничего не сказал, ни о чем не спросил, не пытался защищать меня, уверенный, что не станет лгать на меня женщина, которая так ко мне относится. Сейчас же, немедленно, встретившись в одной из частей дома со мной, еще ни о чем не подозревавшем, он стал бить меня кулаками и, призвав слуг, велел истязать бичами, а я не понимал даже того, что обычно знают—за что же меня бьют?

Когда отец утолил свою ярость, я спросил:

— Отец, если раньше у меня не было права спросить, так хоть теперь я желал бы узнать причину этих побоев.

— Что за притворство!— воскликнул тот, рассвирепев еще больше.— Он хочет узнать от меня про свои нечестивые дела!

И, отвернувшись, отец поспешил к Демэнете. А та — ведь она еще не насытилась — начала плести против меня второй коварный замысел.

Была у нее служанка, Фисба, умевшая играть на кифаре и недурная собой. Ее-то Демэнета и напустила на меня, приказав ей в меня влюбиться; и влюбилась сейчас же Фисба: она, столько раз отталкивавшая меня, когда я пытался ее прельстить, теперь всячески стремилась

привлечь меня взглядами, кивками, знаками. А я, глупец, поверил, будто сразу сделался красавцем. Кончилось тем, что я принял ее в своей спальне ночью. Фисба пришла и во второй раз, и опять, а потом приходила постоянно.

Как-то раз я настойчиво предостерегал Фисбу, как бы не проведала обо всем госпожа.

— Кнемон,— возразила Фисба,— мне сдается, ты уж слишком прост. Вот ты считаешь, что плохо будет, если меня, служанку, купленную за деньги рабыню, изобличат в связи с тобою. Ну, а какой же кары, по-твоему, достойна женщина, которая, называя себя благородной, имея законного сожителя, зная, что смерть положена за беззаконие, все же распутничает?

— Перестань,— возразил я.— Мне не верится.

А Фисба на это: — Если хочешь, я предам тебе ее любовника на месте преступления.

— Если на это твоя воля,— сказал я.

— Уж конечно моя воля,— отвечала Фисба,— это ради тебя, так тяжко оскорбленного ею. Да не меньше и ради себя самой: я ведь тоже каждый день до крайности страдаю, когда она вымещает на мне свою ревность. Если ты хочешь стать мужчиной, захвати ее на месте преступления.

12. Я обещал держать себя таким образом, и только тогда она удалилась. На третью ночь после этого, когда я спал, она подняла меня и сообщила, что распутник находится в доме. Фисба объяснила, что отец по какому-то неотложному делу отправился в свое поместье, а любовник, как у него было условлено с Демэнетой, только-что проник в дом. Надо приго-

товиться и к обороне, ворваться с мечом в руках, чтобы не ускользнул обидчик. Так я и сделал, взял кинжал и, ведомый Фисбой, зажегшей факел, направился к спальне.

Я остановился перед дверью, луч от светильника проникал изнутри. Со всей яростью взломал я запертые двери, распахнул их и, ворвавшись в покой, закричал:

— Где же этот злодей, блестящий любовник самой целомудренной женщины? — и с этими словами я ринулся, чтобы пронзить их обоих.

Но с постели — о боги! — соскакивает мой отец, падает к моим ногам и молит:

— Дитя мое, остановись на мгновенье, сжалься над породившим тебя, пощади мои седины, тебя взрастившие. Я оскорбил тебя, но не надо карать меня смертью. Не давай гневу всецело завладеть тобой, не оскверняй своих рук отцеубийством.

Этими и многими другими словами жалостно умолял меня отец, а я, как пораженный громом, остолбеневший, оглушенный, стоял и озирался, ища Фисбу, исчезнувшую, не знаю каким образом, оглядывал постель и спальню, не зная, что сказать, недоумевая, как поступить. Оружие выпало у меня из рук; Демэнета подбежала и быстро подхватила его, а отец, оказавшись в безопасности, схватил меня руками и приказывал вязать, причем Демэнета все время подстрекала его.

— Не предсказывала ли я, — кричала она, — что надо опасаться этого юнца, он непременно что-нибудь придумает, когда улучит время! Я видела взгляд его и поняла его мысли.

— Ты предсказывала, а я не верил, — отвечал

отец, велев пока что держать меня связанным и не позволив мне рассказать откровенно всю правду, когда я хотел это сделать.

13. На заре отец взял меня с собою в том виде, как я был, то есть в оковах, и повел к народу:

— С такими ли надеждами, афиняне, воспитывал я этого юношу?— сказал он, осыпав себе голову прахом,— нет, едва он появился на свет, я ожидал, что он будет опорой моей старости. Я дал ему воспитание, приличное человеку свободному, научил его первым началам грамоты, ввел к членам фратрии и родичам,* записал в число эфебов, объявил его по закону вашим согражданином — на нем одном зыблется вся моя жизнь. Но он предал забвению все: сперва оскорбил меня и нанес удары вот этой женщине, моей законной супруге, наконец явился ночью с мечом в руках и только потому не стал отцеубийцей, что ему воспрепятствовала судьба, нежданным страхом заставившая его выронить меч из рук. Я прибегаю к вашей защите и доношу на него. Своими руками убить его я по закону имею право, но не хочу, считая, что лучше судом, а не мечом покарать родного сына.

Говоря это, отец прослезился. Заголосила и Демэнета и, разумеется, делала вид, будто скорбит обо мне, называла меня несчастным, которому суждено умереть, хоть и по справедливому приговору, но до времени, потому что мстительные демоны послали меня против родителей. Она не столько оплакивала, сколько свидетельствовала против меня своим плачем и подтверждала правильность обвинения своим воплем.

Я потребовал, чтобы и мне было предоставлено слово. Писец подошел и задал мне краткий вопрос:

— Напал ли ты на отца с мечом в руках?

— Напал,— отвечал я на это,— но выслушайте, как было дело...

Но тут все подняли крик, не сочли нужным позволить мне даже и защищать себя и стали предлагать побить меня камнями или передать меня палачу и столкнуть в пропасть. Я же в продолжение всего этого шума и того времени, пока они голосовали по поводу моей казни, взывал:

— О мачеха! Из-за мачехи я погибаю, мачеха губит меня без суда.

Многие обратили внимание на мои слова и закралось в них подозрение относительно действительного положения вещей. Но и тут меня не выслушали, так как беспрерывным волнением охвачен был весь народ.

14. Голоса разделились, и присуждавших меня к смерти оказалось около тысячи семисот человек, из которых одна часть постановляла побить меня камнями, а другая — сбросить в пропасть. Остальные же, числом всего около тысячи, возымевшие некоторое подозрение против моей мачехи, карали меня вечным изгнанием. Возобладало, однако, мнение этих последних. Дело в том, что они были, правда, малочисленнее тех других, вместе взятых, но так как те голосовали по-разному, то по сравнению с каждой частью эта тысяча человек оказалась в большинстве. Таким образом, я был изгнан из отеческого дома и из родимой страны, но не осталась без возмездия и ненавистная богам Демэнета.

Как случилось это, вы услышите в другой раз, теперь же надо подумать и о сне. Уже миновала большая часть ночи, а вам нужен длительный отдых.

— Но ты еще больше замучишь нас,— возразил Феаген,—если злодейка Демэнета останется ненаказанной в твоем рассказе.

— Ну, так слушайте,— сказал Кнемон,— раз вам это так любо.

Я тотчас же после суда отправился в Пирей и, застав выходивший в море корабль, совершил плавание в Эгину, зная, что там находятся племянники моей матери. Прибыв туда и найдя тех, кого я искал, я первое время жил там недурно. На двадцатый день, совершая обычную прогулку, я спустился в гавань. Там как-раз причаливало судно. Я приостановился немного и стал смотреть, откуда оно и кого везет. Еще не были как следует положены сходни, а уже какой-то человек выскочил и, подбежав, обнял меня. Это был Харий, один из тех, что были эфебами вместе со мной.

— Радостные вести приношу я тебе, Кнемон,— говорит он, — твоя ненавистница понесла справедливую кару,—Демэнета умерла.

— Желаю тебе счастья, Харий,— отвечал я.— Но отчего ты так поспешно излагаешь радостную весть, как-будто возвещаешь что-нибудь дурное? Скажи, как именно она погибла, а то я очень боюсь, что ее постигла смерть такая же, как всех людей, и что она избежала заслуженной участи.

— Не совсем покинуло нас правосудие, согласно Гесиоду,*—сказал Харий,— если даже оно иной раз что-либо пропустит и на некоторое

время откладывает возмездие, все же на таких беззаконников глядит оно суровым оком: так постигло правосудие злодейку Демэнету. Ничто из того, что произошло или было сказано, не укрылось от меня. Фисба, как ты знаешь, благодаря своей близости со мной, все мне рассказала. Когда обрушилось на тебя несправедливое изгнание, твой отец, раскаиваясь во всем происшедшем, поселился в дальнем поместье и проживал там — сердце тоскою круша, как говорит поэт.* А Демэнету сейчас же начали преследовать Эриннии*, и еще безумнее она любила тебя, отсутствующего, и не прекращала плача, якобы по тебе, на самом же деле по себе самой.

— Кнемон! — кричала она ночью и днем, называя тебя сладчайшим мальчиком, душенькой, так что знакомые женщины, приходившие к ней, очень удивлялись и хвалили ее за то, что она, хотя и мачеха, обнаруживает такое материнское страдание и пытались утешить и ободрить ее. А она повторяла, что горе ее неутешно и что не ведают другие, какое жало залегло в ее сердце.

15. Оставаясь наедине, она постоянно упрекала Фисбу за то, что та услужила ей не так, как следовало.

— Ты усердна в жестокостях, — говорила Демэнета, — в любви ты мне не помогла, а вот лишить меня возлюбленного ты сумела быстрей, чем промолвить слово, и даже передумать мне не позволила.

Стало вполне ясно, что она причинит какое-нибудь зло Фисбе. Та, видя тяжелый гнев и великую скорбь Демэнеты, готовой на всякое коварство и обезумевшей от ярости и любви, решила

предупредить ее хитростью, направленною против госпожи, лишь бы спастись самой.

— Что это, госпожа моя, — сказала Фисба, придя к Демэнете, — за что напрасно винишь свою прислужницу? Ведь я всегда — и прежде и теперь — исполняла твою волю, служила тебе. Если и произошло что-нибудь не по твоему желанию, так это надо приписывать судьбе, а я готова, если прикажешь, придумать какое-либо средство, чтобы избавиться от этой беды.

— Но кто же может найти такое средство, милейшая,—возразила Демэнета,—раз так далек теперь от нас тот, кто мог меня спасти, и раз погубило меня нечаянное человеколюбие судей? Если бы Кнемон был побит камнями, если-б он был убит, конечно, мои страдания умерли бы вместе с ним. То, на что раз навсегда потеряна надежда, выключается из души и все, чего неоткуда больше ждать, дает возможность страдальцам терпеливо переносить муки. А теперь чудится мне, что я его вижу, сдается мне, что он здесь и я его слышу, стыдно мне встретиться с ним — он упрекает меня за мою несправедливую уловку. Иной раз мне кажется, что он придет, и я услажусь им, или что я сама пойду к нему, где бы он ни оказался. Вот что меня сожигает, вот что в безумие повергает! По заслугам, о боги, я страдаю. Зачем я не ласкала, а подстерегала его? Зачем не умоляла, а преследовала? Он отказал на первый раз? Но так оно и должно было быть. Он уважал чужое ложе, ложе отца своего. Быть может, он дал бы переубедить себя и стал бы уступчивей под влиянием времени и убеждений. Но я, звероподобная, дикая, словно я не любила, а повелевала, сочла за преступление, когда он

не повиновался моему приказу и пренебрег Демэнетой, он, так сильно превосходящий ее красотой! Но скажи, сладостная Фисба, о каком легком избавлении ты упоминала?

— Госпожа,—отвечала та,—по мнению большинства, Кнемон удалился из города и из Аттики, повинуясь решению суда, но от меня, готовой на все ради тебя, не укрылось, что он прячется где-то здесь, недалеко от города. Ты, конечно, слыхала про флейтистку Арсиною? С нею он был в связи. После случившегося несчастья девушка приняла его, обещала отправиться вместе с ним и теперь держит у себя спрятанным до тех пор, пока не будет готова к отъезду.

— Счастлива Арсиноя,—воскликнула Демэнета,—и своей прежней близостью с Кнемоном и предстоящим теперь совместным с ним отъездом. Но какое это имеет отношение к нам?

— Большое, госпожа,—возразила Фисба.—Я притворюсь влюбленной в Кнемона и попрошу Арсиною, мою старинную знакомую по нашему ремеслу, ввести меня ночью к нему, вместо себя. Если это удастся, то потом уже твое дело сойти за Арсиною и проникнуть к нему, будто это она. Я уж позабочусь устроить так, чтобы уложить его слегка навеселе. Если ты добьешься, чего хочешь, то очень вероятно, что любовь твоя прекратится. У многих женщин страсть потухает после первого опыта, так как любовное пресыщение завершает все дело. Ну, а если любовь останется,—да не будет этого,—то настанет, как говорится, второе плавание и иной совет.* Пока же позаботимся о теперешнем.

16. Демэнета одобрила ее мысль и молила ускорить осуществление задуманного. Фисба выпросила себе у госпожи один день для исполнения всего этого и, придя к Арсиное, сказала:

— Знаешь ты Теледема?

Когда та ответила утвердительно, она продолжала:

— Дай нам пристанище на эту ночь; я обещала поспать с ним вместе; он придет первым, а я потом, когда уложу свою госпожу.

Затем она поспешила к Аристиппу, в его поместье, и сказала:

— Господин, я прихожу к тебе, обвинительницей себя самой, делай со мной, что хочешь. Сына своего ты потерял отчасти из-за меня. Не желая того, я все же стала одной из виновниц. Заметив, что госпожа живет не так, как должно, что она позорит твою постель, я побоялась сама, как бы мне не навлечь на себя беды, если дело будет раскрыто кем-либо другим. Болея за тебя, что ты, окруживший свою супругу таким уходом, в благодарность терпишь такой позор, я не посмела сама известить тебя и сообщила молодому хозяину, придя к нему ночью, чтобы никто не знал об этом. Я сказала ему, что любовник спит вместе с госпожей. А он—ведь ты знаешь, он уже раньше пострадал от нее — подумал, будто я говорю, что любовник сейчас находится в доме. Исполнившись неудержимого гнева, он схватил кинжал, несмотря на мои многократные попытки удержать его, несмотря на уверения, что ничего такого сейчас не происходит. Он обратил мало внимания на эти слова или решил, что я говорю уже другое, и в бешенстве ринулся в спальню; остальное ты знаешь,

Теперь ты можешь, если захочешь, оправдаться перед сыном, хоть он и пребывает в изгнании, и отомстить обидевшей вас обоих. Я покажу тебе сегодня Демэнету, возлежащую с любовником в доме, и к тому же в чужом доме, за городом.

— Если ты все это так и покажешь,—сказал Аристипп,—то тебе наградой будет свобода, а я, может быть, тогда только и оживу, когда отомщу ненавистной. Уже давно я терзаюсь и питаю подозрение по поводу этого дела, однако, за недостатком доказательств не решался действовать. Но что же надо делать?

— Ты знаешь сад,—отвечала Фисба,—где памятник эпикурейцев?* Приходи туда под вечер и дожидайся меня.

17. Промолвив это, она тотчас же убежала и, придя к Демэнете, сказала:

— Укрась себя, тебе надо притти понаряднее: все, что было тебе обещано, готово.

Демэнета обняла ее и сделала, как та велела. С наступлением вечера Фисба взяла ее с собою и повела к условленному месту. Когда они подошли близко, Фисба велела своей госпоже немного подождать, а сама пошла вперед и стала просить Арсиною перейти в другое помещение и не мешать ей:

— Ведь отрок краснеет,—говорила она,—он только еще посвящается в таинства Афродиты.

Та послушалась, а Фисба возвращается, берет с собой Демэнету, вводит ее в дом, укладывает, уносит светильник, чтобы не узнал ты ее, хотя ты в это время находился на Эгине,—и советует ей удовлетворять свою страсть молча.

— Я же,—говорит Фисба,—пойду за юношей

и приведу его к тебе. Он пьет вино здесь по соседству.

Фисба вышла из дому, застала Аристиппа на заранее указанном месте и стала торопить его напасть врасплох на любовника и вязать его. Аристипп последовал за ней. Он внезапно врывается в дом, с трудом находит постель при слабом свете луны и кричит.

— Ты в моих руках, женщина, ненавистная богам.

А Фисба сейчас же, пока он это говорил, как можно сильнее хлопнула дверьми и завопила:

— Какая неудача! Ускользнул от нас распутник. Смотри, господин, как бы тебе вторично не промахнуться.

— Будь спокойна,—ответил тот,—эту негодницу, которую я особенно хотел захватить, я держу крепко. И, схватив Демэнету, повел ее в город.

А она, конечно, сразу поняла все, что на нее обрушилось: крушение всех надежд, угрожающее ей лишение чести, законное наказание. Она мучилась тем, что уличена, негодовала на то, что обманута. Когда же очутилась она около пропасти, что в Академии,—ты знаешь, разумеется, это место, где полемархи приносят героям установленные от отцов жертвы,*—тут она внезапно вырвалась из рук старика и бросилась вниз головой. Так она, гнусная, гнусно лежала там, Аристипп же сказал:

— Вот я покарал тебя еще раньше, чем дело дошло до законов.

На следующий день Аристипп сообщил обо всем народу и, с трудом добившись прощения, начал обходить своих друзей и знатных людей,

стараясь выхлопотать тебе каким-нибудь способом возвращение. Добился ли он чего-нибудь, я сказать не могу, потому что мне пришлось, как ты видишь, еще раньше того по собственной надобности отплыть сюда. А между тем тебе следует ждать, что народ выразит согласие на твое возвращение и отец твой прибудет, чтобы разыскать тебя. Это он обещал.

18. Вот что сообщил мне Харий. А остальное, как я прибыл сюда и какие превратности судьбы я испытал,—все это требует более долгого рассказа и времени.

При этих словах Кнемон заплакал; плакали и оба чужестранца: его судьба была поводом, но каждый плакал, вспоминая о собственных несчастиях. Никогда бы не перестали они рыдать, предаваясь наслаждению рыданий, если бы прилетевший сон не положил конца их слезам. Так они заснули.

А Фиамид — таково было имя предводителя разбойников—большую часть ночи провел спокойно, как вдруг внезапно лишился сна, встревоженный запутанными сновидениями. Затрудняясь истолковать их, потом уже не спал, погруженный в свои мысли. В час, когда поют петухи, потому ли, что как уверяют, природным чутьем воспринимают они, поворот солнца к нам и побуждаются приветствовать бога, или под влиянием теплоты и стремления скорее начать двигаться поют, будя своим призывом на работу тех, кто живет с ними,—привиделся ему такой, богами ниспосланный, сон.

Казалось ему, будто он в Мемфисе, своем родном городе, входит в храм Исиды, и вот весь храм освещен огнем светильников, все алтари

и жертвенники, залитые кровью, покрыты разнообразными жертвенными животными, а преддверия и круговые обходы полны людей, наполняющих все смешанным гулом и шумом. Когда он вступил во внутреннюю, священнейшую часть храма, вышла ему навстречу богиня, вручила Хариклию и промолвила:

— Тебе, Фиамид, передаю я эту девушку; ты, обладая ею, не будешь обладать, но неправеден будешь и чужестранку убьешь; а она не будет убита.

Когда Фиамид увидел это, он не знал, что делать, и на все лады пытался истолковать сновидение. В отчаянии он наконец притянул решение, которое ему нравилось. Слова: «будешь обладать и не будешь обладать» он понял: обладать женщиной, уже не девушкой. Слово «убьешь» он истолковал, как раны девственности, от которых умрет Хариклия. Таким-то образом Фиамид объяснил сон, как подсказывала ему страсть.

19. На заре он велел первым из своих подчиненных притти и приказал им вынести на середину добычу, называя ее более торжественным словом: завоеванное. И Кнемона он вызвал к себе, поручив привести охраняемых им пленников.

— Что за судьба ожидает нас? — восклицали те, когда их вели, и умоляли Кнемона оказать им, если можно, содействие. Он обещал и увещевал не терять мужества, ручаясь, что не так уж груб нравом предводитель, что есть в нем и кое-какая кротость, так как происходит он из знаменитого рода и лишь по необходимости избрал такую жизнь.

Когда их привели и собрался весь остальной народ, Фиамид сел на возвышении, объявил

остров народным собранием и приказал Кнемону передавать пленникам все, что будет сказано— тот понимал уже язык египтян, а Фиамид плохо смыслил по-гречески.

— Собратья по оружию,—сказал он затем,— вы знаете мой образ мыслей, какого я всегда держался по отношению к вам. Я, как вам известно, по рождению сын мемфисского пророка. Не получив священства после кончины моего отца, так как оно было насильственно захвачено моим младшим братом, я бежал к вам, чтобы отомстить за обиду и получить обратно свой сан. Признанный вами достойным правителем, я до сего времени прожил здесь, не присваивая себе ничего сверх того, что получали все. Когда мы делили деньги, я довольствовался одинаковой долей, когда продавали пленников, я отдавал их в общую казну, считая, что желающему быть хорошим вождем надо брать себе трудов, как можно больше, а доходов — равную часть. Из захваченных пленников я включал в ваше число всех мужчин, которые могли быть нам полезны телесною силой, а более слабых продавал. Неискушенный в оскорблениях женской чести я — иногда за деньги, иногда из одного сострадания к их участи—отпускал на волю женщин благородного происхождения, а женщин более низкого звания, которых рабствовать заставляло не пленение, но скорее обычное течение их жизни, я отдавал каждому из вас в служанки. Но теперь я одного только из всей добычи требую от вас, вот эту девушку-чужестранку. Я мог бы ее сам себе отдать, но думаю, лучше будет получить ее по общему вашему решению. Неразумно было бы захватить силой пленницу и

тем показать, что я поступаю против воли друзей. Этой милости я прошу у вас не даром: в награду объявляю свой отказ от всякого участия в разделе остальной добычи. Презирает площадную Афродиту род жреческий, и я решил, что она станет моею не для услаждения страстей, но ради рождения детей.

20. Я хочу вам перечислить причины моего выбора. Прежде всего, она хорошего рода, думается мне. Сужу я об этом по найденному вместе с нею богатству и по тому, что она не поддалась постигшим ее бедам, но сохраняет тот же дух, какой был свойствен ей в ее прежней судьбе. Затем я чувствую в ней душу добрую и целомудренную. Если прелестью своего образа она побеждает всех женщин, если стыдливостью взгляда вызывает уважение у всех, кто ее видит, разве не естественно, что она создает хорошее о себе представление? Но вот что важнее всего сказанного: она мне кажется жрицей какого-то бога, так как сбросить священное одеяние и венец она даже и в несчастьи считает чем-то ужасным и недозволенным.

21 Может ли быть, присутствующие собратья, брак более подходящий, чем когда муж из рода пророков берет в жены девушку, посвященную божеству?

Все криками приветствовали эти слова и призывали в добрый час заключить брак. А Фиамид, взяв опять слово, сказал:

— Я благодарен вам, но мы поступим лучше, если спросим мнение девушки, как-то она к этому относится. Если бы надо было воспользоваться законом власти, вполне достаточно было бы одного моего желания. Кто может действовать

силой, для того лишнее спрашивать. Но когда речь идет о браке, необходимо согласовать желания обеих сторон.

Затем он обратился к девушке:

— Что ты думаешь, девушка, о том, чтобы стать моей супругой? — спросил он и одновременно велел объяснить, кто они такие и из какого рода.

Девушка стояла долгое время, опустив глаза в землю, и несколько раз покачала головой. Она как-будто искала слов для своей мысли, затем взглянула на Фиамида, сильнее прежнего ослепив его своей красотой: сильней, чем обычно, от охвативших ее мыслей, окрасились пурпуром ее щеки, и ярче загорелись очи. Потом она начала говорить. Кнемон был переводчиком:

— Говорить скорее пристало бы брату моему Феагену; следует, думаю я, в присутствии мужчин женщине молчать, а мужчине ответствовать.

22. Однако, раз вы и мне позволили говорить, и дали первое доказательство вашего человеколюбия, пытаясь добиться справедливости убеждением, а не силой, в особенности же, так как все сказанное обращено ко мне, я вынуждена преступить свои собственные девические законы и на вопрос победителя относительно вступления в брак дать ответ, да к тому же в собрании стольких мужей. О нас я скажу вот что: родом мы ионяне, родились в знатной ефесской семье, и родители наши живы. Закон повелевает таким детям жречествовать; мне выпал жребий служить Артемиде, служить Аполлону—моему брату. Сан этот дается на один год, и так как срок этот был на исходе, мы отправились со священным посольством на Делос, где собирались по отеческому обычаю устроить мусические и гимни-

ческие состязания и сложить с себя жреческое звание. Корабль наполнили золотом, серебром, одеждами и всем остальным в таком количестве, что должно было хватить для состязаний и всенародного угощения. Мы отплыли, а наши отцы, люди уже пожилые, из страха перед морским плаванием остались дома, между тем как другие граждане во множестве взошли вместе с нами на корабль или отправились на собственных судах. Уже совершена была большая часть пути, когда внезапно налетела буря. Противный ветер и обрушившиеся на море вихри, мешаясь с молниями, отнесли корабль с прямого пути, кормчий поддался чрезмерному бедствию и, не выдержав силы его, бросил корабль, предоставив управление судьбе. Гонимые непрерывно дующим ветром, мы носились семь дней и столько же ночей, пока наконец не пристали к здешнему берегу, где и были захвачены вами. Вы видели там смертоубийство: во время пиршества, которое мы устроили по поводу нашего спасения, корабельщики напали, решив уничтожить нас ради сокровищ, и вот при великом и бедственном истреблении всех наших близких, причем сами нападавшие и губили и гибли, мы одни из всех одержали победу и — о, если бы этого не было! — лишь мы, жалкие остатки, уцелели.

Одно только оказалось благополучием в наших бедствиях, это то, что некий бог привел нас в ваши руки, и нам, страшившимся смерти, теперь позволено думать о браке: я ни за что не захочу от него отказаться. Пленнице удостоиться ложа победителя — это выше всякого блаженства. Девушке, посвященной божеству, быть супругой сына пророка — а через малое

время, если будет на то божья воля, самого пророка — в этом, думается мне, есть особое проявление божественного промысла. Об одном я прошу, Фиамид, и ты даруй мне это. Позволь мне сначала притти в город или в иное место, где есть алтарь или храм Аполлона, и там сложить с себя жречество и вот эти его знаки. Лучше всего в Мемфис, когда и ты примешь пророческий сан. Тогда и свадьба будет веселее, если соединить ее с победой и справить после достигнутого успеха. Может быть и раньше — тебе я оставляю решение. Только дай мне сначала выполнить отеческие обряды. Я знаю, ты согласишься, ты, с детских лет, как ты сам говорил, посвященный святыням и привыкший чтить то, что принадлежит богам.

23. Тут Хариклия прервала свою речь и стала проливать слезы. Все присутствующие одобряли ее слова, призывали так и сделать и кричали, что они согласны на это. Одобрял и Фиамид, отчасти по доброй воле, отчасти и против воли, под влиянием страсти к Хариклии, считая и текущий час, если уж придется откладывать, беспредельно долгим временем. Но он был очарован, точно сиреной, ее словами и принужден согласиться. Вместе с тем он относил все это к своему сновидению, веря, что брак совершится в Мемфисе. Затем он распустил собрание, поделив сначала добычу, причем сам получил много отборных вещей, добровольно уступленных ему другими.

24. Фиамид велел быть готовым на десятый день, чтобы произвести нападение на Мемфис. Грекам он отвел прежнюю палатку. В той же палатке поселился опять и Кнемон, по приказу

предводителя впредь назначенный быть уже не стражем, но собеседником. И пищу лучше, чем прежде, велел им давать Фиамид, а Феагена из уважения к сестре сделал ее сотрапезником. На Хариклию он твердо решил даже не смотреть, чтобы лицезрением не распалять залегшего в нем желания и не быть вынужденным сделать что-нибудь вопреки принятому и объявленному решению. Фиамид с этих пор избегал встречи с девушкой, считая невозможным одновременно взирать на нее и собою властвовать. А Кнемон, как только все удалились и попрятались, кто куда в разные места болота, стал разыскивать траву, которую он накануне обещал Феагену, и удалился на некоторое расстояние от озера.

25. В это время Феаген, получив, наконец, досуг, рыдал и стонал, ни слова не говоря с Хариклией и непрестанно призывая богов в свидетели. Когда она спросила, оплакивает ли он их прежние и общие им бедствия, или уж не случилось ли с ним новой беды, Феаген отвечал:

— Что же может еще случиться более нового, что более беззаконного, если нарушаются клятвы и обеты, если Хариклия забывает меня и выражает согласие на брак с другим?

— Не кощунствуй,—возразила девушка, — не будь для меня тягостнее, чем наши бедствия. Ты после всего, что было, мог хорошо проверить меня на деле, ты не должен подозревать меня из-за слов, вынужденных мгновением и произнесенных для нашей же пользы, если только не произойдет обратного и не окажется, что скорее изменишься ты, чем найдешь перемену во мне. Я не отрицаю своего несчастья, но нет такой силы, которая могла бы заставить

меня забыть о целомудрии. В одном лишь, я знаю, я не была целомудрена, это в охватившей меня с самого начала страсти к тебе, но и то была страсть законная. Ведь я не уступила тебе как любовнику, а сочеталась с тобой как с мужем, впервые тогда вручила себя тебе, но до сих пор блюла свою чистоту, избегая общения с тобой, не раз отражая твои попытки и ожидая, когда осуществится условленный нами с самого начала и, после всех испытаний, скрепленный клятвами, совершенный по закону брак. Ну, не неразумен ли ты, если веришь, будто я предпочту варвара греку, разбойника—возлюбленному?

— А что же означала тогда твоя великолепная речь?—спросил Феаген.—То, что ты выдумала, будто я твой брат, это чрезвычайно умно, далеко отводит ревность Фиамида от нас и позволяет нам без страха оставаться вместе. Я понял и рассказ об Ионии и о наших Делосских блужданиях, понял, что это должно было прикрывать истинную действительность и действительно вводить в заблуждение всех слушателей.

26. Но что ты с такой готовностью согласилась на брак, ясно договорилась и назначила срок, — этого я понять и не умел и не хотел. Я желал, чтобы земля поглотила меня прежде, чем я увижу, как все связанные с тобою страдания и упования получат такой конец.

Хариклия обняла Феагена, без конца целовала его, обливала своими слезами.

— О, как мне сладостно, — говорила она, — слышать об этих твоих страхах за меня. Ты этим ясно показал, что твое влечение ко мне не уменьшилось после столь многих бед. Однако,

знай, Феаген, что и сейчас мы не могли бы беседовать друг с другом, не будь тогда дано такого обещания. Ты знаешь, когда побеждает страсть, отпор только усиливает ее натиск, а речь, полная уступок и идущая навстречу желанию, ослабляет первый кипящий порыв и остроту вожделения успокаивает сладостью обещания. Охваченные буйной любовью считают, думается мне, обещание первым опытом и полагают, что, получив его, они одержали победу, поэтому они предаются надеждам и чувствуют себя легче. Это я имела в виду, когда на словах отдалась Фиамиду, поручив остальное богам и тому божеству, которому изначала выпало на долю охранять нашу любовь. Часто один-два дня, и судьбы дают для спасения много такого, чего люди не могут найти путем бесчисленных размышлений. Поэтому и я, прибегнув к вымыслам, отдалила нависшую опасность и отразила явные угрозы неясными обещаниями. Итак, сладчайший, надо хранить эту выдумку, как уловку, и держать дело в тайне не только от всех остальных, но даже от самого Кнемона. Правда, он ласков с нами, он грек, но он—пленник и, если придется, он с большей готовностью окажет услугу победителю. Ни длительность дружбы, ни закон родства не дают нам надежного залога его верности. Поэтому, если он, подозревая что-либо, коснется когда-нибудь наших отношений, надо сперва отрицать. Прекрасна порою и ложь, если она приносит пользу высказывающим ее и ничем не вредит слушающим.

27. В то время как Хариклия обращалась к Феагену с этими и другими подобными же

ободрительными речами, вдруг вбегает Кнемон, чрезвычайно озабоченный, всем своим видом обнаруживая большое волнение.

— Феаген, — говорит он, — траву я тебе принес, положи ее на свои язвы и лечи их, но надо нам быть готовыми к новым ранам и новым убийствам.

Когда тот стал просить объяснить подробнее, что значат эти слова, Кнемон воскликнул:

— Не время сейчас слушать, можно опасаться, что дела перегонят наши речи. Следуй как можно скорее за мной и пусть вместе с нами идет Хариклия.

Забрав обоих, он повел их к Фиамиду и застал его в то время, как он чистил свой шлем и точил копье.

— Как кстати ты при оружии, — воскликнул Кнемон, — вооружайся сам и приказывай другим сделать то же. Я видел множество врагов, какое никогда еще не грозило нам, и так близко, что они уже перевалили через ближайший холм. Я прибежал сюда сообщить об их наступлении, ни мгновенья не мешкал я по пути сюда и, кому мог, объявлял, чтобы все готовились.

28. Вскочил при этих словах Фиамид и стал спрашивать, где Хариклия, словно боялся за нее больше, чем за самого себя. Когда Кнемон указал на нее, молча стоявшую тут же у двери, Фиамид сказал так, что тот один мог слышать его:

— Возьми ее и отведи в пещеру, где сложены в безопасности наши сокровища. Помести ее туда, друг мой, и крышкой, как обычно, закрой вход, а затем поскорей приходи к нам. О войне же позаботимся мы.

Щитоносцу Фиамид велел привести овцу, чтобы принести ее в жертву местным богам и таким образом приступить к сражению. Кнемон исполнил приказание: повел Хариклию, беспрестанно рыдавшую и все время оборачивавшуюся к Феагену, и ввергнул ее в пещеру. А было то не произведение природы, вроде тех, что, сами собой возникая, во множестве зияют на земле и под землей, но дело разбойничьего искусства, подражавшего природе, — подземелье, искусно вырытое руками египтян для хранения захваченной добычи.

29. Сделано это было вот как: был узкий и темный вход, находившийся под дверями тайника, так что порог оказывался при спуске дверью и, смотря по надобности, падал вниз или откидывался. Оттуда дорога разветвлялась на беспорядочно запутанные закоулки. Ходы и борозды, ведшие в самые недра, то хитро извивались, каждый своим путем, то сталкивались друг с другом, переплетались, как корни, и выходили, наконец, к одной широкой площадке на самом дне, сливаясь там воедино. Тусклый свет из расселины, приходившейся на самом краю озера, падал туда. В это подземелье ввел Хариклию Кнемон и, уверенно проведя ее благодаря своей опытности, доставил в отдаленнейшую часть пещеры, причем все время ободрял ее и обещал вечером притти вместе с Феагеном — он хотел не допустить его до столкновения с врагами и дать возможность избежать боя. Затем Кнемон покинул ее, бездыханную и молчаливую, не произнесшую ни слова и, словно смертью, пораженную бедой. Лишившись Феагена, она как бы лишилась собственной души.

Кнемон вылез из пещеры, опустил на место порог, прослезился над своей безвыходной долей и над Хариклией, гонимою судьбой: чуть что не заживо пришлось ему схоронить блистательнейшую из смертных — Хариклию — и предать ее ночи и тьме. Потом он побежал к Фиамиду и застал его, кипевшего желанием сразиться. Фиамид, как и Феаген, облачился в сверкающее вооружение и речью возбуждал неистовый пыл в уже собравшихся около него воинах. Встав посреди них, он говорил:

— Соратники! Не знаю, к чему увещевать вас многими речами: вы и сами не нуждаетесь в напоминании, и всегда считаете, что война — ваша жизнь, особенно же теперь, когда внезапное наступление противников мешает длительным разговорам. Когда враги действительно угрожают, не готовиться отразить их поскорее теми же средствами могут только люди, безнадежно запаздывающие в самых нужных делах. Вы знаете, что речь идет не о женах и детях,— у многих людей только это и может возбудить мужество для боя,—но для нас это имеет меньше значения. Мы можем иметь все, что уцелеет после победы, а сейчас дело идет о нашем существовании, о нашей жизни. Никогда война с разбойниками не кончалась договорами, и мир никогда не был ее концом. Для нас неизбежно или одержать победу и уцелеть, или быть побежденными и умереть. Так сразимся же с нашими злейшими врагами, напрягая все силы души и тела.

30. Сказав это, он оглянулся на своего щитоносца и несколько раз окликнул его по имени:

— Фермуфид!

Но того нигде не было. Фиамид гневно пригрозил ему и бегом поспешил к лодкам: война уже разразилась, и даже издали можно было видеть, как жившие на самом краю озера, на подходах к нему, были захвачены врагами. Дело в том, что наступавшие подожгли суда и шалаши погибавших или спасавшихся бегством разбойников. Оттуда огонь перекинулся на ближайшее болото, пожирая в огромном количестве росший там тростник. Очи поражались невыносимым блеском пламенным, а слух—шумом рокочущим. И все виды войны можно было видеть и слышать: обитатели болота со всем пылом и всей силой выдерживали бой, а нападавшие благодаря своей численности и неожиданности натиска обладали огромным преимуществом, истребляли разбойников на суше, топили в озере, вместе с их судами и жилищами. От всего этого смешанный гул стоял в воздухе, в то время как люди и на суше дрались и на кораблях сражались, губили и погибали, кровью обагряли озеро, сплетенное из огня и воды.

Когда увидел и услышал все это Фиамид, ему пришел на ум его сон про Исиду и храм, весь полный светильников и жертв — это и было то, что он теперь созерцает. Обратное прежнему дал он толкование своему видению: обладая, он не будет обладать Хариклией, потому что война ее отнимет, он ее убьет и не ранит — мечом, а не по закону Афродиты. Он произнес многократную хулу на богиню, называя ее лукавой, ужасался, что другой завладеет Хариклией. Фиамид приказал своим спутникам немного задержаться и указал, что придется вести бой, оставаясь на месте, укрываясь близ островка

и через окрестные болота производя тайные нападения: даже так им едва ли удастся противостоять многочисленному неприятелю. Сам же он под видом того, что будет разыскивать Фермуфида и пойдет помолиться богам очага, никому не позволил следовать за собой и, обезумев, повернул к домику.

Нрав варвара трудно поддается уговорам, раз уж тот куда-нибудь устремился. Когда такой человек отчаялся в собственном спасении, он обычно сперва истребляет всех, кто ему дорог, потому ли, что обольщается надеждой пребывать с ними и после смерти, или потому, что пытается освободить их от вражеских рук и оскорблений. Под влиянием этого Фиамид позабыл обо всем окружавшем и, словно сетями окруженный противниками, охваченный любовью, ревностью и гневом, подойдя к пещере, с разбега спрыгнул вниз, громко крича и все время говоря по-египетски. Где-то у входа он натолкнулся на женщину, обратившуюся к нему по-гречески. Привлеченный к ней ее голосом, он положил левую руку ей на голову и мечом пронзил ей грудь у самого сосца *.

31. И вот она горестно лежала там — жалобный вопль испустив, последний уже перед смертью — а он выбежал наверх, поставил на место порог и насыпал над ним маленький земляной холмик.

— Вот тебе от меня свадебные подарки! — воскликнул он со слезами и, явившись к кораблям, застал остальных, уже помышлявших о бегстве: поблизости виднелись враги. Он увидел и Фермуфида, который пришел с овцой для жертвоприношения. Фиамид обратился

к нему с бранью, сказал, что сам то он только-что принес прекраснейшую из жертв, и вошел в лодку — кроме него там был еще Фермуфид и гребец, так как больше не могут поднять озерные лодки, грубо выдолбленные из цельного куска дерева, из толстого ствола. Отчалили одновременно на другом судне и Феаген вместе с Кнемоном, другие разбойники на других лодках. Так поступили все.

Разбойники удалились на малое расстояние от острова, скорее проплыли вокруг, чем отплыли от него, перестали грести и стали выстраивать суда в один ряд, чтобы грудью встретить натиск противников, которые еще только приближались. Но даже и плеска весел не вынесли разбойники: все, лишь только увидали врагов, сразу же бежали, не выдержав самого грохота сражения. Отступили и Феаген с Кнемоном, но не трусость была у них главной причиной. Один только Фиамид — оттого ли, что стыдился бегства, а скорее оттого, что не был в силах пережить Хариклию, — бросился прямо на врагов.

32. Уже доходило до рукопашной, когда кто-то закричал:

— Да это Фиамид! Ну-ка, на него!

И сейчас же, построив суда кольцом, они заключили его в середину. Фиамид защищался и своим копьем ранил, убивал — схватка была самая удивительная. Никто из воинов не метал копья и не заносил меча, каждый прилагал все усилия, чтобы захватить Фиамида живьем. А тот очень долго сопротивлялся, пока не отняли от него копья, за которое ухватилось сразу несколько человек, и пока не лишился он своего

щитоносца, сражавшегося блистательно с ним вместе и получившего, повидимому, смертельную рану. В безнадежном отчаянии щитоносец кинулся в озеро и, вынырнув благодаря своему уменью плавать вне выстрела, с трудом доплыл до болота, причем никто и не думал его преследовать. Враги уже захватили Фиамида и пленение одного человека считали полной победой. Потеряв стольких друзей, они больше ликовали, захватив убийцу живьем, чем горевали об утрате близких.

Так деньги бывают дороже души для разбойников, и то, что именуется родством и дружбой, определяется одной лишь наживой. Так случилось и с этими, а были это как-раз те самые, которые у Гераклова устья бежали от Фиамида и его отряда.

33. Негодуя, что отнято у них было чужое добро и оплакивая потерю добычи, словно это было их собственное имущество, они собрали всех оставшихся дома, призвали также на помощь окрестные поселки под условием равного и одинакового для всех раздела добычи. Они предводительствовали в этом походе, а живьем захватили Фиамида вот по какой причине.

Петосирид был его брат в Мемфисе. Он, будучи младшим, хитростью отнял у Фиамида унаследованный от отцов священный пророческий сан, а затем, узнав, что его старший брат стал вождем разбойников, устрашился, как бы тот, выждав срок, когда-нибудь не появился, или как бы время не раскрыло его коварства. Вместе с тем он чувствовал, что многие подозревают его в убийстве Фиамида, который нигде не появлялся, и потому послал в разбойничьи поселки

объявить, что обещает множество денег и скота всякому, кто доставит Фиамида живым. Прельщенные этим разбойники даже в кипении боя не оставляли мысли о наживе и, когда кто-то узнал Фиамида, захватили его в плен ценою многих смертей. Они доставили его на сушу связанным и отделили половину отряда для охраны, а он все время бранил их мнимое человеколюбие и негодовал на оковы сильнее, чем негодовал бы на смерть. Остальные разбойники направились к острову, чтобы разыскать там сокровища и желанную добычу. Обегав весь остров, не оставив ни одной части его необысканной, они не нашли ничего, или очень мало вопреки ожиданиям — только то, что осталось неспрятанным в подземную пещеру. Вечер уже приближался, вселял в них страх оставаться на острове, и, боясь, как бы не устроили им засаду разбежавшиеся враги, они ушли обратно к своим.




КНИГА ВТОРАЯ



1. Так остров опустошался огнем. Пока солнце стояло над землей, Феаген и Кнемон не замечали бедствия — днем зрелище пожара, освещаемое лучами бога, бледнеет; — когда же солнце закатилось и навело ночь, то пламя, вспыхнув необоримо, стало заметно на очень далеком расстоянии.

Они, полагаясь на темноту, высунулись из болота и видят, что остров уже сильно охвачен пожаром. Феаген бьет себя в голову, рвет на себе волосы.

— Пусть окончится жизнь моя сегодня, — говорит он, — пусть свершится, пусть разрешится все — сомнения, ожидания, любовные желания. Исчезла Хариклия, Феаген погиб. Напрасно я, злосчастный, робким сделался, на малодушное бегство решился, ради тебя, сладостная, жизнь свою спасая. Я не останусь

больше в живых, когда ты, дорогая, умерла. Умерла — и это тяжелее всего — не по общему для всех закону природы и не на тех руках, в чьих объятиях ты желала бы испустить дух. Увы! Огня добычей ты стала, такие светильники, вместо факелов брачных, зажгло для тебя божество. Уничтожена красота среди людей, и даже останков истинной прелести не осталось — нет тела мертвого. О жестокость и невыразимая зависть божества: мне не было дано обнять ее в последний раз. Даже прощальных, бездыханных поцелуев лишили меня.

2. В то время, как он так говорил, осматривая свой меч, Кнемон вдруг вырвал оружие из его рук со словами:

— Что это? Почему ты оплакиваешь живую, Феаген? Жива Хариклия и невредима. Утешься.

— Для безумных и для детей такие речи, Кнемон! — воскликнул Феаген. — Ты погубил меня, отняв сладчайшую смерть.

Кнемон клятвенно подтвердил свои слова и рассказал обо всем — о приказании Фиамида, об убежище, как он сам поместил туда Хариклию, о природе пещеры, о том, что нет никакой опасности — огонь не проникнет в глубину, так как его задержат бесчисленные изгибы. С облегчением вздохнул при этом Феаген и поспешил к острову; в мыслях он уже видел отсутствующую и представлял себе пещеру брачным чертогом, не зная, что там его ожидают рыдания.

Они быстро поплыли, сами гребя во время переправы, так как их перевозчик в начале схватки бросился прочь от крика, словно это был знак к началу состязания в беге. Они

отклонялись в сторону от прямого пути, не умея, по неопытности, грести согласно, да к тому же дул противный ветер. Свою неискусность, однако, преодолели они усердием.

3. Сильно вспотев, Феаген и Кнемон с трудом пристали к острову и как можно скорее побежали к палаткам. Там они находят только пепел, так что оказалось возможным узнать лишь место, где стояли палатки. Камень-порог, прикрывавший пещеру, был ясно виден. Дело в том, что ветер, прямо несшийся на шалаши, сплетенные из легких болотных тростников, в своем натиске сжег их на пути и почти обнажил ровную поверхность земли, так как пламя сразу погасло и получился пепел. Большая часть золы унеслась с вихрем, а то немногое, что осталось, почти совсем потухло и до того охладилось, что можно было ходить.

Они взяли обгоревшие факелы, зажгли остатки тростника, открыли вход в пещеру и стали спускаться, причем впереди шел Кнемон. Они уже несколько продвинулись, как вдруг Кнемон воскликнул:

— О Зевс, что это? Мы погибли: убита Хариклия!

Он уронил на землю светильник, который потух, потом закрыл руками глаза, опустился на колени и заплакал.

А Феаген, словно насильно толкаемый, устремился к лежащему телу, крепко схватился за него и прирос, сжимая его в своих объятиях.

Убедившись, что Феаген весь отдался скорби и погружен в свое несчастье, боясь, как бы он не причинил себе худа, Кнемон тайно вынимает меч из ножен, висевших на боку у Феагена, и

оставив его одного, поднимается наверх, чтобы зажечь факелы.

4. В это время Феаген на трагический лад горестно вопиял:

— О страдание нестерпимое!—восклицал он.— О несчастье, богами творимое. Какая ненасытная Эринния неистовствует в наших бедствиях, наложив на нас изгнание из отечества, подвергнув опасностям на морях, опасностям в вертепах, часто предавая разбойникам, лишив нас всех средств. Одно взамен всего оставалось, но и это похищено. Мертва Хариклия, чужой рукой убита любимая; конечно, она защищала свою девственность, для меня берегла себя, и все же она мертва, радостей юности не познавшая, счастья мне не давшая. Но, сладостная, произнеси последние, привычные слова, сделай усилие, если в тебе есть хотя бы немного жизни. Увы, ты безмолвна, и этими пророческими и боговдохновенными устами владеет молчание, мрак охватил носительницу огня и хаос — служительницу владык. Не светятся очи, всех красотой ослеплявшие, очи, которых — я это хорошо знаю — убийца не видел. Увы, как тебя назвать? Невестою? Но жениха ты не знала. Замужнею? Но брака не испытала. Как же мне тебя призывать? Как к тебе впредь обращаться? Или называть тебя нежнейшим из всех имен — Хариклией. Но, Хариклия, будь спокойна, у тебя верный возлюбленный: вскоре примешь меня. Вот возлияние совершу тебе — свое собственное заклание — и пролью свою, милую тебе, кровь. Заключит нас нечаянная могила - эта пещера. Можно будет нам не разлучаться, хотя бы после смерти, раз уж при жизни божество этого не допустило.

5. При этих словах Феаген сделал движение, чтобы вытащить меч. Не найдя его, он закричал:

— Кнемон, ты погубил меня. Нанес обиду ты и Хариклии, вторично лишив ее общения с любимым.

Так он говорил, как вдруг из глубины пещеры послышались звуки голоса, зовущего:

— Феаген!

Нисколько не изумленный, Феаген прислушался:

— Иду, любимая душа, — сказал он. — Очевидно, ты еще носишься по земле, не вынеся разлуки с таким телом, насильно из него удаленная; а может быть и подземные призраки отгоняют тебя, так как ты еще не погребена.

В это мгновение, когда Кнемон появился с зажженными факелами, снова послышались те же звуки. Кто-то звал: — «Феаген!»

— О боги! — вскричал Кнемон. — Разве это не голос Хариклии? Она спаслась, Феаген, думается мне; из глубины пещеры, оттуда, где, как я хорошо помню, я оставил ее, доносится до моего слуха голос.

— Перестань, — сказал Феаген, — столько раз ты обманывал меня.

— Да, обманывая тебя, я и сам в свою очередь обманываюсь, если мы с тобой станем верить, будто этот труп — Хариклия, — возразил Кнемон. С этими словами он повернул мертвую к свету и, взглянув на нее, вскричал:

— О божества, творящие чудеса, предо мною Фисба!

Он отступил назад и, охваченный трепетом, остановился в изумлении.

6. Придя в себя от всего случившегося и возымев добрые надежды, Феаген стал звать растерявшегося Кнемона и умолял, как можно скорее вести его к Хариклии. Немного времени спустя очнулся и Кнемон и начал опять осматривать мертвую. Это была действительно Фисба. Он узнал по рукоятке и лежавший рядом с ней меч, в замешательстве и поспешности оставленный после убийства Фиамидом возле трупа. Подняв с груди покойницы дощечку, торчавшую из-под мышки, он попытался разобрать написанное, но Феаген не допустил этого, настойчиво говоря:

— Сначала добудем любимую, если только и теперь над нами не шутит какое-нибудь божество, а с письмом можно будет ознакомиться и после.

Кнемон послушался, и они, взяв с собой дощечку и подняв меч, поспешили к Хариклии. Та на руках и ногах выползла к свету, и, подбежав к Феагену, повисла на его шее.

— Ты со мной, Феаген!

— Ты жива, Хариклия! — много раз повторяли они, и, наконец, совсем падают на землю, держась друг за друга, безмолвно, — словно они составляли одно. И чуть было не лишились жизни: избыток радости часто переходит в скорбь, и чрезмерное наслаждение порождает нечаянную печаль.

Так, неожиданно спасенные, подвергались они опасности, до тех пор, пока Кнемон, раскопав источник и собрав в горсти рук медленно стекавшую влагу, не окропил их лиц и частым прикосновением к ноздрям не привел их в чувство.

7. Феаген и Хариклия очнулись лежа, тогда как встретились они иначе; поднявшись с земли, они оба, а особенно Хариклия, покраснели, увидя Кнемона, который оказался зрителем всего происшедшего, и начали умолять его отнестись к ним снисходительно. Чтобы внушить им более веселые мысли, Кнемон, улыбнувшись, говорит:

— Все это достойно похвалы — так на это смотрю я, да и всякий, кто, вступив в борьбу с Эротом, с радостью испытал поражение в битве и благоразумно поддался посланному им неотразимому падению. Но, Феаген, я не могу похвалить того, при виде чего я действительно устыдился: ты, припав к незнакомой, совершенно чуждой женщине, оплакивал ее малодушно, хотя я изо всех сил уверял тебя, что твоя возлюбленная спаслась и жива.

— Кнемон, перестань, — прервал его Феаген, — клеветать на меня перед Хариклией, которую я оплакивал в чужом трупе, принимая мертвую за Хариклию. Так как, по счастью, кто-то из богов показал, что все это был обман, то пора тебе вспомнить о твоей собственной непомерной храбрости, благодаря которой ты плакал раньше меня о моем несчастии, а затем, узнав лежавшую, убежал, как бегут от враждебных божеств на сцене; вооруженный мечом, ты бежал от женщины, да еще от покойницы, ты, храбрый аттический пехотинец!

8. При этих словах они слегка и принужденно улыбнулись, да и то не без слез: в их несчастном положении и к улыбкам примешивалось немало плача. Немного спустя, Хариклия, царапая себе щеку под ухом, говорит:

— Прославляю ту, которую оплакивал Феаген, и даже, как уверяет Кнемон, целовал, кто бы она ни была. И, если только вам не покажется, будто меня кусает ревность, я хотела бы узнать, кто была эта счастливица, удостоенная слез Феагена, и каким образом ты ошибся и целовал ее, думая, что это я, если только тебе самому это понятно.

— Ты удивишься, — отвечал Феаген. — Наш Кнемон говорит, что это—Фисба, та афинянка, арфистка, виновница замыслов против него и Демэнеты.

— Но возможно ли, Кнемон, — спросила пораженная Хариклия, — чтобы она, словно на театральной машине перенеслась из середины Эллады на окраины Египетской земли? И как она укрылась от нас, когда мы сюда спускались?

— Этого я не могу объяснить, — сказал Кнемон,—а вот что я мог узнать о ней: когда Демэнета после обмана низринулась в пропасть и отец объявил народу о случившемся, то на первых порах народ отнесся к нему снисходительно. Отец мой был занят тем, чтобы добиться у народа моего возвращения и готовился отплыть, чтобы разыскать меня. Фисба воспользовалась его делами для собственного безделия и, ничего не боясь, ходила со своей кифарой на пиры по найму. Проворно играя и изящно напевая под звуки кифары, она затмила Арсиною, неискусную флейтистку, и тем незаметно для себя возбудила ревность и зависть подруги, особенно после того, как какой то раззолоченный купец из Навкратиса, по имени Навсикл, привлек ее в свои объятия, а Арсиною, с которой он раньше познакомился, оттолкнул, увидав,

как у нее во время игры на флейте надуваются щеки и от сильного напряжения безобразно поднимаются к ноздрям, а глаза загораются и выпучиваются из своих орбит,

9. Вследствие этого раздуваясь от ярости, воспламеняясь ревностью, Арсиноя явилась к родным Демэнеты и рассказала им о кознях Фисбы: частью она сама о них догадалась, частью же рассказала ей о них по дружбе сама Фисба. И вот, соединившись против моего отца, родственники Демэнеты выставили обвинителями за большие деньги самых искусных риторов и стали кричать, что без суда и без улик погублена Демэнета, рассказывали, что обвинение в прелюбодеянии лишь прикрывало собой убийство, и настаивали, чтоб был показан им прелюбодей, живой или мертвый, или хотя бы назван по имени; наконец, они стали требовать пыток для Фисбы.

Так как отец не мог выдать ее, хотя и обещал—дело в том, что она заранее все предугадала и еще во время суда, как было у нее условлено с тем купцом, бежала, то недовольный народ хотя и не признал отца убийцей, но, как одного из виновников коварного против Демэнеты начинания и моего несправедливого изгнания, изгнал его из города и присудил к лишению имущества. Вот какое испытание вкусил он от вторичного брака. Так злодейка Фисба, наказанная теперь на моих глазах, выехала из Афин.

Это—все, что я знаю, так как об этом некий Антикл известил меня на Эгине; вместе с ним я и поплыл сюда в Египет, в надежде отыскать в Навкратисе Фисбу и, вернув ее в Афины,

доказать несправедливость подозрений и обвинений против нас. По какой причине я нахожусь здесь с вами, что и сколько я перенес в промежутке—об этом вы в другой раз услышите. А как и кем убита Фисба в пещере, мог бы, пожалуй, поведать только кто-либо из богов.

10. Но, если хотите, взглянем на дощечку, которую мы нашли у нее на груди: вероятно оттуда мы сможем больше узнать.

Предложение было одобрено и, раскрыв табличку, он начал читать. Написано было следующее:

Кнемону, господину своему, враждебная и отомстившая Фисба. Прежде всего я объявляю тебе хорошую весть о смерти Демэнеты, случившейся благодаря мне ради тебя; а как это произошло—об этом, если ты меня примешь, я расскажу сама. Затем сообщаю, что нахожусь на этом острове вот уже десятый день, захваченная в плен одним из здешних разбойников, который хвастается, что он—щитоносец главного разбойника. Держит он меня взаперти и не позволяет даже выглянуть за дверь. Он говорит, что он наложил на меня такое наказание из расположения ко мне, но я догадываюсь, что он боится, как бы кто-нибудь не похитил меня. По милости кого-то из богов, я увидела здесь тебя, господин мой, узнала и пересылаю тебе тайно эту табличку через живущую со мной старуху, приказав вручить красавцу-греку, другу предводителя. Вырви меня из рук разбойников и сделай своей служанкой. И, если захочешь, сохрани мне жизнь, приняв во внимание, что кажущиеся неспра-

ведливости против тебя я совершила по принуждению, а отомстила твоей недоброжелательнице добровольно; если же тобой владеет непримиримый гнев, то воспользуйся им против меня, как тебе угодно. Только бы мне быть под твоей властью, хотя бы и пришлось умереть: ведь лучше погибнуть и удостоиться греческого погребения, чем выносить жизнь, смерти тягчайшую, и варварское очарование, которое ненавистнее аттической вражды.

11. Вот что сообщала Фисба и ее дощечка.

— О Фисба,—воскликнул Кнемон,—ты прекрасно сделала, что умерла и стала вестницей своих несчастий, самой своей гибелью давая нам повествование. Так мстительная Эриния гнала тебя, видимо, по всей земле и остановила свой справедливый бич не раньше, чем, повстречав в Египте меня, сделала обиженного очевидцем возмездия. Но какие начинания справедливость во-время вырвала у тебя, какие хитрости и козни снова пускала ты в ход этим письмом? Даже мертвую тебя я подозреваю и сильно боюсь, что смерть Демэнеты—выдумка, что обманули меня те, кто возвестили о ней, боюсь, что ты из-за моря явилась, чтобы, как в Аттике, сыграть с нами и в Египте еще одну трагедию.

— Перестань, — сказал Феаген, — храбриться, ты страшишься теней и призраков. Ведь не могла же она околдовать также и меня и мое зрение, раз я совсем не участвовал в действии. Она в самом деле лежит мертвая, а поэтому успокойся, Кнемон. Кто твой благодетель, кто ее убийца, каким образом ее сюда спустили и когда—я, пораженный, недоумеваю.

— Ничего не могу сказать,—говорит Кнемон, кроме того, что убийца, несомненно, Фиамид, судя по мечу, который мы нашли возле зарезанной: я узнаю его меч, а вот и отличительное украшение рукоятки—орел, выточенный из слоновой кости.

— Не скажешь ли ты, как, когда и по какой причине он совершил убийство? — спросил Феаген.

— Как я могу об этом знать,—был ответ,— ведь эта пещера не сделала меня прорицателем, как пифийское святилище, и как по рассказам вещают те, кто сошел к Трофонию.*

Застонали вдруг Феаген и Хариклия и с плачем воскликнули:

— О Пифо, о Дельфы!

Кнемон, изумленный, не мог понять, что они почувствовали при имени Пифо.

12. Вот что произошло с ними. Фермуфид же, щитоносец Фиамида, раненый в битве, выплыл на сушу, а при наступлении ночи встретил лодку, остаток кораблекрушения, несшуюся по болоту, взобрался в нее и поспешил на остров к Фисбе. За несколько дней до этого, когда купец Навсикл вез ее по узкой дороге в предгории, Фермуфид подстерег их и похитил Фисбу. В суматохе войны, во время нашествия врагов, посланный Фиамидом за жертвенными животными, он, укрывая Фисбу от стрел и желая сохранить для себя, тайно поместил ее в пещеру и, в замешательстве и спешке, оставил там неподалеку от входа. Из страха перед окружавшими ее ужасами и по незнанию тропинок, ведших вглубь, она и оставалась там, куда ее с самого начала втолкнули. Наткну-

вшись на нее, Фиамид, вместо Хариклии, убил Фисбу. К ней-то, избежав опасностей войны, стремился Фермуфид и, пристав к острову, поскорее побежал к палаткам.

На месте последних был только пепел. С трудом отыскал Фермуфид по камню вход, зажег весь сохранившийся еще и тлевший тростник, поспешно сбежал вниз и стал звать по имени Фисбу, так как только ее имя он и знал по-гречески. Увидя ее мертвой, он долго стоял в изумлении. Наконец он услыхал шум и гул, доносившийся изнутри пещеры — это Феаген и Кнемон продолжали беседовать. Фермуфид решил, что находящиеся там—убийцы Фисбы и не знал, что ему делать: разбойничий гнев и варварская ярость, еще более напряженная из-за любовной неудачи, побуждали вступить в борьбу с мнимыми убийцами, но отсутствие вооружения и меча принуждали против его воли к осторожности.

13. Фермуфид счел за лучшее встретиться с ними сначала не как враг; если же ему удастся добыть какое-нибудь оружие, то напасть на своих врагов. Приняв такое решение, он появляется перед Феагеном, Хариклией и Кнемоном, дико и свирепо озираясь и выражением очей выдавая скрываемое в душе намерение. Неожиданно увидя обнаженного, раненого человека с убийством во взоре, Хариклия скрылась в глубь пещеры, потому ли, что устрашилась или — и это вернее—устыдилась непристойного вида голого пришельца. Кнемон несколько даже отступил, узнав Фермуфида, вопреки ожиданиям видя его и предчувствуя какие-нибудь необдуманные поступки. А Феаген

был не столько поражен этим явлением, сколько раздражен. Он поднял меч, готовясь поразить Фермуфида, если тот предпримет что-либо безрассудное, и сказал:

— Стой, или я тебя ударю. Не ударил я пока потому, что постепенно узнавал тебя, и намерения твои еще не ясны.

Фермуфид припал к ногам Феагена и, больше под влиянием опасности, чем своих склонностей, стал его умолять, призывал на помощь Кнемона, говоря, что справедливо требует от него защиты, настойчиво повторял, что не причинял им никаких обид, принадлежал к их друзьям в течение минувшего дня, да и сейчас пришел к друзьям.

14. Кнемон, тронутый, подошел и поднял его, обнимающего колени Феагена и тотчас же начал расспрашивать, где Фиамид. Тот обо всем рассказал, как Фиамид схватился с врагами, как, ворвавшись в середину их, он бился, не щадя ни их, ни себя, как он постоянно сражал всякого, кто попадался ему под руку, а сам был под охраной объявленного во всеуслышание приказа, чтобы всякий щадил Фиамида. Что сталось, наконец, с Фиамидом он не знает, сам же он, раненый, выплыл на сушу, а сейчас пришел в пещеру в поисках Фисбы. Они спросили, какое отношение имела к нему Фисба, откуда он ее знает и почему разыскивает. И на это ответил Фермуфид и рассказал, как он отнял ее у купца, как безумно влюбился и все время прятал ее, а при нашествии врагов поместил в пещеру. Теперь он нашел ее убитой—кем он не знает, но охотно услыхал бы, чтобы узнать и причину убийства.

— Фиамид зарезал ее,—поспешил сказать Кнемон, стремясь снять с себя подозрение, и в доказательство указал на меч, найденный рядом с зарезанной. Увидя меч, с которого еще капала кровь, и железо, отдававшее ее теплотой от недавнего убийства, Фермуфид узнал оружие Фиамида, глубоко и тяжко вздохнул, и, не понимая, как все произошло, под впечатлением мрака и молчания, поднялся к выходу, приблизился к телу умершей и, положив голову на ее грудь, принялся часто повторять «Фисба», не произнося ничего больше, до тех пор, пока, постепенно сокращая это имя и понемногу ослабевая, не погрузился в сон, сам того не заметив.

15. На Феагена и Хариклию, а также на Кнемона сразу нашло раздумие обо всем, что их окружало; казалось, они хотели что-то обдумать, но множество недавних бедствий, безвыходность переживаемых несчастий, неизвестность будущего помутили их рассудок.

Долго смотрели они друг на друга, ожидая, что каждый что-нибудь скажет, потом, теряя надежду, опускали взор к земле и, покачав головой, опять вздыхали, стоном облегчая страдания. Наконец ложится на землю Кнемон, опускается на камень Феаген, припадает к Феагену Хариклия. Долго отгоняли они от себя надвигавшийся сон, желая притти к какому-нибудь решению относительно своего положения. Уступая слабости и усталости, неохотно подчинились они закону природы и, вследствие чрезмерной печали, погрузились в сладкую дремоту. Так даже разумная часть души не могла противиться соглашению со страждущим телом.

16. Они поспали немного, сколько было достаточно лишь для того, чтобы смягчить края век, и вот Хариклии, лежавшей там, приснился сон:

Человек с неопрятными волосами, коварным взором, окровавленными руками, бросился на нее с мечом и выколол ей правый глаз.

Она тотчас же вскрикнула и стала звать Феагена, говоря, что у нее вырвали глаз. Он немедленно откликнулся на зов и сильно сокрушался о ее несчастии, словно и он переживал ее сновидение. Хариклия приложила руку к лицу и, касаясь той части, которую она потеряла во сне, ощупывала со всех сторон. Оказалось, что это был сон.

— Это только сон,—сказала она,—глаз на месте; будь спокоен, Феаген.

С облегчением вздохнул Феаген, услыхав такие слова, и говорит:

— Как хорошо, что ты сохранила эти солнечные лучи. Но что с тобой случилось, и какой испуг пришлось тебе испытать?

— Необузданный и беззаконный человек, не побоявшийся твоей неодолимой силы, напал с мечом на меня, лежавшую у твоих колен, и, показалось мне, выколол у меня правый глаз. О, если бы виденное произошло наяву, а не во сне, Феаген.

— Замолчи,—сказал он и стал спрашивать, почему она так говорит.

— Потому что лучше было бы мне,—отвечала она,—потерять один глаз, чем опасаться за тебя. Я сильно боюсь, что сновидение касается тебя, которого я считаю своими очами и душой и всем.

— Перестань,—прервал ее Кнемон (он все слыхал, так как при первом крике Хариклии проснулся),—для меня ясно, что сон имеет другое значение. Есть ли у тебя родители, скажи мне?

Она отвечала утвердительно и добавила:

— О, если бы только они были!

— Так знай, что твой отец умер,—вот как я это понимаю: виновниками того, что мы появились в этой жизни и причастились этому свету были, как мы знаем, наши родители, поэтому естественно, что под видом очей, которые ощущают свет и дают нам все видимое, сновидения разумеют отца и мать.

— Тяжко и это,—сказала Хариклия,—но пусть лучше это будет правдой, а не то—другое, и пусть одержит верх твой треножник*, а я окажусь лжепророчицей.

— Так и будет, следует этому верить,—говорит Кнемон.—Но мы, кажется, действительно видим сны, исследуя сновидения и грезы и совсем не думая обсуждать свое положение, пока это еще возможно: ведь этот египтянин (он имел в виду Фермуфида) удалился от нас, чтобы мечтать о мертвой любви и рыдать.

17. — Однако, Кнемон,—перебил его Феаген,— так как некий бог соединил тебя с нами и сделал товарищем по несчастью, ты первый дай нам совет: тебе знакомы здешние места и язык, а мы кроме того менее способны правильно рассуждать, так как затоплены большим прибоем бед.

— Неизвестно еще, у кого больше бед, Феаген,—сказал после непродолжительного молчания Кнемон,—ведь и меня божество щедро наделило

несчастиями. Но раз вы предлагаете мне, как старшему, высказать свое мнение, то я укажу, что этот остров, как вы видите, пустынен, и, кроме нас, нет на нем ничего. Золото, серебро и одежды находятся в изобилии — здесь много того, что Фиамид и его товарищи отняли у вас и у других, похитили и сложили в пещеру, от хлеба же и прочих припасов не осталось даже и упоминания. Есть опасность, если мы здесь задержимся, погибнуть от голода, погибнуть при нашествии, враги ли опять придут, или, клянусь Зевсом, те люди, что были с ними, если, собравшись поодиночке и догадавшись о здешних сокровищах, они нагрянут за деньгами. Тогда мы тотчас же погибнем, или, если они окажутся более человечными, не избегнем издевательств. Вообще племя разбойников коварно, а особенно сейчас, когда они лишились своего предводителя, который удерживал их в пределах благоразумия. Поэтому нам следует скрыться и удалиться с острова, словно из сетей и темницы, отослав предварительно Фермуфида будто бы для того, чтобы он расспрашивал и разведывал о Фиамиде, если только ему удастся что-нибудь узнать. Оставшись одни, мы легче станем решать и предпринимать то, что нужно будет делать, да и вообще хорошо устранить человека, ненадежного по природе, разбойника, склонного к раздорам. К тому же, он питает против нас подозрение из-за Фисбы и не успокоится, пока не повредит нам при удобном случае.

18. Предложение было одобрено, решили его исполнить. Направившись к выходу из пещеры (они уже замечали утреннюю зарю), разбудили

они Фермуфида, всецело охваченного сном, сообщили ему, что следовало, из своих планов, без труда уговорили легковерного человека, положили тело Фисбы в углубление, насыпали на него, вместо земли, пепла от палаток, выполнили, поскольку позволяли обстоятельства, обычные религиозные обряды, почтили Фисбу взамен общепринятых жертв, слезами и плачем и согласно своему решению отослали Фермуфида.

Пройдя короткое расстояние, Фермуфид вернулся назад и объявил, что не пойдет один, не рискнет на столь опасную разведку, если Кнемон не примет участия в этом деле. Заметив, что Кнемон робеет (даже передавая слова египтянина, он был в явной тревоге), Феаген сказал:

— Умом ты очень крепок, а отвагой слабее. Так я заключаю по всему, а также по тому, что происходит сейчас. Но отточи свой дух и мужественно воспрянь мыслью. Думается мне, что в настоящее время необходимо, чтобы Фермуфид не возымел даже и подозрения о каком-нибудь нашем бегстве. Следует сначала отправиться с ним (конечно, не страшно, вооружившись самому мечом и панцырем, пойти с безоружным человеком), а затем, улучив удобный случай, тайком покинуть его и притти к нам, куда условимся. Условное место, если хочешь,—любая деревня, поблизости, которая была бы тебе известна, как мирная.

Кнемон согласился и назвал Хеммис, богатый многолюдный поселок, устроенный на берегу Нила для защиты от разбойников. Расстояние до него, если перейти болото, немного менее ста стадиев*. Следовало идти, повернув прямо на юг.

19. — Трудно это из-за Хариклии, которая не привыкла много ходить,—сказал Феаген.— Но все-таки мы пойдем, приняв вид нищих, выпрашивающих себе пропитание.

— Да, клянусь Зевсом,—воскликнул Кнемон,— вы действительно выглядите калеками, особенно Хариклия, у которой с недавних пор выбит глаз. Мне кажется, что при вашей наружности вы будете требовать себе не куска хлеба, а мечей и котлов.*

На это они слегка и принужденно улыбнулись, улыбка только пробежала по их губам. Клятвами подтвердив свои решения и призвав богов в свидетели, что никогда по доброй воле не покинут друг друга, они начали выполнять принятое намерение.

Перейдя при восходе солнца болото, Кнемон и Фермуфид продвигались по густому, с трудно проходимыми зарослями, лесу. Впереди шел Фермуфид — так пожелал и указал Кнемон, поручив ему быть проводником под предлогом привычки Фермуфида к непроходимым местностям. На самом же деле он хотел обезопасить себя и заранее подготовить возможность бегства. Повстречав на пути стада, пастухи которых бежали и скрылись в чащу леса, они зарезали одного из баранов-вожаков, поджарили его на костре, приготовленном пастухами, и насытились мясом, не дожидаясь, чтобы оно достаточно прожарилось, так как голод мучил их желудки. Как волки или шакалы, глотали они отрезаемые куски, слегка опаленные огнем, и от полусырого мяса по их щекам во время еды текла кровь.

Насытившись, напились они молока и продол-

жали свой путь. Был уже приблизительно тот час, когда отпрягают волов. Они всходили на холм, под которым, по словам Фермуфида, находилась деревня, где, как он предполагал, заключен, а может быть, уже лишен жизни пленный Фиамид. Кнемон стал жаловаться на расстройство желудка от обжорства и повторял, что чувствует тяжесть от молока. Он просил Фермуфида итти вперед, говоря, что сам потом его нагонит. Так он поступил раз, другой, третий, и казалось, что он не обманывает; при этом Кнемон говорил, что догоняет с трудом.

20. Приучив ко всему этому египтянина, он, наконец, незаметно отстал, устремился со всей скоростью под гору в самую недоступную гущу леса и скрылся. Фермуфид добрался до вершины горы и сел отдыхать на камень, выжидая вечера и ночи, когда у них было условлено пойти в деревню и разузнать о Фиамиде. Вместе с тем он высматривал, не идет ли Кнемон, против которого он питал преступный замысел: его не покидало подозрение, что Кнемон убил Фисбу; он обдумывал, как и когда его убить, и хотел в своем безумии напасть затем и на Феагена с Хариклией. Так как, однако, Кнемон нигде не показывался, а была уже поздняя ночь, то Фермуфид улегся спать. Заснул он медным, последним сном от укуса аспида: повидимому, по воле Мойр*, он обрел конец, вполне соответствовавший его нравам.

Кнемон, покинув Фермуфида, только тогда передохнул от бега, когда наступившая ночная темнота сковала его движения. Лишь только она его застигла, он спрятался и сгреб вокруг

себя возможно больше листвы. Лежа под ней, Кнемон почти все время страдал без сна, при всяком шуме, порыве ветра, шелесте листа ожидая Фермуфида. Если же его на короткое время одолевал сон, то ему снилось, что он бежит, часто оборачиваясь назад, и высматривает преследователя, которого нигде нет. Он желал заснуть, но молился, чтобы не исполнилось желаемое, так как видел сны еще более тяжкие, чем явь. Кажется, он даже гневался на эту ночь, думая, что она длиннее других.

Когда же, к своему удовольствию, он увидел день, то прежде всего, чтобы не внушать отвращения или подозрения встречным, обрезал свои слишком пышные кудри, которые отпустил, находясь у разбойников, с целью придать себе более разбойничий вид. Ведь разбойники, помимо всего прочего, чтобы казаться страшнее, отращивают волосы до бровей и с гордостью носят их на плечах, хорошо зная, что кудри делают любовников милее, а разбойников страшнее.

21. Обрезав волосы, насколько мирному человеку естественно быть менее лохматым, чем разбойнику, Кнемон поспешил в деревню Хеммис, относительно которой он сговорился с Феагеном.

Уже приближаясь к Нилу и собираясь переправляться в Хеммис, он увидел старого человека, блуждавшего по берегу и совершавшего какой-то долгий бег вдоль течения вверх и вниз, как бы поверяя реке какие-то свои думы. Кудри, отпущенные по гречески, были совсем седые, борода густая, величественно спадавшая, платье и все одеяние выглядели греческими. Кнемон приостановился, а старик часто пробегал мимо, даже повидимому не замечая, что кто-то стоит рядом,—

до такой степени он весь отдался своим заботам, и ум его был занят только своей мыслью. Кнемон пошел к нему навстречу и прежде всего пожелал ему здравствовать. Тот отвечал, что не может, что иное суждено ему.

Кнемон, удивленный, спросил:

— Грек ли ты, чужестранец, или из других мест?

— Не грек и не чужестранец, а здешний египтянин,—был ответ.

— Но откуда у тебя греческая одежда?

— Несчастья, — сказал старик, — переодели меня в это блестящее облачение.

Кнемон удивился, что старик в горестях роскошествует, и пожелал узнать обо всем подробнее.

Старик отвечал:

— От Илиона ведешь ты меня и поднимаешь против себя рой бед с их нестихающим жужжанием. Но куда ты направляешься и откуда, юноша? Каким образом ты — судя по речи, грек—в Египте?

— Чудак.—сказал Кнемон:—не объяснив мне ничего про себя, притом спрошенный раньше, ты хочешь узнать обо мне!

— Итак,—произнес старик,—ты, видимо, грек и облик твой изменила судьба, ты во что бы то ни стало жаждешь услыхать обо мне, а я мучусь родами, готовый кому-нибудь рассказать. Пожалуй, я рассказал бы и этим тростникам,* как говорится в басне, если бы не встретил тебя. Давай удалимся от этих берегов Нила и от самого Нила — ведь не приятно слушать длинные повествования там, где палит полуденное солнце,— и пойдем в деревню, которую ты видишь напро-

тив, если только какое-нибудь настоятельное дело не отвлекает тебя. Я приглашаю тебя не в свой дом, а в дом хорошего человека, который принял меня, умоляющего. У него-то ты узнаешь обо мне, согласно твоему желанию, и откроешь в свою очередь о себе.

— Пойдем,—сказал Кнемон,—ведь и помимо этого я спешу попасть в эту деревню, так как уговорился подождать там своих друзей.

22. Вступив в лодку (последние в большом количестве качались у берега, приготовленные для переправы за плату), они прибывают в деревню и достигают жилища, где остановился старик. Хозяина они не застают дома. Принимают их очень радушно дочь его, уже созревшая для брака, и все бывшие в доме служанки, которые относились к гостю, как к отцу—так, видимо, им приказал господин. Одна мыла его ноги и счищала грязь ниже голени, другая заботилась о ложе и устраивала мягкую постель, третья несла чашу с золой и разводила огонь, четвертая приносила стол, отягченный пшеничным хлебом и разнообразными плодами. Удивленный всем этим, Кнемон говорит:

— Кажется, отец, мы пришли в чертоги Зевса Гостеприимного: с такой охотой нам служат и выказывают великое расположение.

— Не в чертог Зевса, — возразил старик, — а в жилище мужа, добросовестно почитающего Зевса, покровителя странников и просителей. Ведь и сам здешний хозяин, сын мой, ведет жизнь скитальческую, купеческую и на опыте знакомится с многими городами, с нравами и обычаями многих людей.* Поэтому вполне естественно, что он приютил под своей кровлей

многих, в том числе и меня, который еще немного дней тому назад блуждал и скитался.

— А что это за скитание, о котором ты говоришь, отец?

— Детей моих разбойники похитили. Обидчиков я знаю, но помочь себе не в силах. Я кружусь на месте и плачем сопровождаю свою скорбь, как птица, у которой змея опустошает гнездо на ее глазах и лакомится птенцами. Подойти она боится, уйти не решается. Страдание и страх борются в ней. Со щебетаньем летает она вокруг осажденного гнезда, тщетно мольбы и материнские стоны доносятся до сурового слуха, который природа не наделила жалостью.

— Вот как, — прервал его Кнемон.—Может быть, ты пожелаешь рассказать, как и когда ты перенес это тяжкое нападение?

— После, — сказал старец, — а теперь пора подумать и о желудке, который Гомер, имея в виду его свойство отодвигать все на второй план, удивительным образом назвал гибельным.* Сначала, однако, по закону египетских мудрецов, совершим возлияние богам. Желудок не заставит меня пренебречь и этим. Пусть никогда голод не будет столь силен, чтобы заглушить память о божественном начале.

23. С этими словами старик пролил из чаши чистую воду (это было его обычное питье) и произнес:

— Совершим возлияние богам местным и греческим, самому Аполлону Пифийскому, а также Феагену и Хариклии, прекрасным и благим, так как их я тоже причисляю к богам.

При этих словах он заплакал, принося им второе возлияние—свои слезы. Застыл на месте

Кнемон, услыхав эти имена, и, с ног до головы оглянув старца, спросил:

— Что ты говоришь? Разве в самом деле, это твои дети, Феаген и Хариклия?

— Дети, чужестранец,—отвечал тот, — родившиеся у меня без матери. На мое счастье, боги назначили их мне, их породили муки моей души, любовь к ним заменила природу, они меня и признали, и назвали отцом. Но скажи мне, откуда ты их знаешь?

— Не только знаю,—сказал Кнемон,—но сообщаю тебе, что они живы.

— О Аполлон и прочие боги!—вскричал старик,—где они, скажи? Я буду считать тебя спасителем и приравнивать к богам.

— А какая будет мне награда?—спросил Кнемон.

— Пока что,—был ответ,—одна лишь благодарность,—по моему мнению, прекраснейший подарок для человека разумного, и я знаю многих, хранивших в душе этот дар, как сокровище. Когда же мы вступим в родную землю (а боги дают мне понять, что это будет скоро), ты получишь столько богатства, сколько захочешь.

— К неизвестному будущему относятся твои обещания, а между тем возможно вознаградить меня из того, что при тебе.

— Так скажи же, чужестранец, что ты при мне видишь; я готов пожертвовать даже частью своего тела.

— Не надо членовредительства. Я буду считать, что все получил, если ты пожелаешь рассказать о них, кто они такие, от кого родились, как сюда прибыли и какие приключения испытали.

— Ты получишь,—отвечал старец,—награду великую, несравнимую ни с какой иной, даже если бы ты потребовал все человеческие сокровища. Сейчас, однако, отведаем немного пищи, ведь предстоит тебе долго слушать, а мне рассказывать.

Попробовав орехов, смоквы, свежих фиников и других плодов, чем обыкновенно питался старик (он не ел ничего одушевленного), они запили эту пищу водой, а Кнемон и вином. Немного времени спустя, Кнемон говорит:

— Ты знаешь, отец, как Дионис радуется мифам и услаждается комедиями. Теперь, вселившись в меня, он и меня настраивает на слушание и торопит требовать объявленную тобой награду. Пора тебе своим рассказом представить действие, как бы на сцене.

— Так изволь слушать,—сказал старик,— но если бы и честный Навсикл был с нами! Он часто докучал мне просьбами, чтобы я посвятил его в рассказ, но я под разными предлогами от этого уклонялся.

24. — Где же он может быть сейчас? — спросил Кнемон, услыхав знакомое имя Навсикла.

— На охоту отправился он,—сказал старик.

На новый вопрос: — На какую охоту? — старик отвечал:

— За самыми опасными зверьми. Они, правда, называются людьми и волопасами, но ведут разбойничью жизнь, и их очень трудно ловить, так как логовищами и норами служат им болота.

— В чем же он их винит?

— В похищении афинянки, его возлюбленной, которую он зовет Фисбой.

— Увы! — воскликнул Кнемон и сразу замолк, как бы спохватившись.

— Что с тобой? — спросил старик. Чтобы направить его в другую сторону, Кнемон говорит: — Я удивляюсь, как он решился на нападение и на какую силу полагается.

— От имени великого царя, чужестранец, управляет Египтом сатрап Ороондат, а по назначению последнего, начальник гарнизона Митран получил в управление эту деревню. Его-то Навсикл за большие деньги ведет с многочисленной конницей и пехотой. Он раздражен похищением аттической девушки не только потому, что она была его возлюбленной и отличалась в музыкальном искусстве, но и потому, что намеревался, как он сам говорил, отвести ее к эфиопскому царю, чтобы она на греческий лад разделяла игры и общество его супруги. Лишившись ожидаемых за нее громадных денег, он придумывает и пускает в ход всякие средства. Я и сам внушал ему отвагу, нужную для этого предприятия, так как думал, что, быть может, он спасет моих детей.

— Довольно волопасов, сатрапов и самих царей, — перебил его Кнемон. — Чуть было ты не перенес меня на самый конец своего рассказа, введя этот эпизод, не имеющий, как говорится, никакого отношения к Дионису;* так что поверни свою речь обратно к обещанному. Я убедился, что ты, если и не оборачиваешься, подобно Протею фаросскому, принимая обманчивый и преходящий вид,* то все же пытаешься меня провести.

— Ты обо всем узнаешь, — сказал старик, — но сначала я расскажу вкратце о себе не с тем, чтобы, как ты думаешь, хитро уклониться от по-

вествования, но чтобы подготовить стройное и последовательное изложение.

— Мой родной город Мемфис, имя мое — Каласирид, образ жизни — страннический, а прежде, еще недавно — жреческий. Взял я и жену, согласно гражданскому обыкновению, но потерял ее по естественному установлению. После того, как она отошла в иной удел, я некоторое время прожил, не зная несчастий, гордясь двумя родившимися от нее сыновьями, но немного лет спустя предопределенное роком круговращение небесных светил изменило нашу судьбу, и око Кроноса поражает наш дом,* наслав перемену к худшему, которую мудрость мне предсказала, но устранить не позволила. Неотвратимые постановления Мойр предугадать разрешено, избежать не дано. Но есть выгода при таком положении дел и в предвидении, притупляющем остроту горя. В несчастии, сын мой, неожиданное невыносимо, предугаданное же — более терпимо: в одном случае мысль человека, внезапно поддавшись страху, ужасается, а в другом благодаря привычке и рассудку как-то применяется.

25. Случилось же со мною следующее: женщина-фракиянка, в цветущем возрасте, по красоте — вторая после Харикли, появившись, не знаю откуда и как, на горе тех, кто узнал ее, объезжала Египет и уже с шумом вступала в Мемфис, окруженная большой толпой слуг и большим богатством, искушенная во всех любовных приманках. Нельзя было, встретившись с ней, не плениться: такую неизбежную и неодолимую сеть гетеры в своих очах влачила она. Ходила она часто и в храм Исиды, пророком которой

я был, и постоянно умилостивляла богиню жертвами и драгоценными посвящениями.

Стыдно признаться, но все же скажу: и меня покорила она после многих встреч. Победила она выработанное мною в течение всей жизни самообладание. Долго противопоставляя телесным очам очи души, я, наконец, отступил, побежденный, и взвалил на себя любовные муки. Уличив эту женщину в том, что она — начало ожидающих меня предсказанных божеством несчастий, и догадавшись, что через нее разыгрываются предначертания судьбы, что божество, выпавшее мне тогда на долю, прикрылось ею словно личиной, я решил не срамить жреческого сана, сопутствовавшего мне с детства, не осквернять святынь и уделов богов.

За свои прегрешения — не делом (да не будет этого!), но одним лишь пожеланием я наложил на себя подобающее наказание, поставил судьей разум, покарал свою страсть изгнанием и, злосчастный, ушел из родной земли, уступил принуждению со стороны Мойр, предоставляя им поступить с нами, как им угодно, и вместе с тем убегая от ужасной Родопиды, боялся я, что под тяжестью властвовавшей тогда звезды побежденный, совершу постыдные дела.

Но что главным образом вынуждало меня удалиться, это были мои сыновья, о которых неоднократно предсказывала несказанная, дарованная богами мудрость, что они с мечами нападут друг на друга. Отвращая от своих очей столь жесткое зрелище, от которого, полагаю, отвернется и солнце, спрятав за облака свои лучи и избавляя отеческие взоры от нестерпимого для них детоубийства, я выселился из земли

и дома отцов, но никому не открыл своего истинного намерения, предлогом же выставил то, будто отправляюсь в великие Фивы, чтобы повидать одного из своих сыновей—старшего, который в то время жил там у своего деда с материнской стороны. Фиамид было имя ему, чужестранец.

Кнемон опять впал в уныние, как-будто именем Фиамида был поражен его слух. Он, однако, промолчал, имея в виду дальнейшее, а старик продолжал следующим образом:

26. — Я опускаю свое последующее странствование, юноша, так как оно не имеет никакого отношения к твоему вопросу. Узнав, что существуют Дельфы, греческий город, святилище Аполлона, храмовая земля и других богов, мастерская мудрецов, стоящая вдали от шума черни, я отправился туда, считая подходящим убежищем для жреца город, отдавшийся жертвоприношениям и таинствам. Пристав в Кирре, по ту сторону Криссейского залива, я прямо с корабля побежал в город.

Когда я достиг города, до меня дошел поистине божественный голос, город во всех отношениях показался мне местопребыванием избранных людей, особенно благодаря окружающей его природе: совсем как укрепление или естественный акрополь, высится Парнас, лелея город в объятиях своих отрогов.

— Прекрасно,—сказал Кнемон—говоришь ты, как человек, почувствовавший, действительно пифийское вдохновение. Мой отец, когда Афинское государство послало его гиеромнемоном *, тоже рассказывал, что именно таково местоположение Дельфов.

— Так ты афинянин, сын мой?

— Да,—отвечал он.

— А как тебя зовут?

— Кнемон,—сказал он.

— Что же пришлось тебе испытать?

— После услышишь,—был ответ,—а сейчас продолжай.

— Продолжу,—сказал старик.—Итак, вернемся к городу. Надивившись его улицам, площадям, источникам и самому Касталийскому ключу, из которого я окропил себя, я поспешил к храму. Меня окрылила молва народа, говорившего, что наступает час, когда прорицательница впадает в возбуждение. Как только я вступил в храм, склонился и начал про себя молиться, Пифия возгласила следующее:

Ты, что свой след поднимаешь от благоколосного Нила,
Мысля в душе избежать пряжи могучих сестер,
Вытерпи: чернобороздого нивы Египта обратно
Вскоре тебе возвращу; ныне же другом мне будь.

27. После этого вещания, я, припав лицом к алтарям, умолял бога быть ко мне милостивым во всем. Большая, стоявшая кругом толпа восхвалила бога за немедленное пророчество обо мне, а меня прославляла и всячески с тех пор мне угождала. Говорили, что я первый явился к богу, как друг, после некоего спартанца Ликурга*. Согласились, чтобы я, по своему желанию, поселился на священном участке храма, и постановили доставлять мне содержание за счет казны. И вообще ни в каких благах у меня не было недостатка. То я был занят святынями, то присутствовал при многочисленных и разнообразных жертвоприношениях, которые ежедневно,

угождая богам, совершают там чужестранцы и местное население, то беседовал с философами. Такая жизнь кипит вокруг храма Пифийского бога, и, вполне естественно, музы обитают в городе, вдохновляемом богом, их предводителем.

Сначала у нас возникали то одни, то другие вопросы: один спрашивал, как мы, египтяне, почитаем чужеземных богов, другой осведомлялся, почему в разных местах обожествляются разные животные и какое о каждом из них сказание. Один желал узнать о строении пирамид, другой о блуждании по сирингам.* Словом, ничего, что касается Египта, в своих расспросах не пропустили они: ведь всякий египетский слух и рассказ чрезвычайно чаруют уши грека.

28. Наконец, один из образованных людей задал вопрос о Ниле, каковы его источники, в чем по сравнению с другими реками особенность его природы, почему только он из всех рек в летнюю пору полноводен. Я сообщил, что знал и что записано об этой реке в священных книгах, которые можно изучать и читать одним только пророкам. Изложил, как он берет начало с вершин Эфиопии, на окраине Ливии, там, где восточный склон кончается и дает начало югу. Разливается же в летнюю пору Нил не потому, как думают некоторые, чтобы его задерживали дующие навстречу пассаты, а потому, что эти ветры ко времени летнего солнцестояния двигают и толкают с севера на юг все облака, пока не примчат их в знойный пояс, где их дальнейшее движение задерживается, и, вследствие избытка огня в этих областях, вся прежде понемногу собравшаяся и сгустившаяся влага испаряется. Поэтому разражаются обильные дожди. Нил гне-

вается и уже не хочет быть рекой, но выходит из берегов и, затопив Египет, на своем пути возделывает пашни.

Вот почему испить его — чрезвычайно сладостно; ведь он пополняется небесными дождями и рукой коснуться его — необычайно радостно: он уже не горячий, как в тех местах, откуда получил начало, но еще теплый, начиная отсюда. По этой причине он — единственная из рек, не дающая испарений, которые, естественно, были бы, если бы Нил становился полноводным от таяния снегов, как это утверждали, по моим сведениям, некоторые прославленные греки.

29. В то время как я обо всем этом рассказывал, жрец Аполлона Пифийского, очень хорошо мне знакомый, — Харикл было его имя — сказал.

— Превосходно говоришь ты, и к этому мнению присоединяюсь и я, так как такие же сведения получил я и от жрецов Нила в Катадупах.

— Разве туда, Харикл, ты ходил? — говорю я.

— Ходил, — отвечает он, — мудрый Каласирид.

— Какая нужда заставила тебя? — снова спросил я.

— Несчастье в доме, — сказал он, — которое стало для меня причиной счастья.

Я удивился необычайности его ответа.

— Ты не будешь удивляться происшедшему, — продолжал он, — если узнаешь, как это случилось. А узнаешь ты, когда захочешь.

— Значит, — говорю я, — пора тебе рассказать, так как я этого хочу немедленно.

— Слушай же, — сказал Харикл, удалив прочих. — Имея в виду и свою пользу, я давно желал, чтобы ты выслушал об этом. Я вступил в

брак, но детей у меня не было. Поздно, в старческом возрасте, после долгих молитв богу, я стал отцом дочери, но бог предсказал мне, что это не к добру мне. Она достигла возраста невесты, и я выдал ее замуж за того из сватавшихся (их было много), который казался мне получше. Но в ту же ночь, как она осталась наедине с женихом, она, злосчастная, погибла, потому что в спальню ворвался огонь не то от молнии, не то от человеческих рук. И свадебная песнь, не оконченная, сменилась надгробным причитанием, из брачного чертога проводили ее к могиле, и факелами, сиявшими брачным светом, зажгли погребальный костер. Вдобавок к этой трагедии божество разыгрывает и другое горе: отнимает у меня мать моей дочери, всецело отдавшуюся скорби. Не в силах вынести посланного богом бедствия, но веря богословам, что лишать себя жизни нечестиво, я остался жить, но расстался с родиной и бежал из опустелого дома. Сильно способствует забвению бедствий смутное душевное воспоминание, уже не поддерживаемое зрением. Я скитался по многим местам, пришел в твой Египет и в самые Катадупы, чтобы познакомиться с Нильскими порогами.

30. Объяснение моего прибытия туда ты уже получил, друг мой, а вот и то побочное обстоятельство, о котором я хотел тебе сообщить — по правде сказать, в нем вся суть: в то время как я ходил по городу на досуге и покупал кое какие вещи, редкие у греков (я уже готовился возвратиться на родину, так как время ослабило горе), ко мне подошел человек, внушающий уважение своим видом; его взоры светились умом, он едва

вышел из юношеского возраста и был совершенно черного цвета Он приветствовал меня и, не совсем твердо объясняясь по-гречески, сказал, что хочет сообщить мне что-то наедине. Я с готовностью согласился, и вот он, введя меня в ближайший храм, говорит:

— Я видел, как ты покупал индийские, эфиопские и египетские листья и коренья. Я готов доставить тебе безупречные и неподдельные, если ты желаешь их купить.

— Желаю,—сказал я,—покажи.

— Смотри,—говорит он,—да не скупись при покупке.

— За себя поручись,—возразил я,—что не будешь жадным при продаже.

Он вынул из-за пазухи сумочку и начал показывать необыкновенные драгоценные камни: там были жемчужины, величиной с маленький орех, правильно закруглявшиеся и яркой белизной отличавшиеся; смарагды и гиацинты—первые зеленели, как весенний хлеб на поле, отливали ровным оливковым цветом, вторые подражали прибрежной морской воде, когда она слегка рябится под глубоко сидящей скалой и окрашивает дно в фиалковый цвет. От всех камней получалось смешанное, разнообразное сверкание, радовавшее очи.

При виде всего этого я сказал:

— Других покупателей надо тебе искать, чужестранец. Что касается меня и моего имущества, то едва ли оно окажется равноценным, даже одному из тех камней, которые я вижу.

— Но если ты не в состоянии купить их,—возразил он,—то, по крайней мере, в состоянии получить в подарок.

— Я вполне способен получить подарок,—го-

ворю я,—однако, не понимаю, для чего ты шутишь со мной.

— Я не шучу,—сказал он,—я говорю вполне серьезно и клянусь тебе здешним богом, что все отдам, если, сверх этого, ты пожелаешь принять и другой дар, гораздо более ценный.

Тут я рассмеялся, а на его вопрос о причине моего смеха, отвечал:

—Смешно, если ты, обещая такие дары, сверх того сулишь и награду, на много превосходящую самые дары.

— Ты мне верь,—сказал он,—но и сам поклянись в том, что используешь подарок наилучшим образом, именно так, как я тебе укажу.

Я удивился, недоумевал, но все же поклялся, ожидая сокровищ. После того, как я дал требуемую клятву, он ведет меня к себе и показывает девушку неизъяснимой, божественной красоты. По его словам ей было семь лет, мне же казалось, что она приближается к возрасту невесты: так преизбыток красоты придает больший на вид рост. Я стоял в изумлении, не понимая происходящего и ненасытно созерцая представшую, а он повел такие речи:

31.—Девушку, которую ты видишь, чужестранец, мать бросила в пеленках, предоставив превратностям судьбы по причине, которую узнаешь немного позже, а я случайно нашел и взял, так как нельзя было мне оставить в опасности душу, уже воплотившуюся в человеке: ведь в этом заключается одно из предписаний наших гимнософистов*, слушателем которых незадолго до того я удостоился быть. К тому же у младенца горел яркий божественный свет в очах. Когда я осматривал его, он ясно и нежно взирал на меня.

При девочке было ожерелье из камней, которое я только-что тебе показывал, и лента, вытканная из шелка, с вышитыми на ней местными письменами и повествованием о девочке. Мать, думается мне, позаботилась ради дочери об этих знаках и приметах. Прочитав письмена и узнав, откуда она и чья, я увез ее в усадьбу, далеко отстоявшую от города, передал на воспитание своим пастухам и наказал никому о ней не говорить. Бывшие при ней предметы я удержал при себе, чтобы они не навлекли на девушку чьих-либо козней. На первых порах так она была укрыта. Когда же с течением времени начал обнаруживаться необыкновенный расцвет подраставшей девочки (красоту нельзя скрыть, даже спрятав ее под землей: она и оттуда мне кажется засияла бы), то я, боясь, что о ней узнают и погибнет и сама она, да и я испытаю какую-нибудь неприятность, добился, чтобы меня отправили послом к египетскому сатрапу. Я прибываю, везя ее с собой и намереваясь устроить ее судьбу. С сатрапом я немедленно начну переговоры, ради которых прибыл,—заняться этим у нас назначено на сегодня—тебе же и богам, так распорядившимся, я вручаю девочку с тем, чтобы на основании бывшего у нас клятвенного договора, ты обращался с ней, как со свободнорожденной*, выдал ее замуж за свободнорожденного—на этих условиях ты получаешь ее от меня, а вернее от бросившей ее матери. Верю, что ты будешь соблюдать наше соглашение: я полагаюсь на клятву и, кроме того, в течение многих дней, которые ты здесь провел, я убедился, что у тебя подлинно греческий образ мыслей.

32. Вот что я мог тебе сегодня рассказать вкратце, так как меня отзывают дела по посольству. Яснее и полнее ты будешь посвящен в судьбу девушки завтра, встретившись со мною у храма Исиды.

Так я и сделал, взял девочку и, закутав, повел к себе. В тот день я ухаживал за ней, сильно радуясь и воздавая богам великую благодарность, и с тех пор дочерью я признал ее и назвал. На следующий день, на заре, с большой поспешностью я устремился к храму Исиды, как было условлено с чужеземцем. Долго прогуливался я там, но он нигде не появлялся. Тогда я отправляюсь во дворец сатрапа и спрашиваю, не видал ли кто-нибудь эфиопского посла. Кто-то объяснил мне, что он удалился, а вернее изгнан, так как сатрап пригрозил ему смертью, если до захода солнца он не покинет пределов страны. На мой вопрос о причине изгнания собеседник отвечал:

— За то, что он потребовал уступки смарагдовых россыпей, как принадлежащих Эфиопии.

Я вернулся в очень неприятном настроении, подобно человеку, испытавшему тяжкий удар, так как мне не удалось услыхать о девушке, кто она, откуда и чья.

— Не удивительно,—сказал Кнемон,—ведь и мне досадно, что я не услыхал об этом. Может быть, однако, еще услышу.

—Услышишь,—говорит Каласирид,—а теперь я расскажу, как затем поступил Харикл.

33. Когда, — продолжал он, — я пришел домой, девочка встретила меня. Она ничего не говорила, так как еще не знала греческого языка, но приветствовала движением руки и уже одним

своим видом развеселила меня. Я удивился, что, подобно хорошим, благородным щенятам, которые ласкаются ко всякому, хотя бы немного знакомому человеку, она тоже горячо чувствовала мое расположение и относилась ко мне, как к отцу. Я решил не задерживаться в Катадупах, чтобы зависть божества не лишила меня и второй дочери, и, спустившись по Нилу к морю, попал на корабль и отплыл домой. Теперь девушка здесь со мной. Она—моя дочь и носит мое имя: она—якорь моей жизни. Не оставляет она желать ничего лучшего: так быстро усвоила она греческий язык, и быстро, подобно хорошо растущим побегам, достигла расцвета. Красотой телесной до того превосходит она всех женщин, что все греческие и варварские очи несутся к ней, и, где бы ни появилась, в храмах, на улицах или площадях, она подобно первообразу статуи обращает на себя все взоры и помыслы.

Но при всем том она причиняет мне мучительную скорбь. Отвергает она брак и упорно желает остаться всю жизнь девой. Отдавшись Артемиде, как храмовая прислужница, бо̀льшую часть времени она предается охоте и упражняется в стрельбе из лука. Моя жизнь невыносима: я надеялся выдать ее замуж за сына своей сестры, очень милого юношу, приятного в разговоре, с прекрасным характером, но это не удалось из-за такого ее сурового решения. Ни ласками, ни обещаниями, ни разумными доводами не мог я склонить ее, и, что тяжелее всего, она воспользовалась против меня, как говорится, моими же перьями*, и то многообразное искусство речи, которому я ее научил, чтобы подготовить к выбору наилучшей жизни, она применяет для вос-

хваления девственности, сближая ее с блаженством бессмертных, называя ее незапятнанной, неповрежденной, неиспорченной и понося Эротов, Афродиту и весь брачный сонм.

Я призываю тебя на помощь, вот ради этого-то мне и понадобился длинный рассказ, когда представился к тому удобный случай и сам собой нашелся повод. Сделай милость, добрый Каласирид. Воздействуй на нее египетской мудростью и чарами, словом или делом убеди ее познать свою природу, вспомнить, что она родилась женщиной. При желании дело будет для тебя легким. Она не чуждается разговоров с мужчинами, большую часть своего девичества провела в их обществе. Живет она здесь, в одном с тобой жилище, я хочу сказать — внутри священной ограды, близ храма. Не презри моей мольбы, не допускай, ради самого Аполлона и богов твоей страны, чтобы я, бездетный, безутешный, лишенный наследников, проводил тяжелую старость.

Я прослезился, Кнемон, при этих словах, да и он не без слез высказал свою мольбу. Я обещал сделать, что возможно.

34. Мы были еще заняты всем этим, когда кто-то прибежал и объявил, что возглавляющий священное посольство эниансв уже давно ожидает у дверей, приглашает жреца явиться и приступить к жертвоприношениям. Я спросил Харикла, кто такие энианы, что это за священное посольство и жертвоприношение, которое они совершают.

— Энианы, — сказал он, — самое благородное племя Фессалийской области и притом подлинно греческое, происходящее от Эллина, сына Девкалиона; они тянутся вдоль Малийского залива,

гордятся своим главным городом Гипатой, названной так, как сами они утверждают, потому, что он начальствует и властвует над прочими, а по мнению других, потому, что стоит под горой Этой *. Жертвоприношение это и посольство раз в четырехлетие, в годы пифийских игр (а они именно сейчас, как ты знаешь, и происходят), энианы отправляют в честь Неоптолема, сына Ахилла. Как-раз здесь он был коварно убит Орестом, сыном Агамемнона, у самых алтарей Пифийского бога. Нынешнее же посольство затмевает все прежде бывшие, так как глава его гордится тем, что происходит от Ахилла.

Я случайно встретился вчера с этим юношей, и он действительно показался мне достойным потомком Ахилла: такова его наружность и столь высок рост, что своим видом он подтверждает свое происхождение.

Я удивился и осведомился, на каком основании, принадлежа к племени энианов, он провозглашает себя потомком Ахилла—ведь поэма египтянина Гомера изображает Ахилла фтиотийцем.

— Юноша,— отвечал Харикл,— решительно настаивает на том, что этот герой был энианином, утверждая, что Фетида вышла из Малийского залива, когда вступала в брак с Пелеем, что Фтией называлась некогда вся область вокруг залива, что те, другие, ради славы этого человека неправильно присвоили его себе. И с другой стороны он причисляет себя к Эакидам, называя своим предком Менесфия, сына Сперхея и Полидоры, рожденной Пелеем, того Менесфия, который среди первых выступил в поход против Илиона вместе с Ахиллом и благо-

даря родству с ним начальствовал над первым отрядом мирмидонян. Всячески привлекая к себе Ахилла и всецело присваивая его энианам, он приводит в доказательство сверх всего прочего еще и посылаемую Неоптолему жертву, которую, как он говорит, все фессалийцы уступили энианам, тем самым свидетельствуя, что энианы ближе к нему по крови.

— Не будем с ними спорить, Харикл,— говорю я,— согласимся, в угоду им, даже сами признать это истиной. Вели, однако, призвать главаря посольства, так как я вне себя от стремления увидать его.

35. Харикл кивнул головой, и вошел юноша, действительно дышащий Ахиллом, напоминавший его взором и мужественным видом.

Стройная шея, кудри, высоко над челом поднимающиеся, нос, обнаруживающий запальчивость, ноздри, свободно вдыхающие воздух. Очи не просто сверкающие голубые, но вдобавок темнеющие синевой, взгляд их надменный и вместе с тем не чуждый неги, как море, на котором только-что, после волнения, наступила тишь.

Он приветствовал нас обычным образом, получил ответное приветствие и сказал, что пора начать жертвоприношение, чтобы можно было совершить затем в должное время и заклание в честь героя и шествие к нему.

— Пусть будет так,— сказал Харикл, встал и обратился ко мне:

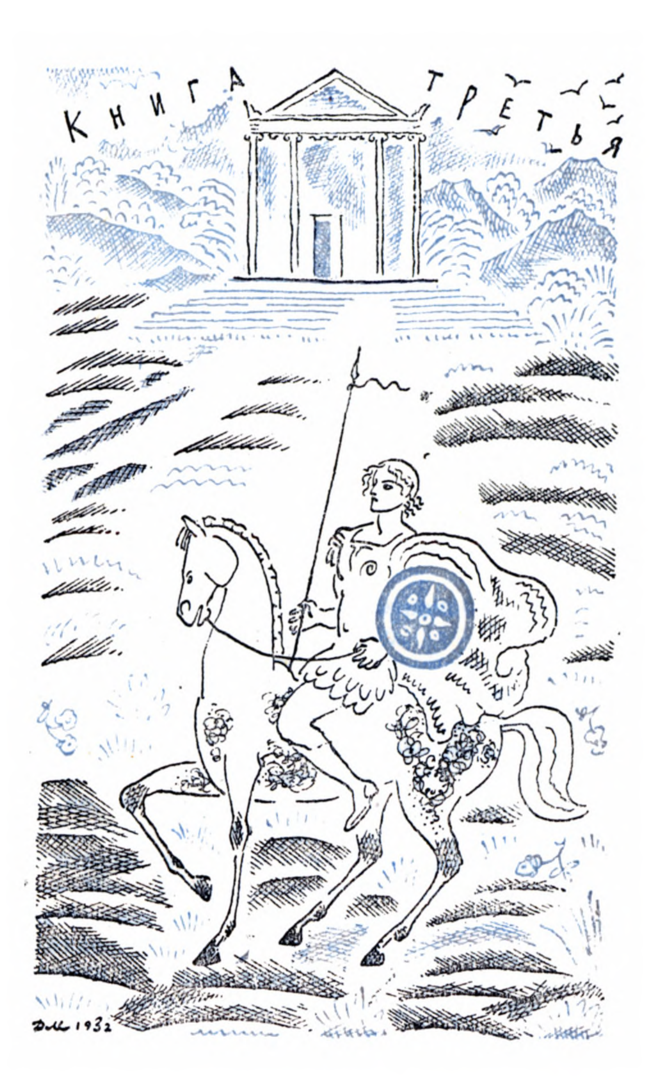
— Ты увидишь сегодня и Хариклию, если не видал ее раньше. По обычаю предков храмовая прислужница Артемиды тоже участвует в шествии и закланиях в честь Неоптолема.

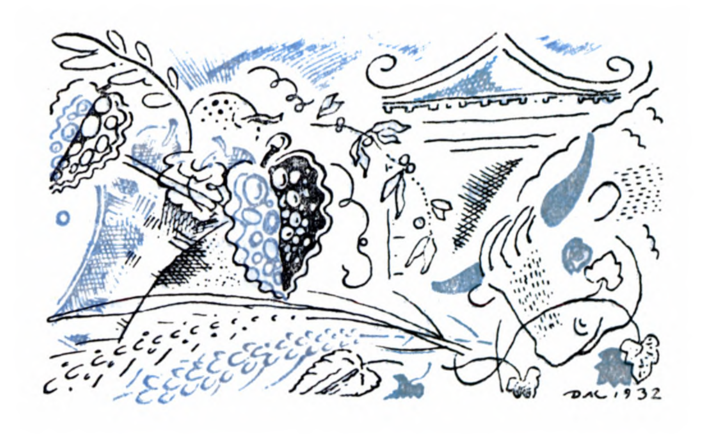
— Я же, Кнемон, уже несколько раз видел девушку, она принимала участие в жертвоприношениях и расспрашивала меня при случае о священных сказаниях. Все же я промолчал, выжидая, что будет.

Мы направились к храму. Все было уже приготовлено у фессалийцев для жертвоприношения. Когда мы подошли к алтарям и юноша после предварительной молитвы жреца уже приступил к жертвам, Пифия из святилища возглашает следующее:

Ту назовите мне, Дельфы,что с прелестью славу имеет;
Вспомните с нею того, кто был богиней рожден.
Храм мой покинув и бурного моря пучины прорезав,
В черную землю придут, жаркого солнца удел.
Здесь-то награду великую доблестно живших обрящут:
Темное знавший чело, белый прекрасный венец*.

Так вещал бог, и всех присутствующих объяло великое недоумение: они не могли понять, что означает это изречение. Один видел в нем одно, другой — другое, каждый толковал предсказание сообразно своему желанию, и никто еще не постигал истины. Об оракулах и снах по большей части судят на основании того, как они исполнятся. К тому же дельфийцы, с увлечением спешившие к шествию, пышно обставленному, не заботились о точном смысле предвещания.


КНИГА ТРЕТЬЯ
ДМ 1932



1. Когда же шествие и заупокойное жертвоприношение были закончены...

— Однако, отец мой, они еще не закончены,— прервал Каласирида Кнемон,—ведь мне-то твой рассказ еще не позволил стать зрителем. Я совершенно захвачен твоим повествованием и с нетерпением желаю сам взглянуть на это празднество, а ты проходишь мимо, словно я, по пословице, пришел уже после праздника.* Ты приоткрыл театр и сейчас же его запираешь.

— Мне, Кнемон,—отвечал Каласирид,—всего менее хотелось бы докучать тебе этими, не относящимися к делу, подробностями, я спешу перейти к самой сути и ответить на заданный тобою вначале вопрос. Но, раз уж ты выразил желание стать зрителем этого представления, начиная с первого выступления хора,—

что лишний раз обнаружило твое аттическое происхождение, – то я расскажу тебе вкратце об этом славном шествии и ради него самого и ради его последствий.

Гекатомбе предшествовали посвященные в таинство мужи, в простых уборах, обличавших их строгий образ жизни. У каждого белый хитон был подпоясан веревкой, а правая рука, обнаженная, как и плечо и грудь, потрясала двуострой секирой. Быки, все черные, шею вздымали и легким изгибом ее возвышали, рога простые, неискривленные, заостряли. У одних рога позолочены, у других цветами увенчаны, голени впалые, головы низко опущены к коленям. А числом их как-раз сто, поистине осуществлялось название «гекатомба». * За ними следовало множество других жертвенных животных: их вели, отдельно каждую пару, в строгом порядке. На флейте и на свирели звучала песнь таинств, возвещавшая начало жертвоприношения.

2. Эти стада и мужей, погонщиков быков, встретили девы фессалийские, прекрасно опоясанные, низкоподпоясанные, с волосами распущенными. Они разделились на два хоровода. Одни несли корзины—это был первый хоровод,—полные цветов и плодов; другие, неся в кошницах жертвенные яства и благовония, благоуханием наполняли все вокруг. Руки их оставались свободными: ношу несли девы на головах, а руками держались; сплетаясь в хороводе то прямо, то вкось, они могли и шествовать и плясать. Вступление к пляске исполнял другой хор. Ему было поручено полностью все песнопение. В этом песнопении восхвалялась Фетида с Пе-

леем, затем их сын и, наконец, внук*. После этих дев, Кнемон...

— Как так Кнемон,—воскликнул Кнемон,— ты опять лишаешь меня величайшего удовольствия, отец мой: ты не передаешь мне самого песнопения; словно зрителю только позволил ты мне присутствовать на этом шествии, но не как слушателю.

— Так слушай же,—сказал Каласирид,—раз уж тебе так любо. Песнопение было примерно в таком роде:

Славу Фетиде пою, злату Фетиды волос.
Девы бессмертной отец моря владыка Нерей.
Волею Зевса, супруг был ей могучий Пелей.
В ней украшенье пучин и Афродита для нас.
Ею когда-то рожден, браней Ареем кто стал,
Кто над Элладою всей, словно Перун, возблистал:
Дивный Ахилл, до небес коего слава растет.
Пиррою Неоптолем в древний рожден его род,
Верный Данайцев оплот, Трои сынов он сражал.
К нашим молениям будь милостив, Неоптолем!
Благостно ты опочил ныне в Пифийской земле,
Так восприми же хвалу, песен торжественный глас.
Страхи от стен отгони нашего града навек.
Славу Фетиде пою, злату Фетиды волос.

3. — Так вот, Кнемон, песнопение было составлено примерно так, насколько могу припомнить. Столь складно было пение хора, так ритмически совпадал с напевом звук поступи, что глаза, пренебрегая зрелищем, были пленены слушанием. Все присутствующие, словно увлекаемые отзвуками песнопения, сами следовали за движениями дев. Наконец, показался сзади верховой отряд эфебов, во главе с их началь-

ником, и явил прекрасное зрелище, лучше всяких песен. Эфебов было числом до пятидесяти, они разделились на два отряда, по двадцати пяти человек в каждом, составляя свиту начальника священного посольства, который ехал посредине. Их обувь была стянута выше щиколодки ремнем, перевитым пурпуром. Белый плащ скрепляла на груди золотая застежка, кайма синего цвета шла по краям плаща. Взоры коней их—фессалийских всех до единого *—веяли привольем тамошних равнин: на узду, как на господина своего, они роптали и грызли ее, обдавая пеной, однако повиновались намерениям седока. Бляхами и налобниками, серебряными и позолоченными, убраны кони, словно состязались эфебы красотой этих уборов. Но, Кнемон, несмотря на весь блеск эфебов и их коней, взор всех присутствующих, минуя их без внимания, обращался к главарю эфебов (это был Феаген, предмет моих забот)—и все предшествующее великолепие, казалось, затмевалось им, как молнией,—так ослепил нас блеск Феагена: он тоже был на коне, в тяжелом вооружении и потрясал ясеневым копьем с медным наконечником. Шлема на нем не было, и с обнаженной головой участвовал он в шествии, в пурпурном плаще, всюду испещренном золотом, представлявшим борьбу лапифов с кентаврами. * Его застежка, из сплава серебра с золотом, была в виде Афины, покрывающей свой панцырь, словно щитом, головою Горгоны.

Еще более прелести придавало всему происходящему ласковое дуновение ветра, который слегка веял, мягко касаясь волос на шее, отстраняя кудри с чела Феагена и бросая складки

плаща на спину и бока коня. Ты бы сказал, что и сам конь соответствовал красоте господина и будто чувствовал, что красиво несет столь красивого своего наездника: так изгибал он шею, вздымая голову, прядал ушами, величественно поводил очами и горделиво стремился вперед, неся на себе Феагена. Легко повинуясь узде, конь немного покачивался вбок, слегка ударяя в землю краем копыта, и поступь его ритмически отвечала покойному движению шествия.

Такое зрелище поразило всех, и все присудили победную награду этому юноше. Уже женщины из народа, не в силах с собой совладать и скрыть свое душевное волнение, стали бросать ему навстречу цветы и плоды, думая привлечь этим его благосклонность. И у всех взяло верх это единое решение: не бывало меж людей ничего, что превосходило бы Феагена красотой.

4. «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос»,—сказал бы Гомер, когда покинула храм Артемиды прекрасная и мудрая Хариклия, и мы поняли, что даже Феаген все же может быть превзойден, но превзойден лишь тем, что непорочная женская красота привлекательнее для мужчин, чем юношеская. Хариклия приблизилась в колеснице, везомая запряжкой белых быков. Ее пурпурное, доходящее до пят одеяние было заткано всюду золотыми лучами, на грудь наброшен пояс, на который художник расточил все свое искусство—никогда до того не случалось ему выковать ничего столь прекрасного, да и впредь не мог он этого сделать. Он скрепил хвосты двух змей за их спиною, а шеи змеиные свились друг с другом под

грудью, образуя запутанный клубок, откуда показываются лишь головы змеиные, свешивающиеся по бокам, как некий придаток к этому узлу. Ты сказал бы, что змеи эти не только кажутся ползущими, но действительно ползут. И очи их грозной суровостью не страшат, но влажный сон источают, словно задремали они от сладкой тоски на груди девичьей. Змеи эти сделаны из золота, но окраска их—синяя, так как золото искусно было почернено, чтобы смешением золотистого с черным передать шероховатую изменчивость чешуи. Вот какой был пояс у девы.

Волосы ее не были ни вполне заплетены, ни распущены, но большая их часть волной ниспадала с затылка на плечи и спину, а на макушке и у чела нежные побеги лавра венчали их, открывая подобное розам и светлое, как солнце, лицо девушки и не позволяя ветру более, чем должно, шевелить ее кудрями.

В левой руке Хариклия держала лук золоченый, за правым ее плечом висел колчан, другой рукой она держала зажженный светильник. Но и в таком виде сияние исходило более от ее очей, чем от факела.

— Так вот они, Хариклия и Феаген!—воскликнул Кнемон.

— Где, где они, укажи, ради богов?—с мольбой обратился Каласирид, думая, что Кнемон их видит.

А тот в ответ:

— Отец мой, мне почудилось, будто они здесь предо мной, хотя их и нет—так ярко показал мне твой рассказ тех, кого я знаю и видел.

— Не знаю,—возразил Каласирид,—видал ли

ты их такими, какими созерцали их в тот день Греция и солнце: взоры всех были обращены на них, все их прославляли. Она возбуждала желания мужчин, он—женщин. Сочетаться с одним из них—считалось равным бессмертию. Кроме того, Феагеном восхищались преимущественно местные жители, девушкой же—фессалийцы: кто что впервые видит, тем пленяется больше, потому что необычайное зрелище скорее поражает, чем привычное.

Но—о, приятный обман, о сладкая мысль!— как окрылил ты меня, Кнемон, когда мне показалось, будто ты видишь тех, кто для меня всего дороже, будто бы указываешь на них. Ты ввел меня, повидимому, в полнейшее заблуждение: в начале нашей беседы ты поручился, что они придут, и мы их увидим, затем ты вытребовал вознаграждение—рассказ о Феагене и Хариклии—но вот уже вечер, а их нет нигде, и ты не можешь их указать.

Кнемон в ответ: —Мужайся, соберись с духом, так как они действительно придут сюда. А теперь, быть может, им что-нибудь помешало, и они прибудут позже, чем было условлено. Впрочем, даже если бы они были уже здесь, я не указал бы их тебе, пока не получу от тебя всего вознаграждения полностью. Стало быть, если ты спешишь их увидеть, исполни свое обещание и доведи твой рассказ до конца.

— Я,—ответил Каласирид,—не решаюсь и сам вспомнить столь горестное событие, да и тебе не хотел надоесть: ты уже насытился моей говорливостью. Но раз уж ты оказался таким внимательным слушателем, ненасытным к рассказам о прекрасном, то давай продолжим

нашу беседу с того места, где мы остановились. Однако, сперва зажжем светильник и совершим возлияние ночным богам, чтобы, исполнив все обычаи, мы могли бы спокойно провести эту ночь в беседе.

5. Вот что сказал Каласирид. По приказанию старца служанка принесла зажженный светильник. Каласирид совершил возлияние, призывая богов, в особенности Гермеса, и моля послать ночью благие сны, чтобы увидеть во сне тех, кто ему всего дороже. По окончании молитв Каласирид продолжал свой рассказ:

— После того, как шествие, Кнемон, обогнуло гробницу Неоптолема и в третий раз на конях проскакали эфебы, вдруг подняли вопль женщины, клич—мужчины. Тогда, словно по уговору, стали закалывать быков, баранов и коз, точно единая рука наносила им всем смертельные удары. Огромный жертвенник был обременен несчетным количеством дров. На него возложили, как водится, лучшие части жертвенных животных и стали просить, чтобы пифийский жрец начал возлияние и поджег жертвенник. Харикл отвечал, что возлияние подобает совершить ему, но жертвенник пусть подожжет главарь священного посольства, взяв факел у храмовой прислужницы. Отеческий закон предписывает именно такое обыкновение. Сказав это, Харикл совершил возлияние, а Феаген взял в руки факел.

Тогда, дорогой Кнемон, на деле мы поняли, что душа божественна и сродни вышнему. Едва лишь взглянули друг на друга Феаген и Хариклия, души их сразу познали свое сходство и устремились навстречу, как к достойному

друг другу и сродному. В первое мгновение они остановились внезапно пораженные. Все же она протянула ему факел, и он принял его из ее рук. Очи их неподвижно впились друг в друга, словно они старались припомнить, не видели ли они где-нибудь друг друга и не знавали ли ранее. Затем они слегка улыбнулись украдкой: только взор их обличал улыбку. Потом, словно устыдившись происшедшего, они покраснели. И вдруг—думается, страсть проникла уже в их сердца—они побледнели. Словом, в несколько мгновений выражение лица их изменялось тысячу раз, цвет лица и взоры колебались, обличая душевное потрясение.

Но все это, естественно, не было замечено большинством, так как каждый был занят своими заботами и думами. Даже Харикл не заметил—он возносил отечественное моление и совершал призывание. Только я один имел возможность наблюдать молодых людей: ведь с того времени, Кнемон, как оракул прорек в храме о Феагене, приносящем жертву, этим речением я был подвигнут задумываться над будущим. Однако, до тех пор я еще ничего в точности не мог предположить относительно дальнейших вещаний оракула.

6. С некоторым запозданием и словно насильно отторгнутый от девы, Феаген приблизился к жертвеннику и зажег хворост. Окончился торжественный праздник, фессалийцы обратились к пиршествам, а остальной люд разошелся по домам.

Хариклия, облаченная в белое одеяние, с немногими домашними направилась к своему жилищу, находившемуся в ограде храма. Она

не жила вместе со своим мнимым отцом: от всех она старалась удалиться ради священной чистоты.

Все, что я видел и слышал, возбудило мое любопытство; нарочно попался я навстречу Хариклу.

— Видал ты,—спросил он,—мою гордость и славу Дельфов, Хариклию?

— Да, и не теперь впервые,—отвечал я,— и раньше часто встречал я ее в храме и не только, как говорится, мимоходом: она нередко совершала вместе со мною жертвоприношение, задавала вопросы, если что ее затрудняло в божественных и человеческих делах, училась у меня.

— Какой же она тебе показалась сегодня, друг мой, не украсила ли она отчасти это торжество?

— Помилосердствуй,—воскликнул я,—Харикл! Ведь это все равно, что спросить, затмевает ли луна остальные светила.

— Однако, кое-кто хвалил,—возразил он,— и фессалийского юношу.

— Да,—промолвил я,—но ему уделяют лишь второе или даже третье место, поистине признавая твою дочь венцом и оком шествия.

Хариклу были приятны эти слова (да и я, говоря, впрочем, лишь истину, тем не менее достигал желаемой цели: войти в его доверие).

Улыбнувшись Харикл сказал: — Я сейчас иду к ней. Если тебе угодно, пойдем взглянуть, не расстроена ли она шумною толпою.

Я с радостью согласился, высказывая тем Хариклу, что его дела для меня важнее всяких других.

7. Придя в жилище Харикла, мы застали ее томящейся на ложе, и очи ее были омочены любовью.

Она обняла отца, как обычно, и на его вопрос, что с ней, сослалась на головную боль, говоря, что с удовольствием осталась бы в одиночестве, если это возможно.

При этих ее словах обеспокоенный Харикл вместе со мной покинул комнату, велев служанке соблюдать тишину.

Отойдя от дома, он обратился ко мне:

— Что это такое, дорогой Каласирид, что за болезнь напала на мою дочку?

— Не удивляйся,—ответил я,—если среди столь многолюдного шествия ее сглазили.

— Как,—воскликнул Харикл с насмешливой улыбкой,—и ты, как простой люд, веришь в дурной глаз?

— Да,—отвечал я,—как и вообще во все то, что истинно. Ведь вот в чем дело: этот окружающий нас воздух проникает вглубь нас через глаза, ноздри, дыхание и другими путями. Вместе с собой он вносит и внешние свойства, и каким он был во время притока, такие состояния и вызывает он в тех, к кому попадает. Стало быть, когда кто с завистью взирает на красоту, он наполняет окружающий воздух этим дурным свойством и источает на ближних свое дыхание, полное горечи. Оно очень тонко и поэтому проникает до самого мозга костей. Для многих болезнью становится зависть, которой особое имя: дурной глаз. К тому же, Харикл, обрати внимание еще вот на что: сколько людей заразилось глазными болезнями или чумой, вовсе не прикасаясь к больным, удаляясь от их ложа

и от стола и только подышав с ними одним и тем же воздухом.

Я могу это тебе подтвердить, если не чем-нибудь иным, так возникновением любовной страсти: ее возникновение обязано видимым предметам, и, словно поветрие, через очи вызывает она в душе страсть. Да это и очень естественно, ведь зрение - самое подвижное и пылкое из наших чувств. Оно наиболее восприимчиво к внешним впечатлениям и своим воспламененным дыханием привлекает приступы любви.

8. Если, для примера, надо тебе привести действительный случай, записанный в наших священных книгах о животных, так вот он: Харадрий исцеляет страдающих желтухой. Если больной этой болезнью взглянет на эту птицу, она убегает, отвратив свой взор, с закрытыми глазами, не потому, как думают некоторые, будто бы она отказывает в своей помощи, но оттого, что, увидав такого больного, она естественно притягивает к себе его болезнь. Вот почему она избегает взгляда, как удара.

Ты, может быть, слышал о змее, называемом василиском, который одним своим дыханием и взглядом сушит и губит все, что ему попадается. Поэтому не надо удивляться, если случается людям сглазить тех, кто им всего дороже и кому они желают лишь добра: природа вызывает в них зависть, и они творят не то, чего желают, а то, что свойственно их природе.

9. Немного помедлив, Харикл отвечал:—Ты очень мудро и убедительно разрешил спорный вопрос. О если бы и Хариклия почувствовала когда-нибудь страстную тоску любви! Тогда

я считал бы ее здоровой, а не больной. Но ты знаешь, что для этого-то я тебя и призвал: сейчас нельзя опасаться, чтобы эта мужененавистница и любви противница испытывала страсть. Вероятно, ее поистине сглазили. Я не сомневаюсь, что ты ее исцелишь, раз ты мне друг и так мудр во всем.

Я обещал Хариклу помочь по мере сил его дочери, если замечу ее страдание.

10. Мы еще обсуждали этот вопрос, как вдруг к нам с поспешностью подбежал кто-то и воскликнул:—Вы, друзья мои, так медлите, словно вас позвали не на пиршество, а на битву или войну. Это празднество устраивает красивейший Феаген, а покровительствует ему величайший из героев—Неоптолем. Идите скорее. Не заставляйте откладывать пир на вечер: вас только одних недостает там.

И вот, Харикл шепнул мне на ухо.—Как некстати это приглашение. Человек этот, видимо, сильно подвыпил. Однако пойдем, иначе он в конце концов еще прибьет нас.

— Ты шутишь,—заметил я,—впрочем, пойдем.

Когда мы пришли, Феаген поместил Харикла близ себя. Он отнесся с почетом и ко мне, ради Харикла.

К чему вдаваться в подробности относительно пиршества: девичьи хороводы, флейтистки, военная пляска эфебов во всеоружии и все остальное, чем украсил дорогие яства Феаген. Приятно было дружеское общение на этом пиру. Но вот о чем тебе совершенно необходимо узнать— а для меня рассказ об этом одно удовольствие: Феаген, делая вид, что он весел, приветливо относился к присутствующим, но я уловил, куда

направлены были его думы: то блуждали его взоры, то глубоко стонал он без всякого повода, то с поникшей головой впадал в задумчивость, то внезапно светлел его взгляд, словно он приходил в сознание и брал себя в руки. Словом, с необычайной легкостью изменялось выражение его лица. Настроение влюбленного, подобно состоянию опьяневшего, очень подвижно и неустойчиво, так как и у того и у другого душа потрясается пылкой страстью. Вот почему склонен к опьянению влюбленный и к любви — опьяневший.

11. Когда же томление его выразилось в зевоте, тогда и всем остальным стало ясно, что он нездоров. Харикл тоже заметил это—впрочем, только лишь эти резкие переходы в настроении Феагена—и сказал мне тихонько: — И этого тоже сглазил дурной глаз? Мне кажется, что Феаген испытывает то же, что и Хариклия.

— Да, то же самое,—ответил я,—клянусь Исидою. Это верно и правдоподобно: ведь после нее именно он блистал в шествии.—Такими словами обменялись мы с Хариклом.

Когда же наступило время пустить в круговую чаши, первым отпил из вежливости Феаген, хотя ему не хотелось пить. Когда пришла моя очередь, я поблагодарил, но отклонил чашу. Феаген бросил на меня острый и вспыхнувший взгляд: он подумал, что им пренебрегают.

Харикл понял это и сказал:

— Этот человек воздерживается пить или есть что-либо одушевленное.

Феаген спросил о причине.

— Он из Мемфиса,—продолжал Харикл,— египтянин и жрец Исиды.

Лишь только Феаген услышал, что я египтянин и жрец, он сразу преисполнился радости и, воспрянув, словно нашел какой-то клад, потребовал воды, отпил из чаши и сказал:

— Мудрейший гость мой, прими в знак вежливости чашу, из которой я пил: она полна тем, что для тебя сладостно. И пусть наша трапеза украсится возлиянием в честь дружбы.

— Да будет так, прекрасный Феаген,—отвечал я,—впрочем, я издавна дружественен тебе. И, приняв чашу, я стал пить.

На этом пиршество кончилось. Все мы разошлись по своим домам. На прощанье Феаген много раз обнимал меня, горячее, чем это бывает при первом знакомстве.

Придя туда, где я остановился, я сперва долго страдал на своем ложе, все снова и снова размышляя о молодой чете и стараясь понять значение последних слов оракула. И вот, уже в полночь, я вдруг вижу Аполлона и Артемиду, как я полагаю (если только это было предположение, а не действительное видение)—он вручил мне Феагена, она—Хариклию, призывая меня по имени.

— Время тебе,—говорили они,—возвратиться на родину. Ибо так вещает закон судеб. Поэтому выйди сам, и, приняв их, будь им спутником, считай их наравне со своими детьми и изведи их от египтян тем путем и таким способом, как это угодно богам.

12. Сказав это, боги исчезли, обнаружив, что это видение было не во сне, а наяву. Я понял почти все из того, что узрел, но к какому племени людей и в какую страну следует прово-

дить молодую чету, чтобы сделать угодное богам—это вызывало мое недоумение.

— Отец мой, – прервал Каласирида Кнемон, — ты мне скажешь после, удалось ли тебе это узнать. Но каким способом, сказал ты, боги обнаружили тебе, что не во сне они пришли, но явились открыто?

— Тем способом, дитя мое, на который намекает и мудрый Гомер, но большинство проходит мимо его намека:

— Нет, по следам,—говорит он где-то,—и по голеням мощным сзади познал я
Вспять отходящего бога легко: познаваемы боги.

Но я и сам, повидимому, принадлежу к числу этого большинства Не в этом ли, быть может, хотел ты меня уличить, Каласирид, упомянув об этих стихах? Я понимаю их поверхностно, хотя и выучился гомеровскому языку. Заключенный же в них богословский смысл мне неизвестен.

13. Каласирид, немного помедлив и подвигнув свой дух к сокровенному, отвечал:

— Боги и демоны, Кнемон, приходя к нам или уходя от нас, очень редко принимают вид других живых существ, но очень часто—человеческий, заставляя нас видеть в них нам подобных. Люди непосвященные поэтому-то их и не замечают. Богов можно узнать по их очам: они все время пристально взирают, и веки их никогда не смыкаются. Еще более по их поступи: они передвигаются, не переставляя ног, каким-то воздушным потоком. Для них нет препятствий, и они скорее прорезают все окружающее, чем

обходят его. Вот почему египтяне воздвигают кумиры богам, с ногами, скрепленными, словно воедино. Это знал, конечно, и Гомер, раз уж он египтянин и обучался священной науке. Символически вложил он этот смысл в стихи свои, предоставив распознавание тем, кто в силах понять: об Афине он сказал: «Страшным огнем ее очи горели» о Посидоне же:

Нет, по следам и по голеням мощным сзади познал я
Вспять уходящего бога легко.

то есть «текущего в своем движении» — вот ведь что значит «вспять уходящего бога легко» а не так, как некоторые ошибочно думают, предполагая, будто «легко познал я».

14. — Божественный муж, ты посвятил меня в эту тайну,—воскликнул Кнемон.—Но ты не раз назвал Гомера египтянином, а об этом, пожалуй, еще никто не слыхивал до сих пор. Я не смею сомневаться, но, совершенно пораженный, молю тебя не уклониться от точности в твоих словах.

— О, Кнемон, это совсем далеко от нашей нынешней беседы; впрочем, выслушай и об этом вкратце. Гомеру, друг мой, каждый приписывает различное место рождения. Правда, для мудреца любой город—родина. Но Гомер поистине был наш сородич, египтянин. Город его—Фивы, называемые у него стовратными. * Отцом его, по видимости, был жрец, на самом же деле—Гермес, жрецом которого был мнимый его отец. Его жена, исполняя некий отечественный обряд очищения, опочила в святилище, и вот сошло божество и зачало Гомера, имевшего знак, что рожден он от неравного соеди-

нения. Ведь с самого рождения обильные волосы покрывали одно его бедро. Затем, странствуя среди разных племен, в особенности же среди греков, и воспевая свои творения, он получил свое прозвание. Не говорит он сам о себе, не называет ни своего города, ни рода, но знавшие его, что у него было на теле, нарекли его этим именем. *

— Но с какой целью, отец мой, Гомер умолчал о своей родине? Или он стыдился своего изгнания? Разве его преследовал отец, когда Гомер, будучи выбран из эфебов в число священнослужителей, был уличен как незаконнорожденный по этому знаку у себя на теле? Или он сделал это, руководясь мудростью, отвергая свою настоящую родину и любой город почитая своим отечеством?

15. — Мне кажется, ты вполне прав, и я ссылаюсь на то, что творения этого мужа изобилуют как бы египетским смешением необузданности со всяческою сладостью, да и превосходят природу. И, конечно, они не выдавались бы так среди всех, если бы он не был причастен к какой-то божественной и демонической основе. Но, Каласирид, после того как ты, по Гомеру, открыл, что пред тобой были действительно боги, что случилось затем, скажи мне?

— Случилось, Кнемон, похожее на то, что было ранее: снова бессонница, замыслы и ночам любезные раздумья. Я радовался, надеясь найти нечто, в чем уже отчаивался, и ожидая снова вернуться на родину. Но мне было мучительно думать, что Хариклея лишится своей дочери. Я затруднялся, каким образом потребуется увезти вместе молодых людей и как склонить

их уйти. Беспокоился, как скрыть побег, куда направиться, каким образом, по суше или по морю. Словом, меня охватил вихрь забот, и я без сна, в терзании провел остаток ночи.

16. Еще не вполне рассвело, как двор огласился шумом, и я услышал чей-то юношеский голос.

На вопрос слуги:—Кто стучит и что нужно?— пришедший отвечал:

— Доложи обо мне, это я, Феаген, фессалиец.

Я обрадовался, когда мне доложили о приходе юноши, и велел просить его войти. Вот, думал я, сам собой подвернулся случай приступить к исполнению моих замыслов. Я предполагал, что юноша, узнав во время пира, что я египтянин и прорицатель, пришел искать моего содействия в своей любви. Ведь и он, думалось мне, разделяет те представления о египетской мудрости, каких держится большинство, превратно считающее ее, по неведению, всегда единой и тождественной.

На самом же деле, один из видов этой премудрости общедоступен и, если можно так выразиться, влачится по земле: это идолов служанка, вращающаяся вокруг тел мертвецов, в травах и зельях растекающаяся. К чародействам она прибегает, сама никакой благой цели не достигает, и своих приверженцев к ней не направляет, но во многом сама в себе заблуждает и лишь нечто горестное и скудное порою осуществляет: небытие лишь мерещится бытием, а затем рушатся все надежды. Она безнравственных действий изобретательница, необузданных наслаждений служительница.

Зато другой вид ее, дитя мое, это поистине — мудрость, между тем как первый вид извратил это наименование; ею-то и занимаемся с малых лет мы, жрецы, и весь род священнослужителей. Эта мудрость взирает ввысь, на небеса, с богами общается, природе лучших существ причащается, звезд движение испытует, предведение будущего стяжает. От этих земных зол она удаляется, все ею к красоте и пользе устрояется.

Благодаря ей, и я во-время покинул родимый край, чтобы, как тебе уже раньше рассказывал, и самому избежать ее предсказаний и миновать взаимной распри моих сыновей. Но во всем этом надо положиться на богов и на богинь судьбы: они обладают властью свершить или не свершить. Они заставили меня бежать из родимого края не только по этой причине, но и для обретения Хариклии. Каким же образом осуществится это—ты узнаешь из дальнейшего,

17. Когда Феаген вошел, я ответил на его приветствие, усадил его на ложе близ меня и спросил:

— Какая причина привела тебя ко мне так рано?

Он много раз закрывал лицо руками, но наконец сказал:

— Для меня дело идет о жизни и смерти, но я краснею открыть причину.

Здесь он умолк.

Я понял, что пришло время поморочить его и предвозвестить ему то, о чем я отлично знаю. И вот, еще более ласково взглянув на него:

— Если ты не решишься сам рассказать,— заметил я ему,—то все равно: нет ничего сокрытого от нашей мудрости и от богов.

Немного помолчав, я взял в руки камешки,

не обозначавшие никаких чисел, и встряхнул волосами, подражая людям одержимым.

— Ты влюблен,—воскликнул я,—дитя мое.

Феаген вскочил при этом вещании. Когда же я вдобавок упомянул и о Хариклии, он счел меня божественным прорицателем и готов был преклониться предо мной до земли. Но я удержал его. Все же он подбежал ко мне и покрыл поцелуями мою голову, принося богам благодарность за то, что не ошибся, по его словам, в ожиданиях. Он стал умолять меня быть его спасителем: он не переживет, если лишится моей помощи, к тому же как можно более скорой: в такую великую беду он впал, так сильно палим он любовной тоской, теперь впервые охвачен он любовью. До сих пор, рассказывал он, не имел он дела с женщинами и всячески клялся в этом; всегда он испытывал презрение к женщинам, к самому браку и к любви, когда слышал об этом рассказы, пока, наконец, красота Хариклии не обличила, что не от природы был он так сдержан, но просто до вчерашнего дня не встречал еще женщины, достойной его любви. При этих словах он зарыдал, как бы показывая этим, что лишь через силу побежден он девою. И вот я стал его утешать.

— Мужайся,—говорил я,—раз уж ты прибег к моей помощи. Даже Хариклия не окажется сильнее нашей мудрости. Правда, она сурова, трудно ее склонить к любви, не почитает она Афродиты и брака, даже слова эти ей претят. Но, благодаря тебе, все можно сделать, искусство может побороть и природу. Только надо тебе держаться хорошенько и исполнять все должные указания.

Феаген обещал все исполнить, что бы я ни предписал, даже если бы пришлось взяться за меч.

18. Феаген настойчиво умолял меня помочь ему, обещая в награду все свое имущество, как вдруг приходит посланный от Харикла.

— Просит тебя Харикл,—говорит он,—притти к нему. Это близко отсюда: в святилище Аполлона песнопениями молит он бога, смущенный каким-то сновидением.

Я сейчас же подымаюсь, отпускаю Феагена, прихожу к храму и застаю Харикла, сидящего на каком-то кресле, очень мрачного и беспрерывно стенающего.

И вот, подойдя к нему:—Что ты так задумчив и угрюм?—спросил я.

А он в ответ:—Почему же мне и не быть таким? сновидения меня смутили, а дочь моя, как я узнал, чувствует себя не по себе и всю эту ночь провела без сна. Меня огорчает и вообще ее нездоровье, но еще более то, что на завтра назначено состязание. По обычаю, храмовая служительница должна зажечь факелы тяжеловооруженным бегунам и распределить награды. И вот приходится сделать одно из двух: или Хариклия откажется от этой обязанности и этим нарушит отеческий обычай, или, пересилив себя, придет туда, а потом расхворается еще сильнее. Поэтому, если до сих пор не было случая, то теперь ты, оказав помощь и чем-нибудь исцелив ее, поступил бы справедливо по отношению к нам и нашей дружбе и благочестиво по отношению к божескому уставу. Я знаю, тебе ничего не стоит при желании, как это ты и сам утверждаешь, исцелить ее

от дурного глаза. Для священнослужителей совершение самых величайших деяний не невозможно.

Я согласился с ним, что для меня это не составит затруднения. Мне удалось провести его и попросить дать мне этот день для приготовления к исцелению.

— А сейчас,—сказал я,—пойдем к девушке, осмотрим ее еще более внимательно и постараемся ободрить, насколько это воможно. Вместе с тем, Харикл, мне хотелось бы, чтобы ты замолвил за меня словечко перед девушкой, представил бы меня, как близкого знакомого, чтобы она проще чувствовала себя со мной и смелее высказалась бы своему исцелителю.

— Пусть будет так,—ответил Харикл.—Пойдем.

19. Как описать состояние, в котором мы придя застали Хариклию? Она всецело была под властью своей страсти, цвет сбежал с ее ланит, и блеск очей был, словно водой, потушен слезами.

Лишь только она нас увидала, она приняла спокойный вид и через силу старалась придать обычное выражение взгляду и голосу. Харикл обнял ее, осыпая тысячью поцелуев и нежными ласками.

— Дочка, дитя мое,—говорил он,—неужели ты скроешь свое состояние от меня, твоего отца? Тебя сглазили, ты молчалива, словно ты виновата, между тем как виновен здесь чей-то дурной глаз. Впрочем, мужайся. Мною приглашен для твоего исцеления Каласирид, мудрец. Это вполне в его силах: он никому не уступит в божественном искусстве. Образ жизни его достоин священнослужителя, с детства приле-

пился он святыне, но что самое главное—это мой очень близкий друг. Поэтому ты хорошо сделаешь, если позволишь ему беспрепятственно лечить себя волхованиями или чем другим, как он захочет. Ведь ты же не чуждаешься общения с умными людьми.

Хариклия молчала и лишь кивнула в знак согласия, словно она охотно принимает мои советы. Тогда, условившись в этом, мы расстались. Харикл напомнил мне то, что и прежде составляло предмет моих забот и раздумий: как бы это внушить Хариклии склонность к браку и побороть ее отвращение к мужчинам. При прощании я утешил Харикла, сказав, что не далеко то время, когда исполнится его желание.



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

1932



1. На другой день пифийские игры кончались, но игры молодой четы разгорались все больше — думается мне, сам Эрот стал распорядителем, настойчиво желая посредством этих двух борцов, которых он сопряг, показать, что величайшее из состязаний свойственно лишь ему.

Вот что произошло. Зрительницей была Греция, а награды присуждались амфиктионами.*
Когда прочие состязания — бег, сплетение в борьбе и различные приемы кулачного боя — были торжественно закончены, глашатай, наконец, прокричал:

— Пусть выйдут тяжеловооруженные.

Храмовая служительница Хариклия тотчас заблистала на конце стадиона, против своей воли, придя туда в угоду отеческому обычаю.

Впрочем, мне кажется, она, вероятно, надеялась где-нибудь увидеть Феагена. В левой руке

у нее был зажженный факел, а правой держала она перед собой пальмовую ветвь.

Появившись там, Хариклия заставила обернуться к себе всех зрителей, но взор Феагена нашел ее раньше, чем кто бы то ни было. Любящий зорко видит то, о чем тоскует. Феаген заранее знал, что Хариклия должна притти, и внимательно подстерегал это мгновение. Он не был в силах даже смолчать и, обратившись ко мне—он нарочно сидел вблизи меня,—сказал:

— Так вот она, Хариклия!

Я стал советовать ему сдержаться.

2. На вызов глашатая вышел великолепно вооруженный человек, заносчивый и считавший только себя одного знаменитым: он уже раньше бывал увенчан во многих состязаниях и теперь не имел противника, так как никто, думаю я, не решился бы состязаться с ним. Амфиктионы чуть было не отослали его прочь: закон не позволяет присудить венок тому, кто не участвовал в состязании. Но он стал требовать, чтобы всякий желающий был вызван глашатаем на состязание. Распорядители дали такое приказание, и глашатай пригласил выступить желающих.

Феаген и говорит мне:—Он меня зовет.

На мое замечание: — Что это ты говоришь?— Феаген сказал:

— Так оно и следует, отец мой. Раз я здесь, то на моих глазах никто другой не получит победной награды из рук Хариклии.

— А неудачу,—спросил я,—и возможный позор ты ни во что не ставишь?

— Кто же,—ответил он,—так безумно жаждет

видеть Хариклию и приблизиться к ней, чтобы опередить меня в беге? Кого ее вид может так окрылить и увлечь ввысь? Разве ты не знаешь, что и Эрота окрыляют художники, намекая на подвижность одержимых им? Если к сказанному нужно прибавить похвальбу, то никто до сих пор не мог похвастать, что превзошел меня в быстроте ног.

3. Так он сказал и вдруг вскочил. Выйдя на середину, Феаген сообщил свое имя, указал свое происхождение и получил по жребию место для бега. Облачившись в полное вооружение, он стал у загородки, тяжело переводя дух и с нетерпением ожидая трубного знака.

Это было величественное и замечательное зрелище: таким изображает Гомер Ахилла, подвизающегося в бою у Скамандра.* Вся Греция пришла в движение от такого неожиданного зрелища и желала победы Феагену, словно каждому предстояло самому состязаться. Ведь красота как-то располагает к себе созерцающих ее.

Хариклия тоже была взволнована в высшей степени, и, все время наблюдая за ней, я видел, что она всячески менялась в лице. Наконец глашатай во всеуслышание объявил имена состязующихся, провозгласив:

— Аркадиец Ормен и фессалиец Феаген.

Канат был опущен, и бег начался. За ним едва можно было уследить глазами. Девушка не могла уже оставаться спокойной: ее шаги дрожали, ноги скакали; как-будто ее душа, думается мне, порывалась вместе с Феагеном и усердно бежала с ним. Зрители напряженно ждали исхода и были полны беспокойства,

а я еще более, так как и вообще решил заботиться о нем, как о сыне.

— Нет ничего удивительного,—промолвил Кнемон,—что Хариклия беспокоилась, присутствуя там и видя этот бег, раз даже я сейчас боюсь за Феагена. Прошу тебя, скажи скорей, был ли он провозглашен победителем?

4.—Феаген добежал, Кнемон, до середины стадиона, оглянулся, бросил на Ормена презрительный взгляд, поднял вверх щит и, выпрямив шею и устремив всецело взор на Хариклию, понесся, как стрела, к цели и опередил аркадийца на много саженей—впоследствии этот промежуток был точно измерен. Подбежав к Хариклии, Феаген с силой нарочно падает ей на грудь, словно был не в силах остановиться сразбега. И когда он брал пальмовую ветвь, от меня не укрылось, что он поцеловал ей руку.

— Это хорошо,—воскликнул Кнемон,—что он одержал победу и поцеловал руку. Ну, а дальше что?

— Тебя, Кнемон, не только рассказами не насытить, но и сну не одолеть. Уже прошла не малая часть ночи, а ты все бодрствуешь, и тебе не надоел затянувшийся рассказ.

— Я упрекаю даже Гомера, отец мой; он сказал, что подобно всему остальному и любовью можно пресытиться *—вещью, которая, по моему мнению, никогда не дает пресыщения: ни с наслаждением совершаемая, ни через слух воспринимаемая. Когда же кто упоминает о любви Феагена и Хариклии, то какой человек наделен столь адамантовым или железным сердцем,* чтобы не наслаждаться, слушая хотя бы год? Итак, продолжай.

— И вот, Кнемон, Феаген был увенчан, провозглашен победителем и встречен ликующими криками всех зрителей, а Хариклия потерпела славное поражение и поработилась своей страсти более, чем прежде, снова увидав Феагена. Вид любимого бывает напоминанием страдальцу, распаляет его помышления, делаясь как бы горючим веществом для огня.

Хариклия, придя домой, провела ночь, подобную предыдущей или еще горшую, а я опять не спал, придумывая, куда бы мы могли незаметно направить наш побег, и стараясь догадаться, в какую страну бог посылает молодую чету. Я понял, что бежать нужно морским путем—в этом мне помог сам оракул, гласивший, что они

...бурного моря пучину прорезав,
В черную землю придут, жаркого солнца удел.

5. Относительно же того, куда их препроводить, я находил только одну разгадку: надо бы мне как-нибудь завладеть повязкой, подкинутой вместе с Хариклией; на этой повязке, как мне говорил слышавший об этом Харикл, была выткана повесть о ней. Казалось правдоподобным, что оттуда узнаю я об ее родине и родителях, о которых я уже стал догадываться. Быть может, судьба посылает именно туда молодую чету.

Так вот, придя утром к Хариклии, я застаю домочадцев в слезах, равно как и самого Харикла. Я подошел и стал расспрашивать, что случилось.

— Усилилась болезнь моей дочери,—сказал он,—прошедшая ночь была для нее более тяжким испытанием, чем прежние.

— Выйди-ка, сказал я,—и вы, все остальные, тоже выйдите. Принесите сюда только треножник, лавровую ветку, огня и ладана. Пусть никто не беспокоит меня, пока не позову.

Харикл подтвердил приказание —оно было исполнено. Когда меня оставили наедине с девушкой, я, словно на сцене, начал свое представление: воскурял фимиам, произносил шопотом какие-то заклятья, стал часто обвевать Хариклию лавровой веткой с головы до ног, вверх и вниз. При этом, будто меня клонило ко сну, я позевывал совсем на старушечий лад и, не торопясь, наконец кончил, излив много вздору и на себя и на девушку.

Хариклия частенько покачивала головой, улыбалась, обнажая зубы, показывая, что я ошибаюсь и не угадываю ее болезни. Подсев к ней поближе, я сказал:

— Не бойся, дочь моя: твой недуг неопасен и легко исцелим. Тебя сглазили, может быть, когда ты участвовала в шествии, но скорее всего тогда, когда ты вручала награду. Я подозреваю, кто всему виной. Это — Феаген, что бежал в полном вооружении. От меня не укрылось: он часто всматривался в тебя, дерзко устремляя свой взор.

Хариклия на это:—Глядел ли он на меня так или нет — мне все равно. Но чей он и откуда? Многие, как я заметила, с увлечением смотрели на него.

— Что он родом фессалиец, — ответил я,— ты уже раньше слыхала, когда глашатай провозгласил об этом, а род свой он возводит к Ахиллу и, мне кажется, действительно это так, если судить по росту и красоте юноши:

они обличают Ахиллову породу. Только он не надменен и не высокомерен, как тот, и свою значительность умеряет приятностью в обращении. Но при всех этих качествах пусть он испытает горшее, чем причинил, раз он своим дурным глазом повредил тебе.

— Отец мой, благодарю тебя за сострадание к моему недугу,—отвечала она,—но зачем ты напрасно проклинаешь того, кто, может быть, ни в чем не виноват? Меня не сглазили, я повидимому больна какой-то иной болезнью.

— И ты скрываешь,—промолвил я,—дитя мое, и не хочешь открыто сказать, чтобы мы могли помочь? Разве я не отец тебе по летам, а еще более по участию? Разве я не знакомый и не единомышленник твоего отца? Укажи, чем ты страдаешь? Во мне ты имеешь верного друга. Если хочешь, я даже поклянусь сохранить тайну. Говори смело и не увеличивай молчаньем твоего горя. Всякому страданию, быстро познаваемому, легко помочь, а долго пренебрегаемое почти не выгнать прочь. Молчание—болезней питание, а что с уст срывается, быстро утешается.

6. Обратив на эти слова некоторое внимание и обнаружив на лице тысячи душевных переживаний:—Подари мне,—сказала она,—сегодняшний день, ты после узнаешь, в чем дело, если сам раньше не догадаешься, раз уж ты уверяешь, что ты гадатель.

Я поднялся и вышел оттуда, предоставив девушке справиться в глубине души с ее стыдливостью. Меня встретил Харикл и спросил:

— Ну, что скажешь?

— Все в порядке,—ответил я,—завтра она

освободится от недуга, которым одержима и займется кое-чем другим, что тебе будет на радость. Ничто не препятствует и врача какого-нибудь пригласить.

Сказав это, я поспешно удалился, чтобы Харикл не спросил у меня еще чего-либо. Немного отойдя от дома, я замечаю Феагена, скитающегося вокруг храмовой ограды и разговаривающего с собою, словно ему было достаточно хоть посмотреть на жилище Хариклии.

Я свернул с дороги и старался пройти мимо, как бы не замечая его. А он:—Здравствуй,— говорит,—Каласирид, выслушай меня. Тебя-то я и поджидал.

Я тотчас обернулся и сказал:

— А, вот и красавец Феаген, а я и не заметил тебя.

— Какой там красавец,—воскликнул он,— твоя шутка напрасна: Хариклия ко мне бесстрастна.

Я изобразил на лице негодование и сказал:

— Перестань оскорблять меня и мое искусство, благодаря которому она уже вынуждена любить тебя и стремится видеть в тебе высшее существо.

— Что ты говоришь, отец мой: Хариклия стремится видеть меня? Что же ты не ведешь меня к ней?

И с этими словами Феаген уже собрался бежать.

Схватив его за плащ:—Стой,—закричал я,— хоть ты и горазд бежать. Дело это не добыча, не так уж оно доступно, чтобы всякий желающий мог взяться за него. Нет, много надо подумать, чтоб его как следует свершить, многое подго-

товить, чтобы безопасно выполнить. Или ты не знаешь, что ее отец—первый человек в Дельфах? Не думаешь ты о законах, что карают за такие дела смертью?

— Я, — возразил он,—и умереть согласен, лишь бы завладеть Хариклией. Однако, если ты не против, попросим ее в супруги у отца. Мы ведь вполне достойны породниться с Хариклом.

— Ничего не добьемся,—отвечал я,—и не потому, чтобы ты заслуживал какого-нибудь упрека. Дело в том, что Харикл давно прочит уже ее за сына своей сестры.

— Плохо придется ему,—воскликнул Феаген,— кто бы он ни был. Нет, никто другой, пока я жив, не введет Хариклию в опочивальню. Еще не ослабели моя рука и мой меч!

— Перестань,—сказал я,—ничего подобного не понадобится. Только повинуйся мне и слушайся моих советов. А теперь пойди к себе и смотри, чтоб тебя не видали со мной. Встречайся со мною наедине и в тиши.

Феаген ушел, понурив голову.

7. А Харикл, встретившись со мною на следующий день, лишь только увидал меня, подбежал и стал покрывать мою голову поцелуями.

— Вот это мудрость! Вот это дружба!—восклицал он без умолку.—Ты совершил великое дело. Пленена неудобопленимая и побеждена неудобопобедимая. Хариклия полюбила!

Услышав это, я принял гордый вид, поднял брови и важно зашагал.

— Совершенно ясно было,—говорил я,—что она не устоит даже перед первым натиском. К тому же я никому не давал сильнее дей-

ствующих средств. Но по каким признакам, Харикл, вы ее признали влюбленной?

— Мы послушались тебя, — ответил он,— пригласив знаменитых врачей, как ты посоветовал, я повел их осмотреть ее, обещал в награду все мое имущество, если только они смогут хоть как-нибудь помочь. Войдя к ней, они тотчас спросили, чем она страдает. Когда же она стала отворачиваться от них, совсем не отвечала на их вопросы и все время громко произносила Гомеров стих:

О Ахиллес, сын Пелеев, храбрейший в героях ахейских.*

То ученый Акестин * (ты, конечно, его знаешь) прижал рукой ее запястье, хоть она и противилась, и, повидимому, стал заключать об ее болезни по ударам крови, указывающим, думается мне, движение сердца. Уделив осмотру не мало времени и много раз обведя ее глазами, он сказал:

— О Харикл, напрасно ты пригласил нас сюда. Врачебное искусство здесь ничуть не может помочь.

— О боги,—воскликнул я,—что это ты говоришь? Итак, пропала моя дочь, нет уже никакой надежды.

— Не надо волноваться,—промолвил он,— слушай.

Отведя меня в сторону от девушки и от остальных, Акестин сказал:

— Наше искусство вылечивает телесные недуги, душевные же—это для него нечто привходящее в тех случаях, когда душа страждет вместе с одержимым болезнью телом. Когда же тело излечивается, излечивается и душа вместе с ним.

У Хариклии действительно болезнь, но не телесная. Ни один из соков не излишен, не отягощает ее головная боль, не трясет ее лихорадка, нигде не болит тело ни частично, ни в целом. Вот мой вывод: дело обстоит именно так.

Я стал умолять его открыть мне, что он заметил.

— Да это ясно и ребенку—промолвил он,— здесь душа страждет, а болезнь эта—явная любовь. Не видишь разве, как опухли ее глаза, как рассеян ее взор, как бледно ее лицо? Хариклия не жалуется на внутреннюю боль, но ее мысль печальна, она произносит первые попавшиеся слова, ее мучит беспричинная бессонница, и она внезапно сильно похудела. Тебе надо поискать, Харикл, кто бы ее мог исцелить; желаю тебе всякого успеха, но это может только сделать любимый ею.

Сказав это, он ушел. Я бегом поспешил к тебе, моему спасителю и богу, которого я и Хариклия считаем единственным, кто может оказать нам благодеяние. После многих просьб и мольб открыть, чем она больна, она ответила только одно—что не знает, что с ней случилось, знает только, что Каласирид один мог бы ее исцелить. И просила меня она пригласить тебя к ней. Главным образом отсюда я и заключил, что она увлечена твоею мудростью.

— Быть может,—сказал я ему,—подобно тому, как ты сказал, что она влюблена, ты можешь сказать и в кого?

— Нет, клянусь Аполлоном, как и откуда мне это знать? Но я предпочел бы всем сокровищам, чтобы она любила Алкамена, сына моей сестры, которого я уже давно (поскольку это

может зависеть от моего желания) наметил ей в женихи.

Тогда я говорю Хариклу, что это можно испытать, введя к ней этого юношу и показав его ей. Он одобрил мою мысль и ушел. Встретившись со мной снова около полудня, он сказал:

— Тебе придется услышать неприятную вещь. Девушка, повидимому, безумствует: престранно она ведет себе. Я привел Алкамена по твоему совету и показал его ей принаряженным. А она, точно увидев голову Горгоны или нечто еще более ужасное, пронзительно и громко закричала, отвернулась к противоположной стене комнаты и, приблизив руки к шее, словно петлю, угрожала покончить с собой и клялась, что так и поступит, если мы не уйдем как можно скорей. Мы ушли, не успела она еще этого сказать. Что же оставалось делать при виде такого странного поступка? Мы снова умоляем тебя: не допусти, чтоб она погибла и чтоб мы потеряли желаемое.

— О Харикл,—воскликнул я,—ты не ошибся, говоря об ее безумии. Она одержима силами, которые я сам на нее наслал, силами, весьма могучими, естественно принудившими ее делать то, чего она никогда не делала и не хотела делать. Мне сдается, что некое враждебное божество мешает моему делу и борется против моих слуг. Настало время тебе обязательно показать мне повязку, подкинутую вместе с ней, которую, по твоим словам, ты взял вместе с другими приметами. Боюсь, что повязка пропитана какими-нибудь чарами и исписана ожесточающими душу заклятьями — по замыслу

какого-нибудь недруга, чтобы Хариклия с самого начала прожила без любви и не оставила потомства.

8. Харикл согласился и, немного спустя, вернулся с повязкой. Попросив его предоставить мне некоторое время, я, получив согласие, пришел в дом, где остановился, и, нимало не медля, принялся читать повязку, вышитую эфиопскими письменами, но не народными, а царскими, похожими на так называемые жреческие египетские. И, пробегая повязку, я нашел, что она рассказывала вот о чем:

«Я, Персина, царица эфиопов, какое бы имя тебе ни нарекли впоследствии, тебе, дочери моей, правда лишь по родовым мукам—начертала последний дар—эту надпись—прощальный мой плач...»

Я так и застыл, Кнемон, услышав * имя Персины. Все же я стал читать дальше:

«Дитя мое, я покинула тебя новорожденной, не дала увидеть тебя отцу твоему Гидаспу—но я неповинна, да будет свидетелем мне наш родоначальник Гелиос. Все же я оправдываюсь и перед тобой, дочь моя, если ты будешь спасена, и перед тем, кто найдет тебя, если кого приведет бог, и перед всем человеческим родом, излагая причину этого поступка. Предками нашими были: из богов Гелиос и Дионис, а из героев Персей, Андромеда и затем Мемнон. Цари, построившие с течением времени царственные палаты, украсили свои чертоги картинами их жизни. Изображениями и подвигами других героев они расписывали залы и портики, а спальню они украсили любовью Андромеды и Персея *.

Случилось, что на десятый год после того, как Гидасп женился на мне—а детей у нас все не было—мы отдыхали в полуденную пору, объятые летним сном. Твой отец соединился тогда со мной, клятвенно заверяя, что получил во сне такое приказание. И я почувствовала, что тотчас же понесла. Время до родов протекало в всенародных празднествах и благодарственных жертвоприношениях богам: царь надеялся на преемника рода.

Но я родила тебя белой, излучающей необычный среди эфиопов цвет. Я-то поняла причину: во время моего сочетания с мужем, я взглянула на Андромеду: картина показала мне ее отовсюду нагой (ведь Персей только-что стал сводить Андромеду со скалы) и образовала злосчастным образом плод, подобный ей. Решила я себя избавить от позорной смерти (я была уверена, что твой цвет навлечет на меня обвинение в прелюбодеянии: никто не поверил бы моему объяснению этого случая), а тебя предоставить случайностям судьбы, выбрав для тебя скорее эту участь, чем явную смерть или, во всяком случае, звание незаконнорожденной.

Солгав отцу, будто ты тотчас же умерла, я тайно и незаметно подкинула тебя вместе со всеми сокровищами, какие только могла собрать, чтобы они послужили наградой твоему спасителю. Я украсила тебя многими вещами и завернула в эту пелену, содержащую печальную повесть о твоем и моем несчастии. Я начертала ее пролитыми по тебе слезами и кровью, одновременно став и первородившей и многоплачущей. Но, сладостная дочь моя,—данная мне лишь на мгновенье,—если ты останешься

в живых, помни о твоем благородном происхождении, соблюдай целомудрие, единственное отличительное свойство женской добродетели, и упражняйся в царственном и напоминающем родителей образе мыслей. Но прежде всего не забудь вот что: отыщи среди сокровищ, подкинутых вместе с тобой, и сохрани некий перстень, подаренный мне твоим отцом, когда он сватался за меня. На его ободке вырезаны царские знаки, а гнездо освящено камнем Пантарбом*, обладающим сокровенной силой.

Хоть так я побеседовала с тобой, заставила служить себе письмена, раз божество лишило меня одушевленного общения с глазу на глаз. Может быть, все это ветер разнесет, а, может быть, когда-нибудь и пользу принесет. Ведь тайны судьбы неведомы людям. И будут тебе эти письмена приметами (о, понапрасну прекрасна ты, красота твоя обличает меня!) если ты останешься в живых, если же ... да не доведется мне услышать об этом—то слезами материнскими, надгробными и погребальными».

9. Когда я это прочел, Кнемон, я все понял и удивился божескому смотрению. Я преисполнился и радости и страдания и впал в необычное состояние, одновременно плача и веселясь. Душа радовалась нахождению неизвестного и разрешению возвещенного, но беспокоилась о совершении будущего и сожалела о человеческой жизни, которая неустойчива и непрочна, то сюда, то туда клонится, что теперь лишний раз подтверждается судьбой Хариклии. Много мыслей пришло мне в голову: чья дочь Хириклия и чьей считается, как далека она от своей родины, получив в удел прозвание незаконно-

рожденной, лишившись законного и царственного эфиопского рода. Долго стоял я в недоумении, имея причины сострадать ей в ее прошлом и не отваживаясь считать ее счастливой в будущем. Наконец, заставив себя рассуждать трезво, я решил приняться за дело и не мешкать. Придя к Хариклии, я застаю ее одну, окончательно измученную страданием; разум принуждал ее краснеть, но тело всячески мучилось. Хариклия ослабела от недуга и уже была не в силах противиться его страшному натиску.

10. Я удалил присутствующих и запретил кому бы то ни было мешать мне, якобы для того, чтобы произнести над девушкой молитвы и призывания.

— Пора тебе,—сказал я,—Хариклия, рассказать о твоей болезни. Ты обещала вчера не скрывать ничего от человека, который расположен к тебе и может узнать обо всем даже несмотря на твое молчание.

Хариклия, схватив мою руку, стала целовать ее и плакать.

— О, мудрый Каласирид, — говорит она, — окажи мне сперва такое благодеяние: позволь мне молча быть несчастной, сам распознай, как хочешь мою болезнь, дай мне выиграть хоть в стыдливости, скрывая то, что и переносить постыдно, а вымолвить еще постыднее. Меня мучит и усиливающаяся болезнь, но еще более то, что я с самого начала ее не поборола, но побеждена недугом, презираемым мною до сих пор и позорящим—даже когда только слышишь о нем—священнейшее имя девственности.

Одобряя ее, я говорил:

— Дочь моя, по двум причинам ты хорошо

поступаешь, скрывая свой недуг. Мне совсем не нужно узнавать то, что я уже давно узнал при помощи моего искусства. С тобой происходит обычное, раз ты стыдишься высказать то, что женщинам пристойно скрывать. Но раз уже ты почувствовала любовь, и вид Феагена пленил тебя (божий глас возвестил мне это), знай, что не единственная и не первая испытала ты этот недуг, но вместе со многими видными женщинами, многими вообще целомудренными девушками. Эрот величайший из богов и иногда, как говорят, побеждает даже их самих. Подумай же, как тебе наилучшим образом поступить теперь? Изначала не быть искушенным любовью — счастливо, а, пленясь, принять благоразумное решение—всего мудрее. Если ты согласна мне поверить, то это и тебе возможно. Ты можешь отвергнуть позорное название вожделения, выбрать законный способ сочетания и обратить свой недуг в брак.

11. Когда я говорил это, Кнемон, с Хариклии градом катился пот, она переживала разнообразные ощущения: радовалась моим словам, беспокоилась о своих надеждах, краснела, что попалась. И вот, помедлив немало времени, она сказала:

— Отец мой, ты говоришь о браке и советуешь избрать его, словно очевидно, что или отец согласится, или мой противник будет его добиваться.

— Насчет его, — говорю я, — дело просто: он тоже пленен, повидимому, да еще больше твоего. Он взволнован тем же, чем и ты. Кажется, ваши души с первой же встречи нашли друг друга достойными и были охвачены одинаковой

страстью. А в угоду тебе я своим уменьем усилил его пыл. Твой же мнимый отец готовит другого жениха: небезызвестного тебе Алкамена.

— Алкамену,—воскликнула Хариклия,—пусть он скорей готовит гроб, чем брак со мной. Меня получит Феаген или пусть меня постигнет рок! Но умоляю, откуда ты узнал, что Харикл не мой отец, а только считается им?

— Из этой повязки,—ответил я,—показав ее.

— Как и откуда ты достал ее? С тех пор, как Харикл принял меня в Египте от воспитателя и не знаю каким образом привез сюда, он взял ее у меня и хранил в ларчике, чтобы она не попортилась от времени.

— Как я ее достал,—сказал я,—ты после услышишь, а теперь скажи мне, знаешь ли ты, что здесь вышито?

Когда же она призналась, что не знает, я сказал:

— Здесь изложен твой род и племя и судьба.

На ее мольбы открыть, что я знаю, я начал ей все сообщать, попеременно читая надпись и переводя ее слово в слово.

12. Хариклия узнала, кто она такая, воспрянула духом и проявила большое внимание к всей своей родословной.

— Что же надо делать?—спрашивала она.

Я принялся давать ей более ясные советы, открыв все, как было.

— Я, дочь моя,—сказал я,—и у эфиопов побывал, возжаждав тамошней мудрости. Известным стал я и матери твоей Персине; ведь царские палаты всегда гостеприимны к мудрецам. Так прославился я еще более, придав больший вес египетской мудрости путем ее сочета-

ния с эфиопской. Когда же Персина узнала, что я собираюсь домой, она рассказала мне всю повесть о тебе, взяв сначала с меня клятву молчать. Персина говорила, что не посмеет сказать обо всем этом местным мудрецам. Она умоляла меня вопросить богов, прежде всего, осталась ли ты, покинутая, в живых, а затем где ты находишься. Ведь не слыхала она, среди своего народа, чтобы какая-нибудь девушка была похожа на тебя, хотя много справлялась.

Когда я от богов узнал обо всем, то сказал, что ты жива и указал, где находишься. Персина снова стала просить отыскать тебя и склонить к возвращению на родину. Персина безродна и бездетна после мук, сопровождавших твое рождение и готова, если ты когда-либо явишься, признаться твоему отцу во всем случившемся. Она знает, что он поверит рассказу, испытав ее верность за время продолжительной совместной жизни и будучи охвачен, паче чаяния, сильным желанием продолжить свой род.

13. Так говорила Персина и умоляла мена исполнить ее просьбу, усиленно заклиная меня клятвой Гелиоса, которую не дозволено преступить ни одному из мудрецов. Я приехал, чтобы исполнить усиленные заклятьями моленья. Правда, я пустился в путь не для этой цели, но по внушению богов это стало самой большой прибылью в моих скитаниях. Уже много времени, как ты знаешь, я был занят твоей судьбой, не переставая должным образом оказывать тебе уважение, но умалчивал, в чем тут дело, ожидая удобного случая овладеть повязкой для подтверждения всего, что должен был тебе сказать. Итак, если ты послушаешься и пред-

примешь с нами побег отсюда (прежде, чем насильно испытать что-либо неугодное тебе, так как Харикл уже торопит твой брак с Алкаменом), то тебе предоставляется возможность приобрести род, родину и родителей, вступить в брак с Феагеном, готовым следовать за нами, куда бы мы ни захотели, и, царствуя с возлюбленным, переменить жизнь пришелицы и чужестранки на жизнь туземки и правительницы, если надлежит верить остальным богам и прорицанию пифийского бога.

При этом я напомнил Хариклии прорицание и объяснил его значение. Впрочем, Хариклия отлично знала прорицание: многие распевали его и вникали в его смысл.

Взволнованная этими словами, она сказала:

— Если, по твоим словам — а я им верю — таково желание богов, так что же делать, отец мой?

— Притвориться,—ответил я,—что ты согласна на брак с Алкаменом.

А она: — Тяжело, — говорит, — и кроме того, постыдно, даже пообещать, будто я предпочту другого Феагену, но раз уже я поручила себя богам и тебе, отец мой, то скажи, какую цель преследует эта выдумка, и как следует поступить, чтобы не исполнить этого обещания на деле?

— По самому делу узнаешь,—ответил я.— Если что наперед сообщить женщинам, это иногда приносит задержку, а если что начнешь вдруг, это часто совершается с большой смелостью. Следуй только моим указаниям и в остальном, именно вот в чем: соглашайся с Хариклом, когда он заговорит о браке; знай, что он ничего не будет делать без моего руководства.

Хариклия согласилась, и я оставил ее в слезах.

14. Лишь только я вышел из дома, вдруг вижу Харикла, необычайно печального и полного отчаяния.

— Вот чудак,—говорю я ему,—тебе нужно бы радоваться, веселиться и приносить богам благодарственную жертву, что ты получил давно желаемое тобой: Хариклия, наконец-то, благодаря многим ухищрениям моей мудрости, склонна выйти замуж. А ты угрюм, задумчив и чуть не плачешь, неизвестно из-за чего.

— Как же мне не быть таким,—отвечал он,—раз самое дорогое существо в моей жизни, может быть, скорее будет разлучено со мной, чем вступит—как ты говоришь—в брак, если верить вообще снам, в особенности тем снам, которыми я был напуган в эту ночь. Я видел, что орел, выпущенный из рук Аполлона, внезапно налетел, похитил из моего дома дочку и, увы, унес ее на край света, где все полно каких-то мрачных и темных призраков. Под конец я даже не мог понять, что хотел делать орел, так как беспредельное расстояние, бывшее между нами, коварно способствовало тому, что вместе с полетом исчезло и зрелище.

15. Когда Харикл сказал это, я понял, что значил сон, но решил освободить Харикла от печали, заботясь, чтобы он не стал подозревать будущего.

— Ты,—сказал я,—жрец, да еще самого вещего из богов, как же ты не умеешь должным образом разгадывать сны: сны возвещают тебе будущую свадьбу дочери, дают понять, что орлом является жених, который ее получит, сны благовествуют, что это случится с благословения Аполлона,

как бы из своих рук подводящего к ней жениха. Зачем же твое лицо хмурится и ты истолковываешь сны к печали? Харикл, удержим наши уста от зловещих снов и согласимся с волей вышних, стараясь расположить их еще более.

— А чем же добиться еще большей благосклонности?—спросил Харикл.

— Если у тебя есть какая-нибудь драгоценность,—ответил я,—затканная ли золотом одежда или дорогое ожерелье, принеси ее в качестве подарка от жениха и, задаривая, умилостивь Хариклию. Золото и каменья — неотразимые чары для женщин. И остальное тебе надо приготовить к торжеству. Нужно ускорить брак, пока девушка хранит неизменившейся навязанную ей благодаря искусству страсть.

— Считай, что за мной-то дело не станет,— сказал Харикл и побежал, на радостях спеша превратить разговор в дело.

Он действительно сделал—как я узнал впоследствии—все, что я ему посоветовал, без малейшего промедления: в качестве свадебного подарка от Алкамена он принес драгоценную одежду и эфиопские ожерелья, положенные Персиной как приметы.

16. Я же, встретившись с Феагеном, спросил, где находятся участники шествия. Он ответил, что девушки уже отправились: их послали вперед из-за их более медленной ходьбы, но и юношам не терпится: они волнуются и собираются возвратиться домой.

Узнав об этом, я сообщил, что надо сказать им, а ему самому сделать: я приказал следить за тем знаком, который я дам при удобном случае в нужное время. Затем я расстался

с Феагеном и поспешил к храму, чтобы испросить у бога наставление и предвещание, как мне устроить побег вместе с молодой четой. Но божество быстрее всякой мысли: оно и без зова помогает тому, что совершается по его воле, часто предупреждая своим благоволением прошение. Пифийский бог дал ответ на еще незаданный вопрос и на деле явил свое руководство. Дело в том, что, когда я, охваченный своими заботами, как уже сказал, спешил к пророчице, меня по пути задержал какой-то крик:

— Скорей сюда, друг мой, тебя приглашают люди, соединенные узами гостеприимства.

Это справляли пир в честь Геракла под звуки флейты. Я замедлил свой бег, услышав этот крик. Нельзя было мне не откликнуться на священный призыв. Когда я воскурил фимиам и возлил воду, пирующие, казалось, подивились дешевизне моих приношений, но все же пригласили принять участье в пире. Я и этому повиновался. Возлегши на ложе, устланное для гостей миртовыми и лавровыми ветками, и отведав обильных блюд, я сказал им:

— Друзья мои. Роскошью пира я уже насладился, но вестью о вас еще не просветился. Поэтому пора вам сказать, кто вы такие и откуда. Было бы слишком по-простецки и по-деревенски, если мы, вместе участвовавшие в возлияниях и трапезе, вкусивши священной соли — начала дружбы — разойдемся, не получив сведений друг о друге.

Они сказали, что они — финикийцы из Тира, занимаются торговлей, плывут в Карфаген ливийский на большом корабле, нагруженном индийскими, эфиопскими и финикийскими то-

варами. В настоящее же время они устроили этот пир в честь Геракла Тирского в благодарность за победу, так как один юноша (они указали на возлежащего предо мною) увенчан здесь венком за борьбу и прославил среди греков победу Тира. Он, когда мы, обогнув Малею, гонимые противным ветром, приблизились к Кефалении, клялся этим нашим отеческим богом, что сон предсказал ему грядущую победу на пифийских играх. Он уговорил нас свернуть с намеченного пути и пристать сюда. Здесь он на деле оправдал предсказание: бывши ранее купцом, вдруг оказался славным победителем. И эту жертву он приносит богу-внушителю в благодарность за победу и как напутствие себе. На рассвете, дорогой гость, мы собираемся уйти, если ветер будет благоприятен нашему намерению.

— Вы действительно собираетесь? — спросил я.

— Да, собираемся, — ответили они.

— Если разрешите, я буду вашим спутником, мне предстоит отплыть по делу в Сицилию, а вам, как вы сами знаете, надо проезжать мимо этого острова по дороге в Ливию.

— Если ты этого хочешь, — ответили они, — мы будем считать себя обладателями всех благ, путешествуя вместе с греком, мудрым и, быть может, любезным даже богам, как позволяет заключить опыт нашего общения.

— Я согласен, — сказал я им, — если вы мне предоставите один день для приготовлений.

— Завтрашний день в твоем распоряжении, — отвечали они, — только под вечер будь у моря. Ночная пора очень способствует плаванию, спокойно провожая корабль дующим с суши ветром.

Я условился, что так и поступлю, взяв с них клятвенное обещание, что они не уйдут раньше.

17. Я оставил их там, занятых игрой на флейте и плясками, которые они под быстрые звуки арф исполняли на ассирийский лад: то взлетая легкими прыжками ввысь, то плотно приседая к земле, словно одержимые божеством, извивались они всем телом.

Я пришел к Хариклии, еще не снявшей с груди подарки Харикла и рассматривавшей их, а от нее к Феагену и научил их обоих, что и когда нужно будет делать. Затем я вернулся домой и с нетерпением ожидал исхода.

А на следующий день вот что случилось. Когда полночь погрузила город в сон, вооруженный отряд ворвался в жилище Хариклии. Феаген предводительствовал в этой любовной войне, составив отряд из юношей, участвовавших в шествии. Они внезапно громко закричали, оглушили гулом щитов всех, ворвались с зажженными факелами в ее покой, взломав без труда дверь — засовы были нарочно задвинуты так, чтобы это легко можно было сделать, — и похитили Хариклию, уже подготовленную, все заранее знавшую и добровольно покорившуюся насилию. С нею вместе унесли не мало добра, какое было девушке по сердцу. Выйдя из дома, они подняли воинский крик, страшно застучали щитами, прошли по всему городу, повергнув жителей в невыразимый ужас, так как необычное время ночи заставляло их казаться еще более страшными, и Парнас отражал этот медный гул. Они так и прошли Дельфы, поочередно непрерывно крича: «Хариклия!»

18. Выйдя из города, они во всю мочь ускакали к локрийским и этейским горам. А Феаген и Хариклия, исполняя заранее принятое решение, покинули фессалийцев, тайно прибежали ко мне и, припав к моим коленам, долго обнимали их, трепетно дрожащие и «Спаси, отец наш!» непрерывно произносящие. Хариклия только и делала это, поникнув долу и краснея от недавно совершенного побега, а Феаген прибавлял, умоляя меня.

— Спаси, Каласирид, нас, чужестранцев, просителей, лишенных города, лишенных всего, чтобы взамен получить только друг друга. Спаси людей, отныне находящихся во власти судьбы, целомудренной любовью плененных, изгнанников добровольных, не падающих духом и возложивших на тебя все чаяние спасения.

Я был взволнован сказанным и, прослезившись над молодой четой более духом, чем глазами, так что от них это укрылось, а меня облегчило, стал их ободрять и укреплять. Внушив им добрую надежду на будущее (ведь дело начато с божьего изволения), я сказал:

— Я пойду устроить дальнейшее, а вы ожидайте меня здесь, приложив все старания, чтобы никто вас не увидел.

Сказав это, я пытался уйти. Но Хариклия схватилась за мой плащ и стала меня удерживать.

— Отец мой, — говорила она, — это будет началом несправедливости, а скорее измены, если ты уйдешь, оставив меня одну, поручив меня Феагену, если ты не подумаешь, как ненадежен любовник в качестве хранителя, когда в его власти находится предмет любви, когда нет лю-

дей, чье присутствие может внушить ему стыд. Он, думаю я, еще более распаляется, когда видит предмет своей страсти находящимся перед ним без защиты. Поэтому — и ради нынешнего положения дел, а еще более ради будущего — я тебя отпущу не ранее, чем Феаген подтвердит клятвой, что не сойдется со мной в деле Афродиты до тех пор, пока я не верну себе свой род и дом, или, если этому воспрепятствует божество, то, по крайней мере, пока он не возьмет меня с моего согласия себе в жены. В противном же случае — ни за что.

Я восхитился ее словами и решил, что непременно так надо поступить, зажег вместо алтаря домашний очаг и воскурил фимиам. Феаген поклялся, но, по его словам, он оскорблен тем, что предварительной клятвой уничтожается доверие к его душевным свойствам: ведь он не сможет высказать свое решение, так как оно будет считаться вынужденным из страха перед богом. Но все же он поклялся Аполлоном Пифийским, Артемидой, самой Афродитой и Эротами, что во всем будет поступать так, как хотела и просила Хариклия.

19. Они давали друг другу такие обещания и некоторые другие, призывая богов в свидетели, а я, прибежав к Хариклу, нахожу его дом полным смятения и скорби, так как к нему уже пришли слуги и сообщили о похищении девушки, а граждане, не зная, что случилось и не видя, что надо делать, собрались толпой и и обступили плачущего Харикла.

— Итак, — закричал я, — о злополучные, до каких же пор будете вы сидеть без слов и без дел, похожими на поглупевших, будто несчастье

и ума вас лишило. Почему не погонитесь с оружием в руках за врагами? Не захватите и не покараете оскорбителей?

А Харикл сказал:

— Излишним будет, может быть, бороться с происшедшим. Я понимаю, что терплю вследствие божьего наказания: как-то в неурочное время вошел я в святилище и узрел своими очами то, чего нельзя было видеть. Мне предсказал бог, что я за то, что видел неподобающее, буду лишен лицезрения самого дорогого для меня. Впрочем, ничто не препятствует, как говорят, и с богом сразиться, если бы мы только знали, за кем надо гнаться и кто нанес нам такое тяжкое поражение.

— Это — тот фессалиец, — ответил я, — которому ты дивился и с которым и меня сдружил. Это — Феаген и бывшие с ним мальчишки. Быть может, ты застанешь еще в городе кого-нибудь из них: до этого вечера они были здесь. Встань же и зови народ на собрание.

Так и поступили. Военачальники назначили созыв собрания, объяснив об этом народу звуками трубы, народ тотчас же собрался, и театр стал ночным совещалищем. Харикл, выйдя на середину, одним своим появлением исторг стоны у толпы. Одетый в черную одежду, с лицом и головой посыпанными пеплом, он говорил так:

— Может быть, дельфийцы, вы полагаете, смотря на изобилие моих несчастий, что я выступил на середину и созвал это собрание, желая заявить о себе, но дело обстоит не так. Правда, частенько обстоятельства мои бывают таковы, что уж лучше сама смерть, но теперь дом мой пуст, поражен богом и одинок впредь,

лишенный сразу всех дорогих для меня близких. Все же общий всем обман и суетная надежда еще побуждают меня переносить это, представляя мне возможной находку дочери. Но еще более надеюсь я на город: я прежде всего ожидаю увидеть, что он покарает оскорбителей, если только фессалийские мальчишки не похитили у вас и свободолюбивого духа, негодования за родину и отчих богов. Самое тяжкое то, что немногочисленные плясуны, юноши священного посольства скрылись, поправ первый из греческих городов и выкрав драгоценное сокровище из храма Пифийского бога — Хариклию, увы, свет моих очей. О, зависть божества, как неумолима ты к нам! Мою первую и настоящую, как вы знаете, дочь, эта зависть угасила вместе с брачными факелами, мать ее, убитую свежим горем, проводила туда же, меня лишила родины. Но все можно было снести после обретения Хариклии. Хариклия была для меня жизнью, надеждой и наследницей рода. Хариклия — единственное утешение, мой, так сказать, якорь. И она похищена и унесена не знаю чем: постигшей ли меня невзгодой, или божеской силой (и не попросту, не когда попало, а как-раз в то время, чтобы некстати жестоко надо мной подшутить) — похищена почти что из брачной опочивальни, сразу после объявления всем вам относительно брака Хариклии.

20. Так восклицал Харикл и совершенно предался плачу, но военачальник Гегесий остановил его, отстранил и сказал:

— Присутствующие, Хариклу можно будет плакать и теперь, и потом, мы же не дадим его

горю захлестнуть нас, не станем незаметно для самих себя уноситься, как волнами, его слезами и терять время — вещь вообще весьма важную, а в особенности на войне. Сейчас, если мы немедленно прекратим собрание, у нас есть надежда захватить врагов, так как ожидание, что мы будем долго готовиться, располагает их к более медленному продвижению. Если же мы, сетуя или, вернее, поступая по-бабьи, своей медлительностью позволим врагам опередить нас, нам остается только быть высмеянными и кем же? — этими мальчишками. Я полагаю, что их надо как можно скорее поймать и распять, а кое-кого подвергнуть лишению гражданских прав, распространив эту кару также и на их род. А это можно было легко сделать, если возбудить в фессалийцах негодование и против них самих, если кто ускользнет, и против их близких: пусть народное собрание запретит им участвовать в священном посольстве и в жертвоприношениях герою и постановит, чтобы эти празднества совершались на средства нашей казны.

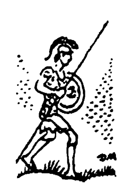
21. Это предложение встретило одобрение и получило со стороны народа утверждение; тогда военачальник сказал:

— Пусть, если вам угодно, будет постановлено еще вот что: храмослужительница не должна более светить людям, бегущим в полном вооружении. Насколько я могу судить, отсюда пошло начало феагенова нечестия: похищение он замыслил, повидимому, с первого же взгляда. Поэтому хорошо было бы пресечь на будущее время все подобные попытки.

Когда же в пользу этого предложения были

собраны все голоса и подняты все руки, Гегесий дал знак к выступлению.

Труба заиграла по-военному. Театр войной заканчивался, и неудержимо побежали из народного собрания на войну не только военнообязанные и люди в расцвете сил, но множество детей и едва возмужавших юношей, словно их воодушевление, прибавило им лет, смело пытались принять участие в этом походе. Много женщин, воспылав вопреки своей природе мужеством и схватив вместо оружия, что попало, безуспешно погнались вслед за всеми, но потерпели неудачу в этом деле, убедившись в своей женской природе и свойственной ей слабости. Можно было видеть битву старца со старостью, наблюдать усилия духа, как бы влекущие тело, и слабость, упрекаемую усердием. Весь город был потрясен похищением Хариклии и, словно движимый одним чувством, всенародно тотчас же пустился в погоню, даже не дождавшись наступления дня.




Книга пятая



1. Вот что творилось в городе Дельфах, успешно или безуспешно — не знаю в точности. Преследование заставляло меня не мешкать с бегством. Взяв с собой молодую чету, я, прямо как был, в ту же ночь повел ее к морю и взошел на финикийский корабль, чуть было не отчаливший: уже рассветало, и финикияне полагали, что не нарушат этим данной мне клятвы, ведь они обещали ожидать нас лишь одни сутки. Когда мы появились, они с радостью нас приняли. Тотчас же мы вышли из гавани сперва на веслах, но подул легкий ветер, побежала низкая волна, как бы ласкаясь к корме, и мы поручили парусам нести корабль Киррейские бухты, отроги Парнаса, Этолийские и Калидонийские скалы пробегали мимо корабля, словно летящего. Острова Острые — и по виду

и по названию — и Закинфское море появились, когда солнце стало уже склоняться к западу.

Но что я так некстати заболтался, незаметно увлекшись описанием моря и позабыл о том, что следовало далее. Впрочем, остановимся тут и предадимся немного сну. Хотя ты и весьма охотно меня слушаешь и храбро борешься со сном, все же мне кажется, Кнемон, ты поддался ему — поздненько, до глубокой ночи, затянул я описание моих испытаний. К тому же меня, дитя мое, отягощает старость и притом воспоминания о бедствиях ослабляют мой разум и клонят ко сну.

— Так остановись, отец мой, — сказал Кнемон, — но только не из-за меня прерываешь ты свое повествование. Мне кажется, я не допустил бы этого даже тогда, если бы ты для своего рассказа связал вместе много ночей и еще больше дней: так захватывающе увлекательно твое повествование. Но я уже некоторое время слышу в доме какой-то шум и человеческие голоса. Я начал было беспокоиться, но был принужден молчать, так влекло меня все время желание тебя слушать.

— А я и не заметил, — сказал Каласирид, — вероятно потому, что от старости стал глуховат. Старость поражает слух, как и многое другое, а может быть я был поглощен своим рассказом. Мне кажется, это вернулся Навсикл, хозяин дома. Но, о боги, чего удалось ему достигнуть?

— Всего, чего я желал, — сказал Навсикл, как-раз входя к ним. — Я так и знал, что ты размышляешь о моих делах, дорогой Каласирид, и мысленно сопутствуешь мне. Я это заметил и

вообще из твоего обычного ко мне отношения, а также и из твоих слов, во время которых я застал тебя. А кто этот чужестранец?

— Грек, — сказал Каласирид, — остальное ты узнаешь потом. Но если тебе посчастливилось, скажи скорей, чтобы и мы могли порадоваться вместе с тобой.

— Вы также, — возразил Навсикл, — узнаете все наутро; а пока-что, вам достаточно знать, что я раздобыл себе Фисбу еще получше. Я так утомлен путешествием, что мне необходимо освежиться кратким сном.

2. Сказав это, он удалился, чтобы исполнить свое намерение. Кнемон оцепенел, услышав имя Фисбы. Не зная, что делать, он совершенно потерял голову: тяжело и часто стенал и всю ночь не мог найти себе покоя. Под конец это заметил даже Каласирид, хотя и был объят сном, да к тому же глубоким. Старик все же приподнялся, и опершись на локоть, спросил Кнемона, что с ним и почему он так чрезмерно волнуется, почти не отличаясь от безумного.

— Как мне не безумствовать, — возразил ему Кнемон, — когда мне говорят, что Фисба жива.

— Да кто такая эта Фисба? — сказал Каласирид. — Откуда ты это взял и почему ты озабочен известием, что она жива?

На это Кнемон возразил так: — Об остальном ты услышишь впоследствии, когда я тебе расскажу о себе. Но ее я своими собственными глазами видел убитой и вот этими руками похоронил у разбойников.

— Спи, — промолвил Каласирид, — а в чем тут дело, мы скоро узнаем.

— Вряд ли я выдержу, — сказал тот, — но

ты не беспокойся. Я не переживу, если тотчас же не выйду и не постараюсь разузнать, в какое заблуждение впал Навсикл или каким это образом только у египтян умершие воскресают.

Улыбнулся на это слегка Каласирид и снова погрузился в сон.

Выйдя из комнаты, Кнемон испытал все, что, вероятно, должен испытать всякий, блуждающий ночью впотьмах в чужом помещении. Тем не менее все побеждал страх перед Фисбой. Кнемон спешил отделаться от подозрений. В конце концов, часто принимая одни и те же места за новые, он услышал голос женщины, где-то тайно и неутешно плачущей, подобно весеннему соловью, поющему в ночи свою жалобную песнь. Руководимый этим плачем, он направился к какой-то комнате и, приложив ухо к дверной щели, начал слушать. И вот какие причитания он услышал:

— Я же несчастная, руки разбойников миновав и кровавой смерти избежав, полагала остаток жизни прожить вместе с возлюбленным; хоть на чужбине и в скитаниях, но с ним эта жизнь стала бы для меня наслаждением. Ничто не является для меня столь ужасным, что с ним не становилось бы прекрасным. Ныне же всегда ненасытное, изначала поразившее меня божество, предоставив мне немного радости, снова меня обольщает. Я полагала, что избегла рабства, и вот я снова раба! Вот темница, и я под стражей. Остров скрывал меня и мрак. Подобное этому совершается и теперь. Вернее сказать еще худшее, так как тот, кто желал и мог меня утешить, теперь далек. Разбойничья пещера была для меня до вчерашнего дня сокро-

венным пристанищем. А разве не пропасть и не могила это жилище? Но облегчал и это своим присутствием тот, кто мне дороже всего. Там он меня и живую оплакивал и по умершей — как он думал — слезы проливал и словно по убитой горевал. Лишена я теперь и этого. Покинул меня соучастник моих несчастий, грусть мою как общее бремя со мной разделявший. А теперь я одна и одинока, пленница и плача достойна, брошена на произвол злой судьбы и лишь потому терплю еще жизнь, что надеюсь, что жив мой сладчайший. Но, душа моя, где ты находишься? Какая судьба постигла тебя? Увы, не стал ли и ты рабом, ты, свободный дух, никем не порабощенный, кроме Эрота. Только бы ты спасся и увидел когда-нибудь свою Фисбу. Ведь так ты меня назовешь, даже и против желания.

3. Услыхав это, Кнемон уже не мог более владеть собою и перестал подслушивать дальнейшее. Из первых же слов он сделал какой-то вывод, а из сказанного под конец решил, что это действительно Фисба, и чуть не рухнул у самых дверей. Сдерживая себя с трудом и боясь быть застигнутым, так как петухи пропели уже второй раз, он удалился, шатаясь. То ушибая себе ноги, то внезапно натыкаясь на стены и ударяясь головой о косяки верей, об утварь, каким-то образом свешивавшуюся с потолка, он после долгих блужданий добрался до комнаты, где они помещались, и рухнул на постель. Тело его охватила дрожь, а зубы стучали. И он мог бы подвергнуться величайшей опасности, но Каласирид, заметив это, тотчас же согрел его в своих объятиях

и всячески подбадривал. Когда же тот немного отдышался, Каласирид спросил, в чем дело.

— Погиб я, раз правда, что жива негоднейшая Фисба! — воскликнул Кнемон и снова упал замертво.

4. Каласирид опять принялся хлопотать, пытаясь привести его в чувство. Подшутило над Кнемоном какое-то божество, вообще привыкшее подчас насмехаться и играть судьбою людей. Оно не позволяло ему без горя вкусить счастья и к тому, что вскоре должно было доставить ему наслаждение, уже примешивало страдание. Возможно, что таков уж обычай божества, как видно и в этом случае, а возможно, что сама природа человеческая неспособна воспринимать несмешанную, чистую радость. Так и тогда Кнемон избегал того, к чему должен был более всего стремиться, и приятное казалось ему страшным. Не Фисба была та плачущая женщина, а Хариклия. Случилось же с нею вот что:

Когда Фиамид был схвачен живым и попался в плен, остров был подожжен и покинут разбойниками. Ранним утром Кнемон и Фермуфид, щитоносец Фиамида, переплыли озеро, чтобы разведать, что сделали враги с главарем разбойников. А произошло с ними то, что было уже сказано выше.

Одни остались в пещере Феаген и Хариклия, и нагромождение угрожавших им бедствий они сочли за величайшее благо. Впервые оказавшись наедине друг с другом, освободившись от всякого, кто мог бы помешать им, беспрепятственно и всецело предались они объятиям и поцелуям. Позабыв при этом обо всем, долго

сидели они обнявшись и как бы слившись воедино, вкушая целомудренную и девственную любовь, проливая друг на друга влажные и горячие слезы, сочетаясь лишь чистыми поцелуями. Хариклия, когда замечала, что Феаген чрезмерно увлекался и возгорался желанием, удерживала его напоминаниями о данной клятве. Он сдерживал себя без труда и повиновался благоразумию. И, любовью побежденный, над страстью одерживал победу.

Когда же, наконец, вспомнили о том, что им еще предстояло совершить, они были принуждены прекратить ласки, и Феаген произнес следующие слова:

— О Хариклия, помолимся греческим богам. Да позволят они нам оставаться вместе и достигнуть того, что поставили мы своею главнейшею целью и из-за чего все выносили. Непостоянно все человеческое и вечно меняется. Много мы выстрадали, но и на многое еще надеемся. Предстоит нам отправиться в селение Хеммис, как мы условились с Кнемоном, и неизвестно, какая участь нас там постигнет. Огромное и беспредельное, как кажется, расстояние остается нам еще до желанной страны. Так, давай, сделаем себе какие-нибудь условные знаки, по которым мы будем тайно узнавать наше присутствие и, если придется расстаться, будем искать друг друга. Хорошим напутствием в скитании служит дружеский уговор, соблюдаемый для узнавания.

5. Одобрила эту мысль Хариклия, и они решили, если будут разлучены, делать надписи на храмах или на видных изображениях, на гермах и на камнях, стоящих на перепутьях. Феа-

ген должен был писать: «Пифиец», а Хариклия: «Пифийка отправились направо или налево, по направлению к такому-то городу, селению или народу», а также указывать день и час. Если же они встретятся, то им достаточно будет лишь увидать друг друга. Никакое время не в состоянии вытравить из их душ любовные приметы. Все же Хариклия показала положенный некогда вместе с нею отцовский перстень, а Феаген — шрам на колене, полученный во время охоты на кабана. И словесные знаки назначили они себе: для нее:—светильник, для него же — пальмовая ветвь.

После этого снова обнялись и снова заплакали, так что, казалось, они творили возлияния слезами и в клятву превращали поцелуи.

Порешив на этом, они вышли из пещеры, не тронув ничего из всех лежавших там драгоценностей, так как считали оскверненным богатство, добытое грабежом. Но то, что они сами привезли из Дельфов, разбойники у них не отняли, и это они стали собирать. Хариклия переоделась и в какую-то сумку спрятала свои ожерелья, венки и священную одежду, а чтобы скрыть эти вещи, прикрыла их разными предметами, не имеющими цены. Лук и колчан она поручила нести Феагену, приятнейшую для него ношу и привычное вооружение властвующего над ним бога.

Уже они подходили к озеру и собирались войти в челнок, как вдруг увидали вооруженное полчище, переправляющееся на остров.

6. Обомлев от этого зрелища, долго стояли они в безмолвии, как бы подавленные судьбою, непрерывно угрожающей им. В конце концов,

когда наступавшие почти пристали к берегу, Хариклия решила убежать и спрятаться в пещере, чтобы хоть как-нибудь укрыться. Она бросилась бежать, но Феаген удержал ее, сказав:

— До каких пор будем мы убегать от всюду преследующего нас рока? Покоримся судьбе и отдадимся грядущему. Мы этим выгадаем в напрасных скитаниях, в бродячей жизни и в постоянных глумлениях божества. Разве не видишь, что божество решило к бегству сразу присоединить пиратов и к бедствиям на море прибавило еще более тяжкие на суше? Только-что была битва, сразу потом разбойники. Еще недавно божество сделало нас пленниками, и вновь мы оказались покинутыми. Божество предоставило нам избавление и свободное бегство, и вдруг привело тех, кто собирается нас убить. Опять война — так подшутило над нами божество, поместив нас словно на сцену и устроив из нашей жизни представление. Так почему же нам не оборвать это его трагическое произведение и не отдаться в руки тех, кто собирается покончить с нами? Лишь бы только, желая закончить действо чем-либо чрезвычайным, божество не заставило нас самих наложить на себя руки!

7. Не со всем сказанным согласилась Хариклия; она говорила, что Феаген справедливо обвиняет судьбу, но не одобряла решения добровольно отдать себя в руки врагов:

— Еще неизвестно, убьют ли они нас, когда возьмут в плен. Ведь не со столь добрым божеством приходится нам сражаться, чтобы ожидать быстрого избавления от несчастия. Возможно, что враги решат оставить нам жизнь

для рабства. А разве это не горше смерти—быть отданным проклятым варварам на позорное и несказанное поругание? Всеми возможными способами мы должны попытаться избежать этого, почерпнув надежду на удачу из прежних испытаний, так как мы уже часто выходили невредимыми, даже из более невероятных положений.

— Пусть будет по-твоему,—сказал Феаген и последовал за нею, подчиняясь против воли. Но они не успели дойти до пещеры. В то время как видели приближавшихся спереди, от них остался скрытым тот отряд, что высадился сзади, в другом месте острова, и они оказались окруженными со всех сторон. Пораженные, они остановились. Хариклия подбежала к Феагену, чтобы, если придется ей умереть, это случилось в его объятиях. Из наступавших некоторые обнажили оружие для удара. Когда же молодая чета взглянула на них и окинула своим взором надвигавшихся, у тех смутился дух и опустились десницы. Даже рука варвара, как кажется, чувствует почтение перед прекрасным, и миловидное зрелище покоряет и строптивый взор.

8. Схватив их, воины поспешно отправились к начальнику, желая первыми доставить лучшее из добычи. Оказалось, что это было единственным, что они могли раздобыть. Никто другой ничего не мог найти, хотя они весь остров исходили от края до края и оружием окружили его, как бы сетями, отовсюду. Но весь остров был опустошен огнем и происходившей здесь битвой, а пещера, одна лишь оставшаяся невредимой, была сокрыта от взоров.

И вот, Феаген и Хариклия были приведены к

военачальнику. Это был Митран, начальник стражи Ороондата, управлявшего Египтом от имени великого царя. Как явствует из сказанного, побужденный многими подарками со стороны Навсикла, он прибыл на остров в поисках за Фисбой. Когда же Феаген и Хариклия подошли ближе, все время призывая богов спасителей, и Навсикл увидел их, ему пришло на ум нечто достойное мелкого торговца. Он вскочил и подбежав громко воскликнул:

— Вот она, та Фисба, которую похитили у меня проклятые разбойники. Но я вновь получаю ее от тебя, Митран, и от богов.

Схватив Хариклию, он сделал вид, будто чрезмерно радуется и, тайно обратившись к ней на греческом языке, чтобы присутствующие не заметили, велел ей, если она желает спастись, согласиться, что она действительно Фисба. И хитрость эта удалась, так как Хариклия, услышав греческий язык, решила, что достигнет через этого человека какой-нибудь пользы для них, и стала действовать с ним заодно. И когда Митран спросил, как ее зовут, она назвала себя Фисбой.

Тогда Навсикл подбежал к Митрану, покрыл его голову поцелуями и, удивляясь судьбе, начал превозносить варвара, уверяя, что тот и прежде всегда имел успех в военных действиях и что этот поход он тоже совершил удачно. Митран, польщенный похвалами и введенный в заблуждение именем Фисбы, поверил, что дело обстоит именно так. Он был поражен красотою девушки, так как и сквозь бедную одежду сияла она, как лунный свет сквозь тучу. Легковерный ум его был опутан тонким обманом.

Пропустив срок изменить свое решение, он сказал:

— Так бери же ее, если она твоя, и уведи с собою.

С этими словами он вручил ее Навсиклу. Но по взгляду Митрана, непрестанно обращенному на Хариклию, было видно, что против воли и лишь из-за того, что получил уже награду вперед, уступает он девушку.

— Зато этот, кто бы он ни был, — сказал Митран, указывая на Феагена, — будет нашей добычей и последует с нами под стражею, чтобы быть посланным в Вавилон. Он достоин того, чтобы прислуживать при царском столе.

9. После этих слов они переправились через озеро и разошлись в разные стороны. Навсикл, взяв с собою Хариклию, направился в Хеммис, Митран же двинулся по направлению к другим подвластным ему селениям и, не откладывая дела, тотчас же отослал к Ороондату, находившемуся в Мемфисе, Феагена вместе с грамотою следующего содержания:

Ороондату сатрапу — Митран, начальник стражи.

Взяв в плен какого-то греческого юношу, слишком прекрасного, чтобы оставаться в моем владении и достойного предстать перед очами божественного, величайшего царя и служить одному лишь ему, посылаю его тебе и этим уступаю тебе честь преподнести нашему общему владыке столь великий и прекрасный подарок, какого царский двор никогда ранее не видывал и более не увидит.

10. Вот что написал Митран. Но не успел еще показаться день, как уже Каласирид вместе

с Кнемоном отправился к Навсиклу, чтобы услышать то, чего они еще не успели разузнать. На вопрос, что он совершил, Навсикл рассказал все: как он явился на остров и застал его опустошенным, как сначала никого не встретил; как потом он обманным образом провел Митрана, захватив себе какую-то появившуюся девушку, вместо Фисбы, и что он сделал лучше, взяв эту, чем если бы нашел ту. Разница между ними огромна, все равно как между человеком и богом. Нет ничего, превосходящего ее красотою, и нельзя описать ее словами, но можно в этом убедиться, если она сама появится.

11. Услышав это, они стали подозревать истину и попросили его приказать девушке скорее явиться. Ведь узнали они несказанную красоту Хариклии. Ее привели, но она потупила взор и лицо ее было закрыто до бровей. Навсикл ободрил ее, она слегка подняла глаза и, против ожидания, сама увидала присутствующих и была ими узнана. Тотчас же все подняли плач и, как бы по одному условному знаку или удару, начали причитать. Долго можно было слышать слова:

— О, отец! — и

— Во истину, это Хариклия, а не Фисба!

Навсикл онемел от изумления, видя, как Каласирид плакал, обнимая Хариклию. Он не знал как понять эту сцену узнавания, происходящую словно в театре, пока, наконец, Каласирид не начал целовать его и не рассеял его подозрения, сказав:

— О, наилучший из мужей, да ниспошлют тебе за это боги в избытке все, чего ты пожелаешь! Ты стал спасителем моей дочери, которой мне уже больше неоткуда было ждать. Ты

дал мне увидеть сладчайшее для меня зрелище. Но, Хариклия, дочь моя, где ты оставила Феагена?

Услышав этот вопрос, Хариклия зарыдала и, немного спустя, сказала:

— Пленником его увел тот самый человек, кто бы он ни был, который и меня отдал вот этому.

Тогда Каласирид попросил Навсикла поведать им, что он знает о Феагене: кто им теперь владеет и куда его повели, взявши в плен. Навсикл рассказал все, поняв, что дело идет о тех самых молодых людях, о которых часто говорил с ним старик и которых тот оплакивал, когда он встретил его бродящего в поисках. Он прибавил, что напрасны для них эти сведения, так как они люди бедные и было бы удивительно, если бы Митран отпустил юношу, даже получив большое вознаграждение.

— У нас есть средства,— тайком сказала Хариклия Каласириду,— предлагай цену, какую хочешь. Я спасла ожерелье, которое ты знаешь, и ношу его при себе.

12. Ободренный этими словами, но боясь, чтобы Навсикл не догадался, в чем дело и не заметил того, что было у Хариклии, Каласирид сказал:

— Дорогой Навсикл, не может быть, чтобы мудрец в чем-нибудь нуждался. Богатство его зависит от его воли, он получает от вышних столько, сколько находит нужным просить, потому что он знает, сколько подобает просить. Поэтому скажи только, где находится тот, кто завладел Феагеном. Не оставят нас боги, и нам хватит всего, что мы пожелаем, чтобы насытить персидскую жадность.

Усмехнулся на это Навсикл и ответил:

— Тогда только ты убедишь меня, будто можешь какой-то уловкой вдруг разбогатеть, если сначала уплатишь ты выкуп мне вот за нее. Ты же знаешь, что купец, как и перс, одинаково любят деньги.

— Знаю, — сказал Каласирид, — ты получишь свое. Почему бы нет? Ведь ты не прекращаешь своих благодеяний и, предупреждая наши просьбы, по собственному почину соглашаешься вернуть мне мою дочь. Но сперва мне следует совершить молитвы.

— Сделай одолжение, — заметил Навсикл. — Тем более, что я собираюсь принести благодарственные жертвы богам. Придя в храм, если считаешь нужным, помолись богам и попроси богатства для меня, а потом возьми его себе.

— Не шути и не будь неверующим, — сказал ему Каласирид, — пойди и приготовь все для жертвоприношения. Мы явимся, когда все уже будет готово.

13. Так они и поступили, а вскоре явился посланный от Навсикла и позвал их поспешить к жертвоприношению. Заранее условившись, что им надлежит делать, они охотно отправились туда. Мужчины пошли с Навсиклом и всею толпою приглашенных, так как жертвоприношение было устроено всенародно. Хариклия — с дочерью Навсикла и с другими женщинами, которые долгими уговорами и мольбами едва убедили ее пойти с ними, и вряд ли она согласилась бы, если бы не решила, под предлогом жертвоприношения, воспользоваться случаем вознести молитвы за Феагена.

Итак, они направились к храму Гермеса — ему приносил жертву Навсикл, почитая его бо-

лее прочих богов как покровителя рынков и торговли. Лишь только жертвы были положены на алтарь, Каласирид быстрым взором окинул внутренности животных, и по лицу его было видно, что открылось ему будущее: разнообразные случайности, сладостные и горестные. Тогда воздел он руки к алтарю, еще пылавшему, и, что-то бормоча, вынул якобы из огня то, что заранее принес с собою.

— Вот, Навсикл, — сказал он, — боги через нас посылают тебе выкуп за Хариклию.

И с этими словами он вручил ему один из царских перстней, чрезвычайное и чудесное сокровище. Кольцо было сделано из янтаря со вставленным в него эфиопским аметистом, величиной с девичий глаз в окружности, красотою во много раз превосходящим иверийские и британские камни. Эти последние слабо отливают красным цветом, похожи на розу, распускающуюся из чашечки в лепестки и впервые краснеющую от солнечных лучей. Аметист же эфиопский ясно сверкает из глубины, словно весенний день. Если поворачивать его в руках, он испускает золотые лучи, и не ослепляют они взора остротою, но блеском своим его ласкают. И присущая ему сила в нем полнее, чем у западных камней; поэтому не напрасно носит он свое название, но поистине является для того, кто им владеет, аметистом так как сохраняет его трезвым на пирах*.

14. Таковы все аметисты из Индии и Эфиопии. Тот же, который Каласирид поднес Навсиклу, имел перед ними еще то преимущество, что на нем была вырезана картина, изображающая животных. А было на рисунке вот что:

мальчик пас овец. Чтобы лучше видеть их, мальчик встал на невысокую скалу и погонял стадо по пастбищу игрою на флейте.

Овцы, казалось, слушались его и паслись, покорные звукам свирели. Можно было бы сказать, что покрыты они золотою шерстью, и это происходило не благодаря искусству, но присущий аметисту красный цвет сверкал на их спинах. Были также изображены нежные прыжки ягнят. Одни толпою взбирались на скалу, иные задорно кружились вокруг пастуха, превращая пригорок в какую-то сцену пастушеского театра.

Другие. оживленные блеском аметиста, будто солнцем, резвясь царапали скалу концами копыт. Более взрослые и более смелые, казалось, хотели выскочить за пределы круга, но искусство удерживало их, окружив их и скалу золотою оправою, как бы загоном. И была это по правде скала, а не изображение, так как художник очертил часть камня в высоких местах и показал в действительности то, что желал изобразить, считая странным воспроизводить камень в камне. Таков был перстень.

15. Навсикл был одновременно и удивлен неожиданностью и еще более обрадован драгоценностью: он считал камень равноценным всему своему состоянию.

— Я пошутил, — сказал он, — дорогой Каласирид, и вовсе не это я подразумевал, прося у тебя награды. Я собирался без выкупа отдать тебе дочь, но так как «славны бессмертных дары — как говорите вы — и от них отрекаться не должно»,* то я принимаю этот камень, ниспосланный мне богом. Я убежден, что как

всегда, так и теперь эта находка послана мне Гермесом, прекраснейшим и добрейшим из богов, который действительно через огонь ниспослал тебе этот дар. Можно видеть, как перстень весь горит в своем сиянии. Да и вообще я считаю прекраснейшею прибылью ту, что не причиняет ущерба дающему, но обогащает получающего.

Окончив так свои слова, Навсикл вместе со всеми остальными обратился к пиршеству, предназначив отдельно для женщин внутреннее помещение святилища, а мужчин расположив в преддверии храма.

Они, наконец, досыта насладились яствами, и столы уступили место чашам; тогда мужчины воспели воинственные песни в честь Диониса и совершили ему возлияние, а женщины проплясали Деметре благодарственный гимн. Хариклия же, отделившись от них, была занята своим делом. Она молилась о спасении и сохранении Феагена.

16. Пир был в самом разгаре, и каждый нашел себе какое-либо развлечение. Тогда Навсикл, подняв кубок с чистою водою, сказал:

— Дорогой Каласирид, в твою честь выпиваю я эту чашу; она наполнена, как это тебе любо, лишь чистыми Нимфами, которых не касался Дионис, и поистине еще девственными. Если же ты в ответный кубок нальешь нам свою речь, которой мы жаждем, то ты угостишь нас прекраснейшим напитком. Ты ведь слышишь, что женщины для увеселения пирующих завели свои хороводы. Нам же рассказ о твоих скитаниях, если ты только захочешь, наилучшим образом украсит наше пиршество и будет слаще всякой пляски и звуков флейты. Ты

сам знаешь, как часто откладывал ты свое повествование, пока был погружен в заботы, но ведь не представится для рассказа более подходящего случая, чем теперь, когда из твоих детей дочь уже спасена и находится перед тобою, а сына ты, с помощью богов, вскоре увидишь, в особенности, если не будешь огорчать меня, опять откладывая свой рассказ.

— Да снизойдут на тебя всякие блага, Навсикл, — прервал его Кнемон. — Ты приготовил для пира всякого рода увеселения, но теперь ты пренебрег ими. Предоставив их менее достойным, ты готов предаться поистине священным делам, соединенным с божественным наслаждением. Мне кажется, ты наилучшим образом понял божество, соединив Гермеса с Дионисом и к питью прибавив сладость слов. Я вообще дивился великолепию твоего жертвоприношения, но невозможно более угодить Гермесу, чем украсив его пир речами. Это всего более свойственно этому богу.

Каласирид последовал их предложению отчасти в угождение Кнемону, отчасти желая и впредь расположить к себе Навсикла, и поведал все, сокращая то, что он раньше уже рассказал Кнемону, и приводя как бы только одни заголовки, а кое-что, чего не считал нужным сообщить Навсиклу, и нарочно обходил молчанием; остальное же, о чем он еще не говорил и что примыкало к сказанному, он начал следующим образом.

17. — Так вот, — сказал Каласирид, — когда мы взошли на финикийский корабль и отплыли от Дельфов, сначала все шло по нашему желанию: умеренный ветер дул в спину. Когда же при-

были в Калидонийский пролив, то нам пришлось пережить немало волнений, потому что это море по природе очень неспокойно.

Кнемон не желал ничего пропускать и попросил Каласирида объяснить причину происходящих в этом месте ненастий. Тот ответил:

— Ионийское море, широко раскинувшееся, здесь сужается, словно через некое устье, в Криссейский залив вливается и, спеша соединиться с Эгейским морем, в своем стремлении вперед задерживается Пелопонесским Истмом. Море, как видно, волею вышних отгорожено выдвинутым перешейком, чтобы не затопило противоположного берега. И, как это весьма понятно, из-за этого образуется обратное течение, сильнее стесненное в проливе, чем в остальной бухте. Бегущие волны непрестанно встречаются со струями, текущими назад. Вода приходит в движение и возбуждает вздымающиеся волны, которые от взаимного столкновения завершаются страшною зыбью.

После этих слов все присутствующие стали приветствовать и хвалить Каласирида, подтверждая, что он правильно объяснил причину этого явления. Он же продолжал такими словами:

— Мы проехали пролив, Острые острова скрылись из виду, и мы начали уже различать Закинфскую вершину, явившуюся нашему взору, как смутное облачко. Тут кормчий велел подобрать паруса. На наш вопрос, почему он замедляет бег корабля, идущего попутным ветром, он ответил, что если мы пойдем на всех парусах, то прибудем к острову ко времени первой стражи, а между тем опасно в темноте при-

ставать к местам, изобилующим мелями и подводными камнями. Поэтому лучше провести ночь на море и пользоваться слабым ветром с таким расчетом, чтобы к утру достигнуть суши.

18. Так говорил кормчий, но этого не случилось, дорогой Навсикл, и когда солнце взошло, то и мы бросили якорь.

Население острова, живущее вокруг гавани, находящейся неподалеку от города, стеклось посмотреть на нас, как на нечто необычайное, удивляясь, повидимому, ловкости и величине корабля, прекрасно сработанного. Все говорили, что узнают в нем искусную работу финикиян. Но больше удивлялись невероятному счастью, благодаря которому мы совершили спокойное и благоприятное плавание в зимнюю пору после захода Плеяд.

Как только причалы были закреплены, наши спутники почти все покинули корабль и отправились в город Закинф по торговым делам. Я же, узнав от кормчего, что они намереваются зимовать на острове, пошел туда же по берегу в поисках какого-либо убежища, так как я избегал корабля, считая его неподходящим жилищем из-за беспокойных моряков, а город небезопасным для наших молодых беглецов. Пройдя немного, я увидел старого рыбака, сидевшего перед своими дверьми и чинившего петли разорванной сети. Подойдя к нему, я сказал:

— Здравствуй, почтеннейший, скажи мне, где можно было бы найти себе пристанище?

Он отвечал: — У ближайшего мыса на скалистом утесе вчера эта сеть застряла и разорвалась.

А я ему на это: — Этого мне вовсе не надо знать, но ты поступил бы хорошо и человеко-

любиво, если бы сам принял нас или указал кого-нибудь другого.

Он на это ответил: — Нет, не сам. Ведь я и не выезжал с ними. Да и никогда не ошибается так Тиррен, хотя его и гнетет старость. Это оплошность ребят, которые по незнанию подводных камней поставили сети там, где не следует.

Наконец, поняв, что он глуховат, я закричал ему более громким голосом:

— Желаю тебе доброго здоровья, — сказал я, — укажи-ка нам какое-нибудь убежище, так как мы чужеземцы.

— Ты также будь здоров, — ответил он, — и оставайся, коли хочешь у нас, если ты случайно не из таких, которые ищут дома со многими покоями или везут с собою толпы челяди.

Я сказал ему, что со мною двое детей, а сам я—третий.

— Ладно, — воскликнул он, — это как-раз подходит: нас тоже только одним больше. Со мною живут только двое детей, потому что старшие переженились и имеют собственные семьи. А четвертая—это кормилица детей, потому что мать их недавно умерла. Поэтому, друг мой, ты и думать не смей, что мы примем тебя неохотно, ведь даже по первой встрече видно твое благородство.

Я так и поступил, и когда я вскоре появился с Феагеном и Хариклией, то Тиррен радостно меня принял и отвел нам более теплую часть дома.

Сперва мы довольно приятно коротали зимние дни, проводя время всегда вместе и расставаясь лишь тогда, когда нужно было итти спать. Хариклия помещалась с кормилицей, я отдельно,

с Феагеном, а Тиррен со своими детьми в другой комнате. Стол был у нас общий, причем мы поставляли все остальное, а Тиррен угощал своих гостей скромной пищей, добываемой в море. Иногда он ловил один, иногда же для развлечения и мы принимали участие в ловле, которую он разнообразил соответственно всякому времени. Он удачно бросал сети, имел богатый улов, так что многие принимали его опытность в своем деле за благословение судьбы.

19. Но оказалось невозможным, как говорится, чтобы несчастный терпел несчастие не во всех отношениях. Даже и в уединении красота Хариклии была ей в тягость. Тот тирийский купец, победитель на Пифийских играх, с которым мы вместе приплыли, стал приходить ко мне наедине и частенько надоедал мне, мучил своими просьбами, умолял меня, как отца, чтобы я отдал ему в жены Хариклию. Он очень превозносил себя, то описывая свой знатный род, то перечисляя наличное богатство, говоря, что корабль принадлежит ему одному, что он владеет большею частью находящегося на нем груза, состоящего из золота и камней, стоящих много талантов*, и из шелковых одежд. Как немалую заслугу, увеличивающую его славу, он называл и победу на Пифийских играх и еще многое другое, кроме этого. Когда же я ему указал на свою бедность в настоящее время и на то, что я решил ни за что не выдавать своей дочери за человека, обитающего в чужой земле и принадлежащего к народу, столь отдаленному от Египта, он воскликнул:

— Оставь это, отец. Из-за девушки я рад отказаться от приданого, от многих талантов и

всего богатства. Народ свой и родину я переменю на вашу и, хотя я и собираюсь плыть в Кархедонию, я согласен отправиться с вами, куда вы захотите.

20. Видя, что финикиец не отступает, но чрезмерно разгорается в своем желании, не оставляя мне ни одного дня, чтобы оттянуть это дело, я счел нужным пока что обнадежить его добрыми уверениями, чтобы не подвергнуться на острове какому-нибудь насилию, и обещал ему сделать все, прибыв в Египет. Когда я таким образом хоть отчасти справился с этим затруднением, божество, по пословице, за одной волной уже посылало другую. А именно, немного дней спустя, Тиррен, отведя меня куда-то по изгибу морского берега, сказал:

— Каласирид, клянусь тебе Посидоном, владыкою морей и другими богами пучины, я на самом деле относился к тебе, как к своему брату, а к детям твоим, как к своим собственным. Я пришел рассказать тебе о надвигающемся ужасном деле, умолчать о нем я считаю себя не в праве: ты разделял со мною один очаг и во всяком случае должен о нем знать. Финикийский корабль подстерегает шайка морских разбойников, расположившихся на склоне этих возвышающихся вершин; сменяющимися стражами стерегут они выход корабля. Так смотри же, обдумай, что надлежит делать, так как из-за тебя или, вернее, из-за твоей дочери задумано это жестокое, впрочем для них обычное дело.

Я ответил ему:

— Да вознаградят тебя боги за это по достоинству, но откуда, Тиррен, ты узнал об этом заговоре?

— По своему ремеслу, — отвечал он, — я знаком с этими людьми: я доставляю им пищу и получаю от них бо́льшую плату, чем от прочих. Вчера, когда я вытаскивал сети около скалы, повстречался мне главарь разбойников и спросил:

— Не слыхал ли ты, когда финикийцы собираются выйти из гавани?

Я понял, что он спрашивает не спроста, и сказал:

— Точно я не могу сказать тебе это, Трахин, но думаю, что они отправятся в начале весны.

— А девушка, — спросил он, — которая живет у тебя, тоже поедет с ними?

— Неизвестно, — сказал я, — но отчего ты так расспрашиваешь?

— Потому что, — сказал он, — я страстно ее люблю, хотя видел лишь один раз. Не помню, чтобы я когда-либо встречал подобную красоту, хотя мне попадались многие и к тому же недурные собою пленницы.

Поведя разговор так, чтобы он открыл мне все свои намерения, я сказал:

— Но зачем тебе надо связываться с финикийцами? ведь ты можешь овладеть ею и не на море, похитив ее из моего дома?

— И у разбойников, — отвечал он, — есть своя совесть и человеколюбие по отношению к знакомым. Я щажу тебя, чтобы ты не имел хлопот, если от тебя потребуют выдать чужеземцев. Я одним делом хочу добиться двух величайших целей: богатства корабля и брака с девушкой. Если же я начну дело на суше, мне придется отказаться от одной из этих целей. Да впрочем, это и небезопасно, так как, если что-либо подобное случится вблизи от города,

тотчас это будет замечено, и возникнет погоня.

Похвалив несколько раз его предусмотрительность, я удалился от него и вот сообщаю тебе о подготовляемой этими злодеями ловушке. Умоляю тебя хорошенько поразмыслить, чтобы спасти себя самого и своих.

21. Я ушел, удрученный его словами. Мысленно всячески обсуждал я выход из положения, вдруг случайно мне опять встретился купец и своими разговорами все о том же подал мне удачную мысль. Скрыв кое-что из рассказа Тиррена, я сказал ему, будто кто-то из местных жителей, с которым он не может поравняться в бою, замышляет похитить девушку.

— Мне больше хотелось бы тебе отдать ее в жены, — сказал я, — так как с тобою я раньше познакомился, а также из-за твоего состояния, но главное—ради того, что ты сам согласился жить в нашей стране, если женишься. Поэтому, если вообще тебе это дорого, нужно нам поспешить уехать отсюда раньше, чем мы будем принуждены совершить что-либо против нашей воли.

Он обрадовался, услыхав это, и воскликнул:

— Хорошо, отец.

При этом он подошел и поцеловал меня в голову, спросил, когда я прикажу отправиться в путь и, прибавил, что, хотя время и не подходит для плавания, все же можно направиться на стоянку в другую гавань и там, избавившись от предполагаемого преследования, дожидаться ясной весенней поры.

— Итак, сказал я, — если мое предложение может иметь значение, я желал бы отплыть в начале ночи.

Обнадежив, что так и будет, он удалился.

Придя домой, я ничего не сообщил Тиррену, а детям сказал, что поздно вечером надо снова перейти на корабль. Они удивились такой неожиданности и стали спрашивать о причине, но я отложил до другого раза, сказав, что теперь следует поступить именно так.

22. После короткого ужина мы отправились спать, тогда явился мне во сне некий старец, правда, уже истощенный, но благодаря высоко подпоясанной одежде можно было видеть сильные бедра — остаток юношеской мощи. На голове у него был кожаный шлем, и он осматривался с видом мужа хитроумного и многоопытного. И одно бедро он волочил, словно раненый. Подойдя ко мне, он сказал надменно улыбаясь:

— Странный ты человек. Ты один не почтил меня, хотя бы только единым словом. В то время, как все проплывающие мимо Кефаллении посещают наш дом и жаждут узнать нашу славу, ты настолько пренебрег мною, что даже попросту не приветствовал меня, хотя я и живу по соседству с тобою. Так вот за это ты вскоре получишь заслуженное наказание и испытаешь подобное тому, что я претерпел, встретив врагов на море и на суше. Девушке же, которую ты везешь с собою, поклонись от моей супруги. Она приветствует ее, потому что она выше всего почитает добродетель, и предвещает ей благополучный исход.

Я вскочил, дрожа от этого виденья. На вопрос Феагена, что со мною, я ответил:

— Мы чуть не опоздали к отъезду и, очнувшись, я испугался при этой мысли. Ну-ка, вставай и собирай вещи, а я пойду за Хариклией.

Девушка появилась по моему зову. Тиррен, заметив это, тоже встал и начал спрашивать, что тут творится. На это я ему ответил:

— Тут творится то, что ты сам посоветовал: мы пытаемся избегнуть преследующих нас. Да сохранят тебя боги: ты был для нас наилучшим из людей. Но сделай нам еще одно последнее одолжение: поезжай в Итаку и принеси за нас жертвы Одиссею, попроси его смягчить свой гнев, который он возымел против нас из-за того, что мы пренебрегли им, как он это сообщил, явившись мне сейчас ночью.*

Тиррен обещал исполнить и проводил нас до корабля, проливая много слез, и молил бога, чтобы плавание наше было благополучным, согласно нашему желанию.

Но зачем надоедать подробностями? Как только зажглась утренняя звезда, мы пустились в путь, хотя корабельщики долго противились. Наконец тирский купец уговорил их, сказав, что он желает избежать нашествия разбойников, о котором ему сообщили. Он не знал, что, измыслив этот предлог, он говорил правду.

Мы же, уносимые сильными ветрами, пережили непреодолимую бурю, неописуемую качку, чуть не погибли, наконец пристали к какому-то горному отрогу на Крите, потеряв одно из кормовых весел и переломав большую часть рей. Было решено провести несколько дней на острове, чтобы починить корабль, а также, чтобы самим передохнуть. Когда все это было совершено, то было объявлено, что мы снова пустимся в плавание на первый день после того, как луна, сойдясь с солнцем, снова воссияет.

Мы вышли в море. Уже веяли весенние зе-

фиры, и мы понеслись ночью и днем по направлению к Ливийской земле, под руководством кормчего. Он говорил, что при столь благоприятном ветре возможно и напрямик пересечь море, но желательно достигнуть какого-нибудь берега или гавани, так как ему кажется, что показавшийся с кормы корабль — пиратское судно:

— С тех пор, как мы покинули Критский мыс, оно преследует нас по пятам и неуклонно следует по нашему пути, как будто стремится туда же, куда и мы. И я заметил, что оно часто изменяло свое направление, когда я нарочно отклонял корабль от правильного пути.

23. При этих словах некоторые испугались и советовали приготовиться к защите. Другие же не обращали внимания, говоря, что на морях существует обычай у более мелких судов следовать за крупными, так как теми управляют более опытные кормчие

Пока состязались между собой в этом споре, наступило то время дня, когда земледелец выпрягает быка из плуга. Ветер, сначала сильно дувший, стал ослабевать и понемногу затихая, слабо и бездейственно ударял в паруса, более сотрясая полотно, нежели подвигая корабль вперед, наконец совершенно затих, словно он закатывался вместе с солнцем, или, вернее сказать, помогал преследователям: ведь судно, пока мы плыли полным ветром, естественно, далеко отставало от корабля, своими большими парусами забиравшего больше ветра. Когда же безветрие сгладило море и пришлось пустить в ход весла, то преследователи оказались проворнее нас, значительно больше, чем это можно было предпо-

лагать. Мне кажется, все находившиеся на борту принялись грести, подвигая вперед легкий и более послушный веслам корабль.

24. Когда они были уже близко, кто-то ехавший из Закинфа, воскликнул:

— Так оно и есть, друзья, мы погибли! Это шайка пиратов. Я узнаю корабль Трахина.

Содрогнулось при этом известии судно и во время штиля исполнилось волнения, потрясаемое шумом, воплями и беготней. Одни прятались внутри корабля, другие на палубе подстрекали друг друга к обороне, третьи хотели вскочить в запасный челнок и обратиться в бегство, пока наконец война не застала их против воли во время приготовлений, вооруженных чем попало для защиты. Я же и Хариклия охватили Феагена и еле могли удержать его: он весь горел и был охвачен жаждою сражения. Хариклию побуждало к этому желание не быть разлученной с Феагеном даже смертью. Она говорила, что хочет разделить с ним общую участь, от одного меча и одной раны. Я же, зная, что нападавший был Трахин, предвидел, что грядущее может явить нам кое-что благоприятное. Так это и произошло. Приблизившись и подъехав сбоку, разбойники пытались по возможности без кровопролития овладеть судном и сначала не стреляли. Описывая круги вокруг корабля и этим не позволяя ему куда-либо двинуться, они, казалось, осаждали его, стараясь захватить по обоюдному договору.

— О несчастные, — восклицали они, — зачем вы безумствуете, подымаете руки против столь непобедимой, превосходящей вас силы, и идете на верную смерть? Пока мы еще человеколюбивы

по отношению к вам, мы разрешаем вам войти в лодку и спастись, если вы хотите.

Вот что они предлагали. Находящиеся же на судне, пока битва была безопасной и шла бескровная война, были храбры и заявили, что не уступят.

25. Один из разбойников, более отважный, чем другие, вспрыгнул на корабль и, поражая мечом попадающихся ему навстречу, показал, что убийство и смерть решают сражение. Все остальные тоже стали прыгать на корабль. Тогда финикийцы раскаялись и, упав ниц, стали просить о пощаде, обещая делать все, что им прикажут. Хотя пираты уже начали резню — ведь страсти разгораются при виде крови — все же по приказанию Трахина, против всякого ожидания, пощадили умоляющих Наступило перемирие, правда, без переговоров, и война, ужасная своими делами, преобразилась в мир, не заслуживающий этого имени, так как условия были назначены более тяжкие, чем само сражение. Было приказано в одном лишь хитоне покинуть корабль, и смерть была провозглашена нарушителям приказания. Но, видно, для людей жизнь дороже всего. Поэтому и теперь казалось, что финикийцы, лишенные надежды на богатства корабля, не терпели утраты, но считали себя в прибыли, и каждый спешил, опередив другого, первым войти в лодку — все наперерыв старались обеспечить безопасность для своей жизни.

26. Когда же и мы, послушные приказанию, подошли, Трахин, схватив Хариклию, сказал:

— Не против тебя, милочка, ведется эта война, а из-за тебя она возникла. Уж давно, с тех пор, как вы покинули Закинф, я следую за то-

бою, из-за тебя пустился в море и подверг себя такой опасности. Ну, воспрянь духом и знай, что ты вместе с нами будешь госпожей надо всем этим.

Так сказал ей Трахин. Она же (ведь женщина по природе весьма смышленное существо и умеет улучить подходящее время для действия), отчасти следуя моим указаниям, подавила выражение скорби на своем лице, вызванное всем окружающим, и принудила себя быть веселой.

— Благодарю богов, — сказала она, — вселивших в твои помыслы сожаление к нам. Но если ты хочешь, чтобы я действительно воспрянула духом и была и впредь весела, то окажи мне этот первый знак твоего расположения ко мне: спаси вот этого брата моего и отца и не приказывай им покинуть корабль. Я не в состоянии жить в разлуке с ними.

С этими словами она припала к его коленам и долго обнимала их, умоляя о пощаде. Трахин, наслаждаясь этими объятиями, нарочно оттягивал обещание. Растроганный слезами и совершенно покоренный ее взглядами, он поднял девушку и сказал:

— Брата я дарю тебе и даже очень охотно. Я вижу, что юноша исполнен храбрости и способен разделять с нами нашу жизнь. А старик этот, хотя будет нам вообще в тягость, пусть уж остается ради тебя одной.

27. В то время как это говорилось и совершалось, солнце уже явно стало склоняться к западу, и в промежутке между днем и ночью наступили сумерки Море вдруг забушевало: быть может, время дня вызвало такое изменение, или это произошло по какому-то желанию рока. По-

слышался также шум нисходящей бури, и тотчас же, с той же стороны ворвался порывистый и сильный ветер, исполнив несказанным смятением разбойников, которые оставили собственный корабль и, застигнутые на судне при разграблении груза, совершенно не знали, как справиться скорее с таким большим кораблем. Всякая часть корабельного дела наспех исполнялась первым попавшимся, и каждый брался без подготовки за другое дело. Одни в беспорядке подбирали паруса, другие неумело распределяли снасти. Одному, несмотря на его неопытность, поручалась работа на носу корабля, другой занимал корму и борта.

Таким образом мы были ввергнуты в крайнюю опасность не силою урагана — не так уж сильно нас кидало, — но беспомощностью кормчего, который противился, пока еще мерцал отблеск дневного света, но совершенно сдался, когда победил мрак. Волны уже начали захлестывать судно и немногого недоставало, чтобы корабль пошел ко дну. Некоторые из разбойников сперва собрались перейти на свой собственный корабль, но все же оставили эту затею, не допущенные к тому силою волн и увещаниями Трахина, доказывавшего, что они могут добыть себе тысячи лучших кораблей, если спасут судно и находящиеся на нем богатства. В конце концов он перерубили канат, которым корабль был привязан к судну, говоря, что они волочат за собою еще вторую бурю, и указав, что следует подумать и о будущей безопасности. Ведь если они приплывут куда-нибудь с двумя кораблями, это окажется подозрительным: у них во всяком случае потребуют отчета о команде другого корабля.

Эти слова показались пиратам убедительными. Трахин, совершив одно такое дело, оказался вдвойне прав, так как мы почувствовали небольшое облегчение, когда бросили корабль. Но мы не освободились от всех бедствий, и во время качки, когда волна громоздилась на волну, корабль потерял многие из своих частей. В течение одной этой ночи мы выдержали все виды опасности. На следующий день, к вечеру, пристали к какому-то берегу у Гераклова устья Нила и, несчастные, против ожидания, вступили на Египетскую землю.

Пираты радовались, но мы были огорчены и сильно негодовали на море за дарованное нам спасение, так как оно завистливо лишило нас непостыдной смерти, ввергло в ужасную страну и в страх, покинуло на произвол нечестивых разбойников. И действительно, не успели нечестивцы выйти на землю, как под предлогом, что желают принести благодарственные жертвы Посидону, стали выносить из корабля тирийское вино и все прочее и послали людей в окрестные места, чтобы купить скота, вручив им очень много денег и приказав давать любую спрошенную цену.

28. Посланные скоро вернулись, пригнав целое стадо овец и свиней, оставшиеся на месте приняли их, развели костер, начали снимать шкуры с жертвенных животных и стали приготовлять пиршество.

Трахин, отведя меня в сторону, чтобы другие не могли слышать, сказал:

— Отец, я выбрал себе в жены твою дочь и, как ты видишь, собираюсь сегодня отпраздновать свадьбу, соединив с жертвоприношением

богам это сладчайшее торжество. Так вот, чтобы ты заранее знал и не был мрачным во время пира, а также, чтобы дочь твоя, узнав об этом от тебя, более радостно приняла ожидающую ее участь, я решил сообщить тебе мои намерения. Я вовсе не спрашиваю твоего согласия, ведь я в состоянии сам исполнить свое желание, но все же считаю подобающим и приличным, чтобы невеста от родителя узнала о браке и с большею покорностью приготовилась к нему.

Я похвалил его слова, принял вид, будто радуюсь и воздаю величайшую благодарность богам, которые мою дочь сделали супругою ее господина.

29. Я удалился на некоторое время и, поразмыслив о том, что надлежит делать, вернулся к Трахину и стал просить его устроить это празднество более торжественным образом: пусть он отведет для девушки корабль в качестве брачного чертога, пусть запретит всем входить туда и мешать ей, чтобы на досуге можно было позаботиться о свадебном наряде и прочих украшениях. Ведь нелепо, если та, которая гордится благородным происхождением и богатством, а главное, собирается стать женою Трахина, не будет украшена подобающим образом, если уж время и место мешают наиболее блестящим образом обставить брачное празднество.

Трахин, услышав это, обрадовался и охотно обещал все исполнить. Он тотчас же отрядил людей, приказал достать все, что было нужно, а затем уже не приближаться к кораблю. Те стали исполнять приказание и начали выносить столы, чаши, ковры и занавеси работы сидон-

ских и тирийских рук — вообще не жалели ничего, что требуется для обслуживания стола, взвалив в беспорядке на плечи богатства, собранные многими трудами бережливых людей и отданные затем судьбою на поругание для расточительного торжества.

Я, взяв с собою Феагена и придя к Харикли, нашел ее в слезах.

— Дочь моя, — сказал я, — все это для тебя обычно и не чуждо. Но все же ты плачешь: о прошлом ли или о чем-нибудь новом?

Она ответила:

— Меня огорчает все, но более всего ожидание и враждебное благоволение ко мне Трахина, которому, как кажется, благоприятствует время. Неожиданное благоденствие охотно вызывает надменные поступки. Но Трахину и его ненавистной любви еще предстоит рыдать: они будут принуждены смириться, так как я скорее решусь на смерть. Мысль о тебе и о Феагене, если перед кончиной я буду разлучена с вами, вызвала у меня слезы.

— Ты угадала правду, — сказал я, — Трахин пиршественное жертвоприношение обращает в свадьбу с тобой. Мне, как отцу, он рассказал свое намерение, хотя я уже давно знал его безумное влечение к тебе из разговоров с Тирреном в Закинфе. Но я скрывал это от вас, чтобы вы не мучили себя при мысли о предстоящих бедствиях, пока было еще возможно избежать преследования. Но так как, дети мои, этому воспрепятствовало божество и мы оказались окружены несчастьями, то следует предпринять что нибудь благородное и решительное.

Итак, взойдем же на вершину опасности,

чтобы в случае удачи мы могли сохранить свое благородство, как подобает свободнорожденным, или в противном случае удостоиться незапятнанной, отважной смерти.

30. Феаген и Хариклия согласились исполнить то, что я им прикажу. Я научил, что следует делать, и оставил их в то время, как они приступили к приготовлениям. Придя к разбойнику, занимавшему второе место после Трахина — звали его, кажется, Пелор, — я сказал, что имею сообщить ему нечто для него выгодное. Он охотно согласился выслушать и повел меня в такое место, где нас не могли бы услышать. Я сказал ему:

— Сын мой, выслушай меня вкратце. Недостаток времени запрещает мне много распространяться. Тебя любит моя дочь: это не диво: она не устояла перед таким красивым мужчиной. Но она подозревает, что начальник приготовляет пир для брачного торжества. Что дело клонится к этому, он дал понять еще и тем, что приказал ей нарядиться потщательнее. Так смотри же, как бы воспрепятствовать этому. Захвати лучше девушку себе; она сказала, что скорее умрет, чем станет женою Трахина.

На это Пелор ответил:

— Будь спокоен, уже давно я почувствовал влечение к девушке и мечтал найти какой-нибудь способ приблизиться к ней. Трахин по доброй воле уступит мне невесту в виде награды, которую я заслужил, первым взойдя на враждебный корабль, иначе горьким станет ему брак: он испытает то, что совершит вот эта рука.

Я удалился, услышав его ответ, чтобы не возбудить подозрения и, придя к детям, ободрил их

известием, что замысел мой развивается своим путем.

31. Немного спустя, мы приступили к ужину, и когда я заметил, что пираты напились и стали склонны к более дерзким поступкам, я тайно сказал Пелору, нарочно расположившись близко от него:

— Видел ли ты, как вырядилась девушка?

— Нет, — ответил он.

— А ты можешь увидеть ее, — сказал я, — если ты незаметно войдешь в корабль: ты ведь знаешь, что даже это запретил Трахин. Ты увидишь сидящей самое Артемиду. Но пока что ограничься одним лишь лицезрением, чтобы не навлечь смерти на себя и на нее.

Тогда Пелор немедленно, точно принужденный чем-либо необходимым, встал и незаметно побежал к кораблю. Увидя Хариклию, украшенную вокруг головы лавровым венком и блистающую златотканной одеждой (она надела свое Дельфийское священное одеяние, чтобы оно послужило ей или победным или погребальным убором), а также остальную обстановку, сияющую вокруг нее и имеющую вид брачного покоя, Пелор, конечно, воспылал страстью от этого зрелища, исполненный одновременно и вожделения и ревности. Когда он вернулся оттуда, ясно было по его взгляду, что он замышляет что-то безумное. Итак, не успел он занять свое место, как сказал:

— Почему я не получил награды за взятие корабля?

— Потому что, — ответил Трахин, — ты не просил; да и вообще еще не было дележа добычи.

На это Пелор сказал:

— Тогда я прошу себе пленную девушку!

Трахин на это возразил:

— Возьми себе все, что хочешь, только не ее.

Тогда Пелор ответил: — Ты нарушаешь разбойничий закон: вошедшему первым на враждебный корабль и таким образом подвергшемуся из всех остальных наибольшей опасности предоставляется выбор по его желанию.

— Милый мой, — сказал Трахин, — не этот закон я нарушил, но опираюсь на другой, повелевающий подчиненным уступать начальствующим. Я влюблен в девушку и полагаю, что, собираясь взять ее в жены, я имею право предпочтения. А ты, если не исполнишь, что тебе велят, вскоре завопишь, сраженный вот этой чашей!

Тут Пелор, бросив взгляд на присутствующих, воскликнул:

— Вы видите, какова награда за наши труды. Так каждый из вас когда-нибудь лишится почетного дара и испытает на себе этот тиранский закон.

Что же можно было увидеть после этого, о Навсикл? Ты сравнил бы этих людей с морем, бушующим вокруг скалы. Так нелепый порыв возбудил несказанное смятение среди них, охваченных сразу и вином и гневом.

32. Одни приняли сторону Трахина, другие Пелора. Одни кричали, что следует уважать начальника, другие, что нельзя нарушать закона. Наконец Трахин замахнулся чашею, чтобы ударить Пелора. Тот, подготовленный уже заранее, опередил его, ударив Трахина кинжалом в грудь Трахин лежал, пораженный смертельною раною. А между остальными возникла непримиримая война. Они бросились друг на друга и началось

беспощадное избиение. Одни приходили на помощь начальнику, другие отстаивали Пелора и якобы правое дело. И был один общий вопль и поражающих и поражаемых, сражавшихся поленьями, камнями, головнями и столами.

Я удалился по возможности дальше и с холма наблюдал безопасное для меня зрелище. Но Феаген не остался безучастным в битве так же, как и Хариклия.

Исполняя то, что было условлено ранее, Феаген с мечом в руках, во всем походя на человека беснующегося, сначала сражался на одной стороне. Хариклия же, заметив, что битва уже началась, метко стреляла из лука с корабля, щадя одного лишь Феагена. И она метила не в одну сторону воюющих, но кого первого видела, того и убивала, оставаясь сама невидимой, но легко при свете костра различая противников. Они не знали, откуда происходит это зло, и некоторые полагали, что это удары божества. Итак, под конец, когда остальные пали, остался лишь Феаген в единоборстве с Пелором мужем храбрым и опытным, совершившим не мало убийств. Не могла уже Хариклия помочь Феагену своими стрелами, хотя и желала оказать ему поддержку. Она боялась промахнуться так как они сошлись близко и началась у них рукопашная схватка. Но не выдержал до конца Пелор. Хариклия видя, что не может оказать Феагену помощи на деле, метнула ему ободряющее слово, воскликнув:

— Мужайся, возлюбленный!

Благодаря этому, Феаген уже на много превзошел Пелора, словно ее слова сообщили ему силу и храбрость, возвестив, что цела еще на-

града за битву. Разум его, притупленный уже многими ранами, проснулся. Феаген бросился на Пелора, занеся меч над его головою, но промахнулся, так как тот немного отклонился. Оцарапав край плеча, Феаген отрубил ему руку в локтевом суставе. От этого тот обратился в бегство, он же стал его преследовать.

33. Что случилось с ним после этого, я не могу сказать, кроме того, что он как-то вернулся. Это видела одна лишь Хариклия, а я не заметил, так как оставался на холме, не решась ночью вступить на поле сражения. Когда рассвело, я увидел Феагена, лежащим, похожим на мертвеца; Хариклия сидела и плакала, казалось, что она хочет покончить с собою, но ее удерживала хотя бы слабая надежда, что, может быть, юноша еще выживет.

Не успел я, несчастный, сказать ей что-либо, узнать от нее или облегчить ее участь словами утешения, как вдруг за морскими бедствиями, непосредственно последовали бедствия с суши.

Лишь только я увидел рассвет и стал сходить с холма, толпа египетских разбойников, как мне показалось, спустилась с возвышавшейся горы. Они захватили молодую чету и, немного спустя, увели их, забрав с собою из корабля все, что могли снести. Я последовал за ними, горюя о себе и об участи Феагена и Хариклии, а так как я все равно не мог их защитить, то решил и не вмешиваться, сохраняя себя в надежде оказать им помощь. Но я не был в состоянии совершить это, ведь тогда я отстал от них, так как старость мешала мне бежать по крутым местам за египтянами.

А теперь я нашел свою дочь скорее по бла-

говолению богов и благодаря твоему расположению, дорогой Навсикл. Сам я ничем не помог этому, уделив им лишь одни обильные слезы и рыдания.

При этих словах заплакал Каласирид и заплакали присутствующие. Пиршество превратилось в плач, хотя и смешанный с некоторой долей радости. Вино ведь способствует слезам. Но, наконец, Навсикл, ободряя Каласирида, сказал:

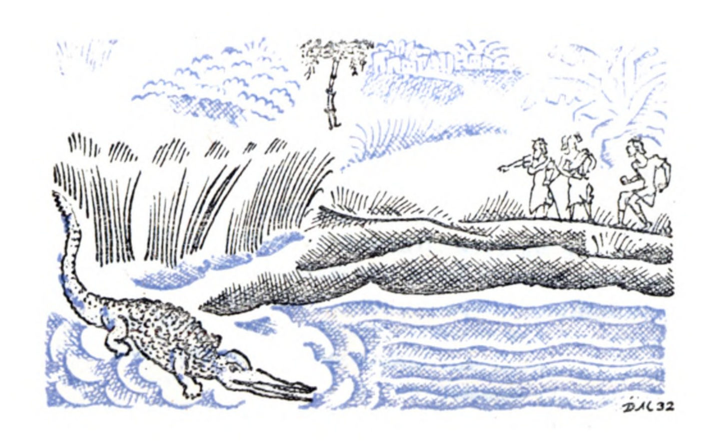
— Отец мой, надейся на грядущее. Дочь ты уже нашел, а от того времени, когда ты увидишь сына, тебя отделяет одна эта ночь. Наутро мы придем к Митрану и попытаем все возможные способы, чтобы выкупить тебе достойнейшего Феагена.

— Я желал бы, чтобы это было так, — сказал Каласирид. — А теперь пора закончить пир. Да будет свершено поминовение божества и вместе с возлияниями воздадим ему благодарность за освобождение.

34. После этого были совершены возлияния, и пир закончился. Каласирид стал искать Хариклию. Наблюдая проходившую толпу, он не нашел ее, тогда по указанию какой-то женщины вошел наконец в святилище храма и застал ее припавшей к стопам священного изображения и от большого увлечения молитвой и наплыва скорби впавшей в глубокий сон. Прослезившись немного и помолившись божеству, чтобы оно к лучшему обратило ее судьбу, Каласирид ласково разбудил ее и отвел в назначенное ей помещение. Хариклия покраснела, как казалось, из-за того, что дала сну незаметно для себя овладеть ею. Но придя в женские покои и улегшись вместе с дочерью Навсикла, она не могла уснуть, предаваясь нахлынувшим на нее думам.

Книга шестая

1932



1. Каласирид и Кнемон отдохнули где-то в мужском покое. Остаток ночи прошел медленнее, чем они желали, но скорее, чем думали, так как большая часть времени ушла на пиршество и на неисчерпаемое раздолье рассказов.

Не дожидаясь ясного появления дня, пришли они к Навсиклу с просьбою сказать им, где, по его мнению, находится Феаген, а также отвести их туда как можно скорее. Тот согласился и, взяв их с собою, повел. Хотя Хариклия долго умоляла взять ее с собою, все же она была принуждена остаться дома, так как Навсикл уверял, что им итти недалеко и что они тотчас же вернутся вместе с Феагеном. И оставили ее там, мятущуюся между горем разлуки и радостью надежд.

Сами же они, только-что выйдя из деревни и проходя вдоль берегов Нила, увидели кроко-

дила, переползавшего справа налево и быстрым движением скрывшегося в течении реки. Все приняли увиденное ими за нечто обычное и не возбуждающее страха. Только Каласирид предсказал, что это предвещает какое-то препятствие на пути. Кнемон весьма испугался при этом зрелище. Хотя он и не видел животного отчетливо, скорее лишь тень пробежала мимо него по земле, все же он едва не обратился в бегство. В то время как Навсикл хохотал, Каласирид промолвил:

— Кнемон, я думал, что только ночью тобою овладевает робость и что лишь от мрака у тебя появляется трусость. Но ты и среди дня, повидимому, являешься чрезмерно храбрым. Не только имена, тобою услышанные, но даже увиденное на земле и нестрашное повергает тебя в трепет.

— Имя какого же бога, — сказал Навсикл, — или демона не может вынести этот дорогой наш друг, если его услышит?

— Случается ли это также с именами богов или демонов, — ответил Каласирид, — я не могу тебе сказать. Но имя человека и, что более удивительно, не мужчины, а женщины, да притом еще мертвой, как он сам говорит, заставляет его содрогаться, если кто его назовет. Так, в ту ночь, когда ты возвратился от разбойников и спас нам, дорогой мой, Хариклию, Кнемон услыхал, не знаю как и откуда, имя, о котором я говорю, и не дал мне даже короткое время предаться сну, непрестанно от страха лишаясь чувств, и мне пришлось потрудиться, чтобы привести его в себя. Если бы я этим не думал огорчить или испугать его, я бы и теперь

произнес это имя, Навсикл, чтобы ты еще более смеялся.

И при этом Каласирид назвал Фисбу.

2. Навсикл перестал смеяться. Он был поражен, услышав это имя и долго стоял в раздумьи, недоумевая, по какому поводу, по какому стечению обстоятельств, почему имя Фисбы оказывало на Кнемона такое действие. На это Кнемон разразился смехом и сказал:

— Ты видишь, дорогой Каласирид, какова сила этого имени. Оно не только для меня является страшилищем, как ты говоришь, но также и для Навсикла. Произошла полная перемена: наши чувства как-раз противоположны. Я-то смеюсь, зная, что ее больше нет. Зато наш доблестный Навсикл, потешавшийся до упада над другими, теперь...

— Замолчи,—воскликнул Навсикл,—довольно ты отомстил мне, Кнемон. Но ради богов гостеприимства и дружбы, ради хлеба и соли, которым вы, мне кажется, щедро пользовались в моем доме, сообщите мне, откуда вы взяли имя Фисбы, знаете ли вы ее, боитесь ли? Уж не шутите ли вы надо мною?

— Тебе,—сказал Каласирид,—принадлежит слово, Кнемон. Теперь как-раз удобный случай рассказать то, что ты мне часто обещал изложить, но всегда откладывал до другого раза при помощи разнообразных уловок. Ты сделаешь этим удовольствие Навсиклу и вместе с тем облегчишь нам труды путешествия, скрасив их своим повествованием.

Кнемон согласился и рассказал вкратце все, что он уже ранее изложил Феагену и Хариклии. Родина его—Афины, отец—Аристипп, мачехой

была Демэнета. Рассказал он и про нечестивую любовь к нему Демэнеты. Потерпев неудачу, она стала преследовать его, прислужницей в преследовании сделав Фисбу. И, прибавил Кнемон, каким образом. И был он изгнан из родины, так как народ наложил на него наказание, как на отцеубийцу. Находясь на Эгине, узнал он сначала от Хария, одного из его сверстников, что Демэнета скончалась и каким именно образом и что Фисба и на нее обратила свои преследования. Затем узнал он от Антикла, как отец его подвергся лишению имущества, так как восстали на него родственники Демэнеты и, придя, склонили народ заподозрить его в убийстве. Фисба убежала из Афин с любовником — купцом из Навкратиды. И под конец рассказал Кнемон, что вместе с Антиклом он отправился в Египет в поисках за Фисбой, в надежде найти и привезти ее в Афины, чтобы освободить отца от возведенной на него клеветы, ее же подвергнуть наказанию. Претерпев много опасностей в течение этого времени, он был взят в плен морскими разбойниками, убежал как-то от них и, высадившись в Египте, снова был захвачен разбойниками-волопасами, а затем ему довелось встретиться с Феагеном и Хариклией. Рассказал он также об убийстве Фисбы и о том, что следовало за этим, вплоть до того, что было уже известно Каласириду и Навсиклу.

3. При этом у Навсикла возникли тысячи мыслей. То он предполагал рассказать о своих отношениях к Фисбе, то решал отложить это на другой раз. Наконец он, хоть и с трудом, но промолчал, отчасти склоняясь к этому сам,

отчасти из-за того, что ему помешала другая случайность.

Дело в том, что как только они отошли около шестидесяти стадиев и уже приближались к деревне, в которой находился Митран, они встретили кого-то из знакомых Навсикла и спросили его, куда он так поспешно направляется.

— О, Навсикл, — сказал тот, — ты спрашиваешь, куда я спешу, как будто ты не знаешь, что в настоящее время все мои стремления направлены только к тому, чтобы выполнить поручения Изиады из Хеммиса. Ей я возделываю землю, ей все доставляю. Из-за нее я бодрствую ночью и днем, ни в чем ей не отказывая. Для меня даже является наказанием или тягостью, если эта Изиада не дает мне каких-либо — то важных, то незначительных—поручений. Теперь я бегу, как видишь, чтобы исполнить поручение возлюбленной, принести ей эту птицу: нильского финикоптера.

— Какая у тебя снисходительная возлюбленная, — сказал Навсикл, — и как скромны ее поручения, если она требует от тебя финикоптера, а не самую птицу феникса, являющуюся к нам из Эфиопии или Индии.

Тот возразил:

— Это уж ее привычка насмехаться надо мною и моими поступками, но вы-то куда идете и по какому делу?

Когда они ответили, что спешат к Митрану, тот возразил:

— Напрасно и впустую вы так усердствуете: Митрана нет в этой местности: он этою ночью отправился походом на Бессу против разбойни-

ков, населяющих эту деревню. Он взял в плен какого-то греческого юношу и отослал его Ороодонту в Мемфис, чтобы тот оттуда был доставлен, повидимому, в виде дара великому царю. Жители же Бессы и вновь назначенный ими начальник их Фиамид, совершив набег, отбили его и держат у себя.

4. При этих словах встречный выразил удивление.

— Мне нужно спешить к Изиаде, — сказал он. — Она, вероятно, уже ожидает меня, все глаза проглядела. Как бы это промедление не принесло мне любовной бури. Она мастерица измышлять всякие, не имеющие основания причины, чтобы обвинять и морочить меня.

Услышав, они долго стояли в недоумении из-за неожиданной неудачи в своих намерениях. В конце концов Навсикл ободрил их, предполагая, что не следует частичную и временную неудачу в своих предприятиях признавать за окончательную. Теперь надо вернуться в Хеммис, обсудить, что следует предпринять и, приготовившись к более продолжительному путешествию, отправиться на поиски Феагена. Все равно узнают ли они, что Феаген находится у разбойников или у кого-нибудь другого, никогда не надо терять надежды найти его. Ведь и теперь, казалось Навсиклу, дело не обошлось без вмешательства божества: они встретили какого-то знакомого и, руководствуясь его сообщениями, узнали, где следует искать Феагена — направление пути вело к разбойничьей деревне, как к ближайшей цели.

5. Этими словами Навсикл без труда убедил их. В том, что узнали, усмотрели они еще

одну надежду, и Кнемон со своей стороны советовал Каласириду не падать духом, уверяя, что Фиамид спасет Феагена. Итак, решили вернуться, и возвратились обратно. Они нашли Хариклию, стоящую в дверях, ищущую их своим взором повсюду, со всех сторон. Когда она нигде среди них не могла заметить Феагена, Хариклия горестно возопила:

— Что это вы, отец, — сказала она, — одни, как ушли отсюда, так опять и возвращаетесь? Феаген, видно, умер. Если вы имеете что-нибудь сообщить, то скажите скорее, ради богов, и не напрягайте моего горя затягиванием сообщения. Есть ведь нечто человеколюбивое в быстром возвещении несчастий: оно для души переход к ужасному, подготовляет и быстрее боль побеждает.

Прервав чрезмерно горюющую, Кнемон сказал:

— Какой тяжелый у тебя язык, Хариклия. Ты всегда готова предсказывать худшее, но, по крайней мере, ты поступаешь хорошо, что слова твои оказываются ложью. Феаген жив и спасен волею богов.

И он вкратце рассказал, как и кем. Каласирид промолвил:

— Из твоих слов, Кнемон, явствует, что ты никогда не любил, а то бы ты знал, что даже пустяки пугают влюбленных и что относительно своих возлюбленных они верят только свидетельству своих глаз. Их отсутствие любящим душам вселяет боязнь и страх. Причиною является убеждение, что любимые находятся вдали от них только потому, что какое-то печальное препятствие стоит на пути. Поэтому,

друг мой, простим Хариклии, так ясно, так явно болеющей страданиями любви. Сами же войдем в двери и позаботимся о том, что надлежит делать.

6. При этом, взяв Хариклию за руку, Каласирид ввел ее внутрь с какою-то отеческою бережностью. А Навсикл, желая отвлечь их от забот и задумав еще кое-что другое, приготовил более пышное, чем обычно, угощение, но пригласил на пир только их обоих да еще свою дочь. Нарядил он девушку так, что она казалась более изящною, чем всегда, украсил ее роскошнее обыкновенного. Когда Навсикл решил, что достаточно насладились яствами, он обратился со следующими словами:

— Дорогие гости! Боги свидетели тому, что я собираюсь сказать: мне было бы приятно, если бы вы пожелали остаться тут и все время провести вместе со мною, обладая общим имуществом, общими друзьями, а не как пришлые чужеземцы. На будущее время считаю вас друзьями, искренними и расположенными ко мне. Я не сочту за тягость все, что касается вас, и готов, если вы собираетесь отыскивать ваших близких, способствовать вам по мере сил, пока еще нахожусь здесь. Но вы вообще и сами знаете, что я веду торговую жизнь — таково мое ремесло. Давно уже подули свежие зефиры и открыли море для корабельщиков, возвещая купцам благоприятные плавания. Словно некое повеление, дела призывают меня к путешествию в Грецию. Стало быть, вы поступите правильно, сообщив мне, что вы собираетесь предпринимать, чтобы я расположил свои дела, согласуясь с вашими намерениями.

Немного помолчав после сказанного, Каласирид возразил:

— Навсикл, да свершится твой выход в море при благих предзнаменованиях; и Гермес, прибыли податель, и Посейдон, безопасности властитель, да будут тебе спутниками и провожатыми. Да пошлют они на море хорошую погоду и попутные ветры, пусть предоставят тебе в каждой гавани хорошую стоянку, в каждом городе добрый прием и удачную торговлю за то, что ты так заботился о нас, пока мы были тут, так нас провожаешь, когда мы собрались уйти, так прекрасно исполняешь заветы гостеприимства и дружбы. Нам тоже тяжело покинуть тебя и твой дом, который благодаря твоим стараниям нам показался нашим собственным. Но нам необходимо и неизбежно следует заняться розысками наших друзей. Это касается меня и Хариклии. Каково же мнение Кнемона? Готов ли он странствовать вместе с нами, оказать нам эту услугу, или он имеет что-нибудь другое в виду, пусть скажет сам, ведь он присутствует тут.

Кнемон, желая ответить на это и уже собираясь говорить, вдруг зарыдал, и тотчас же струя горячих слез удержала его язык. Наконец, собравшись с духом и простонав, он воскликнул:

— О преисполненная всяких перемен и непостояннейшая изменчивость человеческой судьбы! В какой водоворот бедствий тебе заблагорассудилось ввергнуть и меня, как, впрочем, ты ввергаешь частенько и многих других людей. Ты лишила меня моего рода и отчего дома. Изгнала из отечества и родного города, прочь

от тех, кто мне дорог; забросила в египетскую землю, не говоря о многом, что случилось до того. Предала затем разбойникам-волопасам, хотя и подала некую малую добрую надежду, предоставив встретиться с людьми, впрочем, также несчастными, но зато греками, с которыми я надеялся прожить остаток жизни. Но и это утешение, как видно, ты от меня отторгаешь!

Куда мне обратиться? Как мне поступить? Оставить Хариклию, не нашедшую Феагена? Но это жестоко, о мать-земля, и нечестно. Или мне следует отправиться вместе с нею на поиски? Если бы было вероятно, что мы его найдем, труд был бы прекрасен из-за надежды на удачу. Но если неведомо будущее и еще более велики затруднения, то неизвестно, где еще окончатся мои скитания. Не попросить ли мне прощения у вас и у богов дружбы и не обратить ли свои мысли теперь к возвращению в отечество и к своему роду? Мне сдается, что боги к добру предоставили мне этот случай: Навсикл, как он говорит, собирается отправиться в Грецию; если в это время что-нибудь и случилось с моим отцом, дом мой пусть не останется совсем без наследника, покинутым. Если даже мне придется бедствовать, все же есть смысл, чтобы в моем лице спаслось какое-то продолжение нашего рода.

Но, Хариклия, к тебе главным образом обращаю я свою защитительную речь, молю о прощении и прошу тебя: прости мне. Я провожу тебя до волопасов, упрошу Навсикла немного повременить, если он даже и очень торопится. Быть может, я и вручу тебя самому Феагену,

окажусь хорошим стражем того, что мне было доверено, и мы расстанемся в доброй надежде на будущее и с чистою совестью.

Но если мы потерпим неудачу — да не случится этого! — я достоин извинения. Я и тогда не оставлю тебя одну, но приставлю к тебе вот этого хорошего стража и отца — Каласирида.

Хариклия уже из многого подозревала, что Кнемон питает влечение к дочери Навсикла, так как влюбленные способны сразу подмечать охваченных тем же чувством. Она понимала из слов Навсикла, что ему приятно будет такое свойство, что он давно это подготовляет и старается привлечь к себе Кнемона всякими способами, Хариклия считала неподобающим и подозрительным, чтобы Кнемон сопутствовал ей в остальной части пути, поэтому сказала:

— Как тебе угодно. За твое хорошее отношение и за все то доброе, что ты сделал для нас раньше, я благодарна и признательна тебе. Впрочем совсем нет необходимости, чтобы ты заботился о наших делах и против желания подвергался опасностям, разделяя чужую судьбу. Отправляйся-ка в свои Афины к своему роду и дому, но ни в коем случае не упускай Навсикла и выпавшего через него на твою долю, как ты сказал, удобного случая. Я же и Каласирид будем бороться против всяких препятствий, пока не найдем конца нашего странствования. Если нам не поможет никто из людей, мы уверены, что боги явятся нашими спутниками!

8. На это Навсикл сказал:

— Да исполнится Хариклии ее желание. И боги да будут ей спутниками, как она просит.

Обладающая столь благородным духом и понятливым умом, да обрящет она своих близких!

Ты же, Кнемон, не горюй, если не можешь отвезти Фисбу в Афины, так как именно я являюсь виновником ее похищения и из Афин исчезновения. Купец из Навкратиды, любовник Фисбы, это я. И не оплакивай свою бедность, собираясь уже нищенствовать. Если бы показалось для тебя желательным так же, как и для меня, ты мог бы владеть большими богатствами и вернуть себе свой дом и отчизну, поехав со мной. Если ты хочешь жениться, я выдам за тебя вот эту дочь мою Навсиклею, а в придачу возьми очень большое приданое, считая, что я и от тебя получил многое, с тех пор, как узнал твой род, дом и твое племя.

Услышав это, Кнемон ни на мгновение не задумался: что давно было его мечтою и желанием, но чего он не ожидал, это он вдруг получил паче чаяния и неожиданно. Кнемон воскликнул:

— Все, что ты возвещаешь, я принимаю с радостью.

При этом он протянул руку, Навсикл вручил ему свою дочь и обручил их.

И, приказав домашним петь брачные песни, он сам один из первых начал плясать, неожиданно превратив пир в свадебное торжество. Все занялись хороводами, пели не возвещенные заранее брачные песни перед опочивальней, и свадебный факел освещал дом всю ночь.

Хариклия одна, удалившись от остальных, пошла в свой обычный покой. Заперев для безопасности двери, она в уверенности, что ей никто не помешает, охваченная каким-то иссту-

плением, совершенно распустила волосы и, разорвав одежды, воскликнула:

—Давайте и мы заведем хоровод поразившему нас божеству, согласно его обычаю! Пением будет плач, а вопли будут пляскою. Темнота пусть подтягивает, а ночь беспросветная пусть руководит действом, так как светильник повергнут наземь. Какой свадебный чертог божество нам воздвигло? какой брачный покой оно нам предоставило? Чертог скрывает меня одинокую, безбрачную, вдовую по Феагене, который, увы, жених мне лишь по названию.

Кнемон женится, Феаген же скитается, притом пленник и, может быть, в оковах. Впрочем, это было бы еще ничего, лишь бы он спасся. Навсиклея справляет свадьбу и разлучена со мною, — а до сих пор она разделяла мое ложе, — Хариклия же одна и одинока.

Не из-за них мои упреки, о, судьба и боги, пусть свершается все согласно их желанию, но из-за нас, так как вы не даете нам того же наравне с ними. Вы так затягиваете нашу трагедию, что она заглушает всякую другую сцену. Но что это я так не во-время порицаю богов? Пусть и впредь все совершается по их воле. Но, о, Феаген, единственная моя сладчайшая забота: если ты умер и я в этом удостоверюсь (да не узнаю я этого никогда!), то я не замедлю присоединиться к тебе.

Ныне же приношу тебе эту жертву — при этом Хариклия стала рвать на себе волосы и бросать их на постель — и совершаю вот это возлияние из милых тебе очей — и тотчас же ложе увлажнилось слезами.

Но если ты спасся, то приди, любимый, и возляг со мною, появившись во сне. Но пощади меня, друг мой, соблюди свою девственницу до брака, согласно законам. Смотри, я уже обнимаю тебя и воображаю, что ты появился и я тебя вижу!

9. С этими словами Хариклия быстро бросилась на ложе ничком и, прижавшись к нему, стала обнимать его, рыдая и глубоко вздыхая. Наконец от чрезмерного горя она лишилась чувств, и мрак, охвативший ее рассудок, незаметно превратился в сон, не покидавший ее до светлого дня.

Каласирид уже начал удивляться и, не видя ее в обычное время, стал искать. Придя к ее покою, он сильно постучал в двери и, громко позвав по имени, разбудил Хариклию. Она, испугавшись внезапного зова, направилась к дверям в том виде, в каком была застигнута, и, отодвинув засов, открыла вход старику. А он, увидев ее волосы в беспорядке, хитон, разорванный на груди, неистовый взгляд, еще возвещающий о безумствовании перед отходом ко сну, понял в чем дело. Подведя ее тотчас же к постели и усадив, он накинул ей плащ. И, приведя ее в подобающий вид, Каласирид сказал:

— Что это, Хариклия? Отчего ты так много и чрезмерно горюешь, с чего ты так безрассудно поддаешься событиям? Я теперь не узнаю тебя, так как знал, что ты всегда с благородством и рассудительностью переносила прежде удары судьбы. Прекратишь ли ты это чрезмерное безрассудство? Как ты не понимаешь, что ты—человеческое существо, а следовательно судьба твоя непостоянна и подвергается жестоким ударам со

всех сторон. Зачем ты убиваешь себя, уничтожая этим надежды на лучшее? Пощади нас, дитя, пощади, если не себя, то Феагена, для которого жизнь приятна только с тобою и ценна лишь тогда, если ты будешь спасена.

Хариклия покраснела при этих словах. Она сообразила, в каком состоянии ее застиг Каласирид. Долго молчала она, наконец, когда Каласирид стал требовать ответа, сказала:

— Поделом ты бранишь меня, но все же я достойна извинения, отец. Не обычное и вновь возникшее желание охватило меня, несчастную, но чистое и целомудренное влечение к моему, хотя и некоснувшемуся меня, но все же супругу. И притом ведь это Феаген, огорчающий меня своим отсутствием и еще более вселяющий страх неизвестностью, жив ли он.

— Что касается этого, то воспрянь духом, — сказал Каласирид, — так как он жив и будет с тобою по соизволению богов, если следует верить пророчеству относительно вас, а также и человеку, сообщившему нам вчера, что Феаген захвачен Фиамидом на пути в Мемфис. Если же он захвачен, то ясно, что он спасся, так как он уже раньше был дружен и знаком с Фиамидом. Итак, не время медлить, пора нам поспешить как можно скорее в селение Бессу, чтобы разыскать тебе Феагена, а мне еще, сверх того, моего сына. Ты ведь слыхала, наверное, что Фиамид — мой сын.

Хариклия задумалась и сказала:

— Если у тебя есть сын Фиамид и если это действительно он, то-есть твой сын, а не кто-нибудь иной, то он теперь ввергает наши дела в величайшую опасность.

Когда Каласирид, удивившись, спросил, в чем дело, она сказала:

— Ты знаешь, я была взята в плен разбойниками, и вот несчастная красота, которую находят во мне, возбудила страсть ко мне и в Фиамиде. Следует опасаться, если во время поисков мы встретим его, что он, увидав меня, узнает, что я та самая, которая хитростью избежала предложенного им брака, и постарается принудить меня к нему силою.

Каласирид ответил:

— Да не овладеет им желание когда-либо настолько, чтобы он не принял во внимание взгляда отца, чтобы взор родителя не устыдил сына и не заставил его побороть свою незаконную страсть, если она и появится. К тому же ничто не мешает тебе придумать какую-нибудь уловку для избежания того, что тебя страшит. Кажется, ты мастерица измышлять против посягателей всякие притворства и отговорки.

10. При этих словах Хариклия немного успокоилась и сказала:

— Я не собираюсь разбираться теперь, говоришь ли ты правду или шутишь со мною. Я с Феагеном уже раньше придумала некую уловку, которая тогда по стечению обстоятельств не привела ни к чему. Теперь я намереваюсь применить ее с большим успехом. Когда мы собрались бежать с разбойничьего острова, мы решили привести наше платье в самое жалкое состояние и, наподобие нищих, в таком виде появляться в селениях и городах. Если ты согласен, преобразим свой облик и станем нищенствовать. Таким образом, мы будем менее подвергаться преследованиям со стороны встречных. Бедность

в таких обстоятельствах способствует безопасности, и нищета ближе к состраданию, чем к вражде, а необходимое ежедневное пропитание мы тоже легче себе добудем; ведь в чужой стране незнакомцу трудно себе что-либо купить, а милостыня щедро дается сострадательными людьми.

11. Каласирид одобрил ее мысль и стал торопить приготовления к путешествию. Явившись к Навсиклу и Кнемону, они сообщили им об отъезде и на третий день пустились в путь, не взяв с собою ни вьючного животного, ни человека в качестве спутника, хотя им это и было предложено.

Их провожали Навсикл и Кнемон и множество других домочадцев. Провожала их также и Навсиклея, после долгих просьб получившая разрешение отца, потому что любовь к Хариклии победила в ней девическую застенчивость новобрачной.

Пройдя около пяти стадиев, они, соответственно своему полу, расцеловались под конец на прощание и подали друг другу руки. Пролив много слез и помолившись, чтобы эта разлука принесла с собою счастье, они расстались, причем Кнемон просил извинения, что не отправляется вместе с ними, так как только-что вступил в брак, и уверял, будто бы присоединится к ним, когда у него найдется время. Они вернулись в Хеммис.

Хариклия же и Каласирид впервые нарядились в нищенские одеяния, превратив себя в бедняков при помощи приготовленных заранее лохмотьев. Затем Хариклия обезобразила свое лицо, натерев его сажей, запачкала его, вымазала

грязью и, спустив неопрятный край головного платка на один глаз, прикрыла его до неузнаваемости. Она подвесила себе под мышкою сумку, по виду для собирания крох и ломтей, в действительности же предназначенную для сокрытия священной Дельфийской одежды и венков, а также найденных с нею материнских драгоценностей и отличительных знаков. А Каласирид, обернув колчан Хариклии потертыми овечьими шкурами, словно какую-то другую ношу, повесил его себе поперек плеч. Он освободил лук от тетивы и, когда тот, тотчас же разогнувшись, стал совершенно прямым, Каласирид сделал его посохом в своих руках. Сильно опирался он на него всею тяжестью, и когда замечал встречных, то нарочно сгибался более, чем принуждала его старость, и волочил одну ногу. Иногда Хариклия вела его за руку.

12. Когда они вошли в свою роль, они сами, подшучивая друг над другом, вдоволь посмеялись над своим обличьем, затем обратились к настигнувшему их божеству, прося его удовольствоваться тяготеющим до сих пор над ними несчастьем и положить ему конец. После этого поспешили к селению Бессе, надеясь найти там Феагена и Фиамида, но потерпели неудачу.

Уже приближаясь во время захода солнца к Бессе, увидали они большое число свежезакланных трупов. Поняв по одеянию и вооружению, что большинство из них были персы, заключили, что здесь разыгралось сражение. Но кем и против кого, не знали.

Наконец, проходя между мертвецами и при этом ища взором, не лежит ли где кто-либо из их близких — ведь душе свойственно предсказы-

вать худшее относительно дорогого существа, — они встретили старую женщину, обнявшую тело туземца и на все лады изливавшую свою скорбь.

И вот они решили попытаться, нельзя ли узнать что-либо от старухи. Сев рядом с нею, начали утешать и сдерживать ее чрезмерные причитания. Когда старуха успокоилась, они спросили ее, о ком она горюет и что это за сражение, причем Каласирид обратился к женщине по-египетски.

Тогда старуха рассказала все вкратце. Скорбит она по павшем сыне, а пришла к мертвецам нарочно, в надежде, не освободит ли ее кто-нибудь от жизни, не убьет ли, а также, чтобы отдать подобающий долг сыну, по мере сил проливая слезы и причитая.

13. Про войну же старуха рассказала так:

— Некий чужеземный юноша, выдающийся своею красотою и ростом, был отправлен в Мемфис к Ороондату, наместнику великого царя. Кажется, Митран, начальник стражи, взяв в плен, посылал его в виде величайшего подарка, как рассказывают. Обитатели вот этой нашей деревни — при этом старуха указала ее поблизости — явились, чтобы отнять его, так уверяли они, а может быть, это был только предлог. Митран узнал это, конечно, вознегодовал и отправился походом на селение два дня тому назад. А в селении нашем живет очень воинственное племя, которое всегда вело разбойничью жизнь и совершенно пренебрегает смертью, отнимая этим часто мужей и детей у многих других женщин, как теперь и у меня.

Узнав о предполагаемом нашествии, жители поселка приготовили какие-то засады и, подпу-

стив неприятеля, одолели его, потому что часть сражалась прямо лицом к лицу, а другие с криком напали сзади, из засады, на неожидавших этого персов.

И пал Митран, сражавшийся в первых рядах. Пали с ним также почти все, так как были окружены и не улучили ни одного места для бегства. Пали и из наших немногие, и оказался среди немногих, по тяжкой воле божества, и сын мой, пораженный персидскою стрелою в грудь. И теперь я, несчастная, оплакиваю павшего, и, кажется, придется мне оплакивать также и оставшегося у меня последнего сына, он тоже отправился в поход вчера вместе с остальными на город мемфисцев.

Каласирид спросил и о причине похода. Старуха, добавив то, что слыхала от оставшегося в живых сына, сказала, что после убийства царских воинов и начальника стражи великого царя жители отлично понимали, что этот скверный поступок не пройдет им даром, но ввергнет в опасность все их существование, так как Ороондат, наместник Мемфиса, располагает большими силами, и если узнает это, то тотчас же, при первом набеге, окружит деревню и совершит расправу, истребив все население.

И вот, навлекши на себя величайшую опасность, жители решили исправить великую дерзость, если возможно, еще большей: предупредив приготовления Ороондата, неожиданно произвести нападение, либо убить и его, если застанут его в Мемфисе, либо, если он окажется в отсутствии — как говорят, он занят теперь войною с эфиопами, — тем легче овладеть городом, свободным от защитников. Таким-то обра-

зом решили избежать опасности, а также восстановить Фиамида, начальника их шайки, в сане пророка и возвратить ему сан, не по праву захваченный его младшим братом. И если даже придется потерпеть поражение, это случится во время сражения на войне, а не будут они иначе как-нибудь изловлены и не подвергнутся злодеяниям и своеволию персов. Но, странники, куда же вы теперь направитесь?

— В селение, — ответил Каласирид.

— Небезопасно, — ответила старуха, — для вас, которых никто не знает, в такой необычный час появляться среди оставшихся.

— Ну, если ты нас проводишь, — сказал Каласирид, — я надеюсь, мы будем в безопасности.

— У меня нет времени,—ответила старуха,— мне надо совершить некие ночные жертвоприношения. Но если вы можете потерпеть — впрочем это неизбежно, даже если вы и не желаете,—то вам придется где-нибудь здесь, в сторонке, на чистом от мертвецов месте, провести эту ночь. Наутро же я провожу вас, позабочусь о вашей безопасности.

14. Каласирид рассказал Хариклии все, что говорила старуха, и, взяв Хариклию с собою, удалился.

Отойдя немного от убитых, они прибыли к какому-то невысокому холму. Там Каласирид прилег, подложив себе колчан под голову, Хариклия села, превратив свою суму в сидение.

Взошла луна и охватила все ясным светом— был третий день после полнолуния. Каласирид, как старик и притом утомленный дорогою, задремал. Хариклия бодрствовала под влиянием охвативших ее забот и стала зрительницей, хоть

и нечестивого, но для египтянок привычного действа.

Старуха, полагая, что располагает досугом, никем ненарушимым, и что ее никто не видит, сначала вырыла яму. Затем она зажгла костры по обе стороны и положила между ними труп сына, взяла со стоящего рядом треножника глиняную чашу и налила меду в яму. И тотчас же совершила возлияние из другой чаши молоком, а из третьей вином. После этого она бросила в яму печенье на сале — вылепленное наподобие человека, увенчав его сначала лавром и укропом. Наконец, она схватила меч, беснуясь, как одержимая, долго молилась, обратившись к луне, на варварском и чуждом для слуха языке, затем, взрезав себе руку, вытерла кровь веткою лавра и окропила костер. Совершив еще многое другое, она наклонилась над трупом сына и, напевая ему что-то на ухо, разбудила и заставила его тотчас встать при помощи своих чар.

Хариклия, не без страха смотревшая уже на начало, при этом содрогнулась от таких необыкновенных вещей, разбудила Каласирида, заставив и его сделаться зрителем того, что совершалось. Сами они, находясь в темноте, не были видимы, но видели то, что происходило на свету, около костра, и легко слышали слова старухи, так как находились неподалеку, а старуха уже громче стала вопрошать мертвеца.

И спрашивала она, вернется ли его брат, тоже ее сын, оставшийся в живых, и спасется ли он. Мертвец ничего не отвечал. Кивнув только, и двусмысленно предоставив матери надеяться на то, что ей было угодно, он тотчас же рухнул и упал ничком. Старуха повернула

тело лицом вверх и не переставала вопрошать его, долго нашептывая ему в уши более сильные, повидимому, принуждения. Подскакивая с мечом в руках то к костру, то к яме, она разбудила мертвеца снова. И когда он поднялся, она спросила его о том же самом, заставляя не только кивками, но и голосом ясно возвестить прорицание.

Пока старуха была занята этим, Хариклия очень просила Каласирида приблизиться к совершавшемуся и самим тоже спросить что-нибудь о Феагене. Но Каласирид отказал, говоря, что уже и созерцание этого нечестиво и лишь по необходимости терпимо, так как недостойно пророка находить удовольствие в присутствии при подобных делах. Для пророков предсказания совершаются во время законных жертвоприношений и в чистых молитвах. Лишь непосвященные люди, влачащиеся действительно у земли и мертвых тел, пользуются таким способом, как эта египтянка, которую случайное совпадение позволило им наблюдать.

15. Каласирид еще говорил, когда вдруг мертвец издал низкий и невнятный звук, идущий как бы из какой-то норы или подземной пещеры:

— Сначала я пощадил тебя, мать, — сказал он, — я все терпел, когда ты преступала законы человеческой природы, нарушала веление рока и чародейством поколебала неколебимое. Сохраняется уважение к родителям, поскольку это возможно, и у усопших. Но ты его сама, что касается тебя, разрушаешь и не только нечестивым образом начала дело, но идешь далее, преступая своим нечестием всякую меру. Ты не только заставляешь мертвое тело встать и кивать,

но и произносить слова. Ты пренебрегла моим погребением, не позволяешь мне присоединиться к прочим душам и заботишься только о своих нуждах. Так услышь же то, о чем ранее возвестить тебе я остерегся.

Не вернется твой сын и не спасется, ты сама не избегнешь смерти от меча. Тебя, всегда проводившую всю жизнь в таких нечестивых делах, в скором времени настигнет определенный всем подобным тебе насильственный конец.

Ведь ты, кроме всего этого, решилась совершить эти, и без того неподобающие и долженствующие сохраняться в молчании и мраке. таинства не наедине, но ты открываешь судьбы мертвых, даже при таких свидетелях. Между тем один из них пророк. Это еще хорошо: он достаточно мудр, не разгласит, наложит на все печать молчания. Он вообще любезен богам, поэтому удержит своих сыновей, с мечом в руках сошедшихся в кровавом единоборстве и собирающихся сразиться. Он примирит их своим появлением, если поспешит.

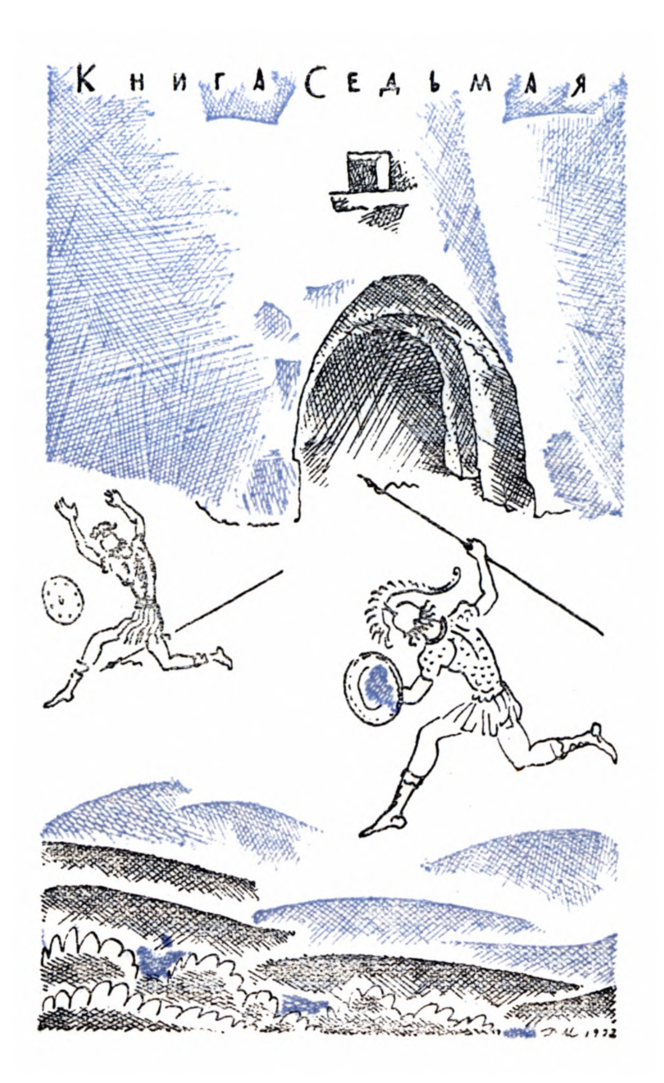
Но более тяжко то, что некая дева оказалась зрительницей моей участи. Слышит все женщина, волнуемая любовью и, можно сказать, скитающаяся по всей земле из-за своего возлюбленного, с которым она после тысячи трудов и тысячи опасностей будет жить на краю света в светлом и царственном счастьи.

Сказав это, мертвец рухнул и распростерся на земле.

Старуха поняла, что чужестранцы были ее соглядатаями, и в том виде, как была, с мечом в руках, в бешенстве направилась к ним, стала метаться повсюду среди убитых, предполагая,

что они спрятались среди мертвых. Она замыслила, если найдет, лишить их жизни, как своих преследователей и как соглядатаев ее волшебства, ставших ее врагами. Наконец, совершая поиски среди трупов, старуха нечаянно напоролась на торчащий обломок копья, пронзив себе нижнюю часть тела. И вот старуха легла тут же на месте, поистине исполнив прорицание сына.




Книга Седьмая



1. Каласирид и Хариклия подверглись великой опасности. Чтобы избежать обступивших их ужасов, они, доверяя предвещанию, усердно ускоряли свои шаги по пути в Мемфис. Они приближались к городу в то время, как прорицания, полученные посредством принесения жертв усопшим, уже исполнялись.

Когда предстал Фиамид, ведя разбойничий отряд из Бессы, жители Мемфиса едва-едва успели закрыть ворота: один воин из тех, что служили под начальством Митрана и спаслись бегством во время битвы при Бессе, возвестил о нем горожанам, предвидя его наступление. Фиамид велел сложить оружие у одной из частей стены, предоставил войску отдохнуть после напряженного пути и, повидимому, имел намерение вести осаду. Горожане вначале убоялись наступающего войска, считая его многочислен-

ным, но потом, разглядев со стены, что нападающих мало, тотчас бросились, чтобы сделать вылазку и завязать сражение с врагом. Они собрали немного оставленных для защиты города лучников и всадников и вооружили чем попало городской народ. Впрочем, один знатный старец воспрепятствовал этой попытке и наставил их, что хотя сатрап Ороондат и отсутствует, отправившись сейчас на войну против эфиопов, но, по крайней мере, Арсаке, его супруге, уместно сообщить вначале, в чем дело, чтобы с ее согласия войско, находящееся в городе, взялось за дело легче и старательнее.

2. Его слова сочли правильным, и все кинулись ко дворцу, в отсутствие царя предназначенному для сатрапов.

Сама же Арсака была красивой, пышной и предприимчивой женщиной, отличалась вследствие благородного происхождения надменным образом мыслей, какой естественно ей было иметь, как сестре великого царя, но впрочем была не безупречной жизни и подвержена беззаконной и безудержной похоти. Вдобавок она была виновницей того, что Фиамид был некогда изгнан из Мемфиса.

Каласирид, получив предсказание от богов о своих детях, тайно от всех удалился из Мемфиса, исчез и считался погибшим, Фиамид в качестве старшего брата был призван к пророчеству и всенародно совершал вступительное жертвоприношение. Арсака встретилась в храме Исиды с изящным, цветущим и нарядным ради этого торжества юношей, вперила в него нескромный взгляд и стала кивками намекать ему на более постыдное.

Фиамид не обращал ни малейшего внимания. По природе и воспитанию расположенный к скромности, он был далек от того, чтобы подозревать истинный смысл ее действий и, весь погруженный в богослужение, может быть, полагал, что это происходит от какой-либо другой причины. Брат его Петосирис уже давно страдал завистью к нему из-за пророческого сана. Подстерегши улыбки Арсаки, он избрал ее беззаконные покушения средством для козней против брата. Тайно пошел он к Ороондату, донес ему не только о стремлениях Арсаки, но и о том, будто Фиамид соглашается, ложно прибавив это.

Ороондат легко дал себя убедить, так как и ранее подозревал Арсаку. Правда, он ничуть не придирался к ней, не имея явных улик. Кроме того, из чувства страха и уважения к царскому роду, он был принужден терпеть, если что и подозревал. Фиамиду же он стал постоянно грозить смертью на основании закона и не прекратил своих угроз, пока не изгнал его, а Петросирида не возвел в пророческий сан.

3. Но все это произошло в предшествующие времена. Теперь же, когда народ сбежался к дворцу Арсаки, объявил ей о наступлении противников — это Арсака и сама предчувствовала — и просил позволения находившимся там воинам выйти вместе с ними, Арсака ответила, что не согласится на это так легко, еще не зная, как велико число противников, кто они такие и откуда—наконец, не зная даже причины, по которой враги пришли. Нужно сначала взойти на стены, все оттуда высмотреть, собрать других, и тогда приняться за то, что возможно и полезно.

Ее предложение сочли правильным, и все тотчас устремились к стенам. Там по повелению Арсаки разбили шатер с пурпурными и златотканными завесами, сама Арсака украсилась драгоценными одеждами и села на высоком престоле, окружив себя телохранителями с золоченым оружием и выставив глашатайский жезл в знак мирных переговоров; она пригласила вельмож из стана противников подойти к стене.

Фиамид и Феаген, выбранные толпой, пришли и встали под стеной, вооруженные всеми доспехами, но без шлема. Глашатай сказал следующее.

— К вам обращается Арсака, жена Ороондата, первого сатрапа и сестра великого царя. Каковы ваши желания, кто вы такие и по какой причине вы решились наступать?

Они отвечали, что этот народ — жители Бессы, про себя же Фиамид сказал, кто он такой: его противозаконно обидели его брат Петосирис, а Ороондат кознями лишил пророческого сана, и вот теперь при помощи бессейцев он возвращается на эту должность. Если он получит жречество, настанет мир, и бессейцы вернутся домой, никому ни в чем не повредив. В противном же случае дело будет поручено суду войны и оружия, и Арсака должна, если она помышляет о долге, во-время взыскать наказание с Петосириса за козни против Фиамида и за беззаконную клевету, которую Петосирис лживо сообщил Ороондату, чем навлек на Арсаку со стороны мужа подозрение в противозаконной и позорной страсти, а самого Фиамида заставил бежать из родины.

При этих словах все множество мемфисцев пришло в смятение, так как узнали Фиамида

Сперва не усматривали причины его неожиданно происшедшего бегства, но теперь у них возникло подозрение. Они убедились в правде его слов.

4. Арсака более всех смутилась мыслью и была обуреваема волнами раздумий. По отношению к Петосирису она исполнилась яростью и, передумывая давно прошедшие события, размышляла, как ему отомстить. Взирая же то на Фиамида, то снова на Феагена, она металась умом и разрывалась от страсти и к тому и к другому. К обоим она любовью пылала, причем одну любовь возобновляла, а другую, более острую, впервые в душу влагала, так что ее смущение не скрылось даже от присутствующих. Немного помедлив и точно очнувшись от столбняка, она сказала:

— Дорогие мои, вы одержимы воинственным безумием как вы, бессейцы, так и вы, столь цветущие, приятные и благородные юноши — для меня это ясно, да и нетрудно догадаться, раз вы стремитесь к явной опасности, да еще из-за разбойников. Если дело дойдет до битвы, вы и первого натиска не выдержите. Неужели окажутся такими слабыми силы великого царя, чтобы не изловить всех вас остатками здешних войск, хотя и случилось так, что сатрап в отлучке. Но войскам, думаю я, совсем не нужно вмешиваться, так как причина похода — частное дело некоторых лиц и не является государственным, общим делом. Надо частным образом разрешить спор и ожидать того конца, который определят боги и само правосудие. Так я решила, — сказала Арсака, — и повелеваю всем мемфисцам и бессейцам успокоиться и не итти друг против друга беспричинной войной. Пусть

спорящие за пророческий сан вступят друг с другом в единоборство — жречество будет наградой победителю.

5. Когда Арсака сказала это, все горожане громким криком одобрили ее предложение, так как были возбуждены против Петосириса, подозревая его в дурном умысле, и считали, что находящуюся у них перед глазами и вот-вот ожидаемую опасность можно заменить этим единоборством. Но большинство бессейцев, казалось, были недовольны и не хотели, чтобы начальник рисковал ради них. Так продолжалось до тех пор, пока Фиамид не убедил их согласиться. Он заявил о слабости и воинской неопытности Петосириса и уверял в своем громадном преимуществе при этом поединке. Казалось, и Арсака, имея это в виду, предложила решить дело единоборством, видя, что достигнет своей цели, будучи вне подозрения и что Петосирис непременно будет наказан за нее, выступив против Фиамида, значительно более храброго, чем он.

Можно было видеть, как повеление выполняется, как Фиамид, ускоряя вызов, быстрее слова всяческим рвением проникается, как он остающееся вооружение в обычном порядке примеряет, как усердно его Феаген ободряет, как шлем, на голову надеваемый, золотистым сиянием загорается, как развевается пышный гребень, как прочие части вооружения надежно скрепляются. Петосириса же насильно, по приказу Арсаки, за ворота вытолкнули — он громко вопит о помиловании и против воли вооружается.

Видя это, Фиамид сказал:

— Дорогой Феаген, видишь ли ты, как трепещет от страха Петосирис?

— Вижу,—ответил Феаген,—но как ты приступишь к делу? Ведь твой противник не просто враг—он брат твой.

— Хорошо ты сказал, — отвечал Фиамид, — ты легко угадал мою мысль. Я с божьей помощью собираюсь его победить, но не убить. Пусть никогда раздражение и гнев за мои прежние страдания не достигнут такой силы, чтобы я мог ценой братской крови и убийства, ценой осквернения себя кровью единоутробного свершить месть за прошедшее и добиться почетного положения в будущем.

— Благородны твои слова, —сказал Феаген, — они хорошо обнаруживают твою природу. Но за чем следить ты мне поручаешь?

Фиамид ответил:

— Предстоящий поединок, правда, не серьезен, но так как человеческая судьба часто приносит много нового, то, если я одолею Петосириса, ты вместе со мной вступишь в город и будешь жить на равных правах, если же случится что-нибудь вопреки надеждам, ты примешь начальство над бессейцами, очень расположенными к тебе, и вступишь на трудный путь разбойничьей жизни, пока боги не положат какого-нибудь более благоприятного предела твоей участи.

6. После этого они простились со слезами и поцелуями. Феаген остался, где стоял, ожидая, что будет, и, сам того не подозревая, позволял Арсаке упиваться своим видом — она всячески наблюдала и позволяла глазам своим долго наслаждаться страстью.

Фиамид же ринулся на Петосириса. Тот не выдержал его натиска и при первом же дви-

жении бросился бежать к воротам, желая укрыться в город Но ему ничего не удалось, так как стоявшие у ворот отгоняли его, а находившиеся на стене кричали, чтобы его не допускали к тем частям стены, куда он стремился. Петосирис бежал быстро, изо всех сил вокруг города, побросав оружие.

Сзади бежал и Феаген; он сильно беспокоился за Фиамида и не был в состоянии перенести, если увидит не все. Он не был вооружен, чтобы не навлечь подозрения в помощи Фиамиду и оставил щит и копье у того места стены, где сидел перед глазами Арсаки, предоставив ей любоваться этим вместо себя, а сам принял участие в беге.

Петосирис еще не был пойман, он немного опережал в беге, и все время казалось, что он вот-вот будет схвачен. Он убегал настолько, насколько естественно было вооруженному Фиамиду отставать от него, безоружного. Так они обежали стену и первый и второй раз. Но когда они описывали третий круг, когда Фиамид уже потрясал своим копьем над спиной брата и грозно приказывал ему остановиться под страхом ранения, когда горожане, словно в театре, обступив стену, обсуждали это зрелище, тогда-то божество или некая судьба, управляющая человеческими делами, дополнила действие новым трагическим эпизодом, сопоставив как бы начало другой драмы, и ввела Каласирида в тот день и час, словно на театральной машине, в качестве участника в беге и злосчастного зрителя борьбы его детей не на живот, а на смерть.

Много он претерпел и чего-чего не придумывал — осудил себя на изгнание и на скитание по чужбине — лишь бы отвратить от себя жесто-

кое это зрелище, но был побежден судьбой и принужден увидеть то, что боги давно ему предвозвестили. Каласирид уже издали увидел это преследование, на основании частых предсказаний, понял, что это его дети, и не по возрасту напряженным бегом преодолел даже старость, чтобы предупредить конечную схватку.

7. Приблизился и бежал уже рядом с ними Каласирид, все время восклицая:

— Что это, Фиамид и Петосирис? Что это, дети?

Но они не узнавали отца, еще облеченного в нищенское рубище, всецело занятые борьбой, пробегали мимо него, словно мимо какого нищего или просто сумасшедшего. Народ, находившийся на стене, дивился, что старик не щадит себя и бросается в битву, а некоторые смеялись, как над безумным и напрасно суетящимся.

Когда старик понял, что его не узнают в этом бедном одеянии, он совлек с себя накинутое рубище, распустил свои неподвязанные священнические волосы, бросил с плеч свою ношу, из рук посох и встал перед ними, явившись почтенным священнослужителем; он слегка наклонился, протянул умоляюще руки и со слезами воскликнул:

— О, дети, это я, Каласирид, это я, ваш отец. Прекратите посылаемое судьбой безумие. Вы обрели родителя, почтите его.

Фиамид и Петосирис смягчились и, только-что готовые вступить в бой, теперь оба припали к отцу. Обняв его колена, они сначала пристальнее вглядывались в него, тщательно старались узнать; когда же, наконец, поняли, что его облик не призрачен, а действителен, испытали

много противоречивых чувств. Они радовались родителю, паче чаяния спасшемуся, досадовали, стыдились, что их застали за таким делом и беспокоились из-за неуверенности, чем все это кончится.

Горожане дивились, ничего не могли ни делать, ни говорить, как бы онемели, не зная, в чем дело, и походили на нарисованных — они остолбенели от этого зрелища.

Вдруг произошла еще одна новая вставка в драму: Хариклия следовала по пятам за Каласиридом и издали узнала Феагена (ведь взор влюбленных зорко узнает — порою достаточно одного лишь движения или какой-нибудь черточки, будь то даже издалека или сзади, чтобы создать представление сходства), и вот она, словно ужаленная его видом, как безумная, кидается к нему. Обняв его шею, она крепко прижалась к нему, повисла на нем и целовала его с горестным плачем.

Феаген, как этого и следовало ожидать, видя грязное и нарочно сделанное безобразным лицо, потертую и порванную одежду, стал отталкивать ее и отстранять, как какую-то нищую, поистине бродяжку. Она все не отпускала его. Тогда он даже ударил ее по щеке, так как она надоела ему и мешала видеть, что творится с Каласиридом.

Хариклия сказала тихо ему: — О пифиец! И факела ты не помнишь?

Тогда Феаген, пораженный ее словами, как стрелой, признал в факеле условный для них знак, посмотрел на нее и, озаренный взором очей Хариклии, как лучами, проходящими сквозь облака, обнял ее, заключая в свои объятия.

Так в конце концов весь участок поля у стены, где Арсака сидела, гневаясь и не без ревности уже вглядываясь в Хариклию, наполнился театральными эфектами.

8. Прекратилась нечестивая битва между братьями, и состязание, которому, как ожидали, предстояло разрешиться кровью, трагически начавшись, вдруг кончилось комически.

Отец, который видел, как сыновья обнажили меч друг на друга и вступили в единоборство, который очами родительскими едва не узрел себе на горе предстоящую смерть детей, явился для них виновником мира. Правда, ему не удалось избежать предреченного судьбой, но зато привелось во время застать выпавший жребий. Дети нашли родителя после десятилетних скитаний. Его, бывшего причиной их до крови дошедшей распри о пророческом сане, они сами немного спустя увенчали и, увенчав символами жречества, провожали.

Шествие замыкали цветущие Хариклия и Феаген, любовная часть драмы, прекрасные и изящные благодаря своей молодости. Они вопреки всякому ожиданию нашли друг друга и более всех остальных обращали на себя взоры горожан.

И вот все горожане вышли за ворота и наполнили прилегающую равнину людьми всякого возраста: юношеская и только-что начинавшая мужать часть городского населения подбегала к Феагену, к Фиамиду же — достигшие зрелого мужественного возраста, чтобы познакомиться с ним. Девственная и о брачном чертоге уже мечтавшая часть населения столпилась у Хариклии, а весь старческий и священнический род сопровождал Каласирида.

И составилось внезапное священное шествие: Фиамид отпустил бессейцев, признал себя обязанным им за усердие и обещал немного погодя, в полнолуние, прислать сто быков, тысячу овец и каждому по десяти драхм*. Шею свою он под отеческие руки преклонял, облегчал его путь и поддерживал поступь старческую, от нечаянной радости несколько ослабевшую. С зажженными факелами отводили старца в храм Исиды, рукоплесканиями и громкими радостными криками сопровождали; играло много свирелей и священных флейт, и под эти звуки буйное юношество вакхически плясало.

Арсака также не осталась в стороне: она собрала свою собственную свиту и составила себе пышное шествие. Она внесла в храм Исиды ожерелья и много золота, повидимому, из тех же побуждений, что и весь город, на самом же деле обращала свой взор на одного лишь Феагена и более всех остальных наслаждалась его лицезрением, но ее радость была омрачена.

Феаген, ведя под руку Хариклию и отстраняя теснящуюся толпу, вонзил в Арсаку горькое жало ревности.

Каласирид, очутившись внутри храма, пал на лицо свое, охватил ноги кумира и провел в таком положении несколько часов. Он едва не умер, с трудом поднялся с помощью окружавших его, совершил возлияние и помолился богине, снял с головы венец жречества и увенчал им Фиамида. Народу же сказал, что сам он уже стар, что уже видит приближение последнего дня, а его сын, будучи старшим в роде, имеет законное право на символы пророчества и способен душой и телом к отправлению жреческих обязанностей.

9. Громкий крик народа был ему ответом, ободрениями изъявили свое согласие. Тогда Каласирид занял одну из частей храма, предназначенную для пророчествующих, и остался там вместе с сыновьями, Феагеном и Хариклией. Остальные разошлись по своим домам.

Отправилась домой и Арсака, но несколько раз возвращалась обратно в храм, якобы из-за большого почтения к богине. Наконец, хотя и поздно, она ушла и частенько, пока это было возможно, оглядывалась на Феагена.

Вернувшись во дворец, она прямо бросилась в спальню, не снимая нарядов, кинулась на постель и лежала безмолвной. Эта жалкая женщина вообще была склонна к запретным наслаждениям, а теперь от непреоборимой красоты Феагена, превосходившей все когда-либо виденные ею лица, еще больше разгорелась. Так пролежала Арсака всю ночь, часто поворачиваясь с боку на бок, часто из глубины стеная. Она то поднималась, то опять опускалась на постель, сбрасывала с себя одежды и снова падала на ложе. Раз она даже и служанку позвала без причины и опять отослала ее, ничего ей не приказав. Одним словом, любовь незаметно переходила в безумие.

Наконец старушка, по имени Кибела, одна из постельниц Арсаки, обычно прислуживавшая ей и в любовных делах, вбежала в спальню (ведь ничто из совершавшегося не скрылось от нее, так как светильник горел и вместе с тем как бы разжигал Арсакину любовь) и сказала:

— Что это, владычица моя? Какая необычная, новая страсть мучит тебя? Кто это снова появился и смутил мою питомицу? Кто настолько

легкомыслен и безумен, чтобы не быть побежденным такой красотой, чтобы не считать за счастье любовное с тобой общение и пренебречь твоей ясно выраженной волей? Скажи, сладкое мое дитятко. Никто не может быть столь адамантовым, чтобы не дать себя пленить моему колдовству. Скажи, и ты не успеешь оглянуться как все будет готово. В этом деле, думается, ты меня неоднократно испытала.

10. Кибела заворожила Арсаку такими речами, нашептывала ей в уши всяческую лесть, старалась заставить Арсаку выдать ее страсть. Та, немного успокоившись, сказала:

— Я ранена, матушка, так, как никогда еще не бывало. Испытала я много частых услуг с твоей стороны в подобных надобностях, но не знаю, порадуюсь ли я теперь твоему успеху. Поединок, состоявшийся сегодня перед воротами и внезапно прекратившийся, для остальных людей показался бескровным и закончился миром, для меня же стал началом более действительного сражения. Ранена у меня не какая-нибудь часть тела, но сама душа. Не в добрый час показали мне того юношу—чужеземца, что бежал с Фиамидом во время поединка. Ты, конечно, знаешь, матушка, о ком я говорю. Своей красотой он немало затмил остальных. Даже грубые люди, не имеющие склонности к прекрасному — и те заметили бы его, не говоря уже о тебе и о твоей многоопытности.

Вот, милая моя, теперь ты знаешь поразившую меня стрелу, теперь настало тебе время итти на все хитрости, пора прибегнуть ко всякому старушечьему колдовству, ко всякой вкрадчивости, если ты хочешь, чтобы твоя питомица

осталась в живых. Я не переживу, если не завладею им совершенно!

— Знаю я этого юношу, — сказала старуха. — Он широк в груди и в плечах, прямо, высоко и свободно держит шею, превосходя всех на целую голову, у него сверкающие голубые глаза, со взглядом одновременно и любезным, и страшным, это тот кудрявый, чьи щеки только-что опушились золотистым пушком.

Это к нему девка подбежала какая-то, чужестранка, недурная собой, правда, но, повидимому, шальная — она внезапно бросилась на него, обхватила и повисла на нем. Или ты о другом говоришь, госпожа моя?

— Нет, о нем, нянюшка. Верно ты мне напомнила об этом поношении, об этой язве, какие встречаются в блудилищах, правда, она сильно кичится своей малой, заурядной и искусственной красотой, но она более счастлива, чем я, так как на ее долю выпал такой любовник.

На эти слова старуха сказала с тихой усмешкой:

— Будь спокойна, госпожа моя, сегодня чужестранец ее считает прекрасной, но если мне удастся устроить его встречу с тобой и с твоей красотой, то он, как говорят, медь на золото променяет* и, как дешевую гетеру, оттолкнет это создание, старающееся быть изящным и понапрасну гордящееся.

— Если ты так сделаешь, миленькая Кибела, ты зараз станешь для меня врачом двух болезней: любви и ревности — одну удовлетворишь, а от другой освободишь.

— Так и сбудется, — сказала Кибела, — насколько это зависит от меня. А ты подбодрись,

успокойся, не отступайся в унынии от своего намерения, надейся на лучшее.

11. Так сказала Кибела и вышла, унося светильник и затворив двери спальни. День еще чуть рассветал, когда она, взявши с собою одного из царских евнухов и приказав следовать за ней прислужнице с жертвенными лепешками и другими приношениями, поспешила в храм Исиды.

Она приблизилась к преддверию храма, уверяя, что хочет принести богине жертву за госпожу свою Арсаку, испуганную сновидением и желающую снискать милость богини. Служитель однако не пустил ее и отослал обратно, говоря, что весь храм погружен в уныние: пророк Каласирид, вернувшись после долгого времени на родину, вечером устроил большое пиршество вместе со своими близкими и разрешил себе всяческие послабления и удовольствия. После пиршества он совершил возлияние и горячо помолился богине, сказал своим детям, что только до этих пор им доведется видеть отца и усиленно завещал как можно более позаботиться о прибывших с ним молодых греках и способствовать им, в тех случаях, когда это будет возможным. Затем Каласирид лег спать и, потому ли, что от великой радости чрезмерно ослабели дыхательные пути, когда старческое тело внезапно пришло в такое возбуждение, потому ли, что боги даровали ему исполнение его просьбы, но утром, когда начинают петь петухи, он был найден мертвым. Дети, на основании предсказания старца, бодрствовали всю ночь.

— И теперь, — продолжал храмовой служитель, — мы разослали людей, чтобы пригласить

представителей прочих находящихся в городе пророческих и жреческих родов: пусть они по законам отцов справят ему подобающее погребение. Итак, вам придется уйти, ведь не разрешается в течение целых семи дней под ряд не только приносить жертв, но и переступать через порог храма лицам непосвященным.

— А где же будут жить чужестранцы? — спросила Кибела.

Прислужник ответил: — Новый пророк Фиамид приказал приготовить им убежище где-нибудь неподалеку от храма, однако вне его. Как видишь, и они не приближаются к храму, повинуясь закону, и временно выселились из святилища.

Кибела усмотрела в этом обстоятельстве удачу, как бы начало охоты, и сказала: — О боголюбезнейший из служителей, настало и нам время заодно облагодетельствовать и чужестранцев, а еще более Арсаку, сестру великого царя. Ты знаешь, что она любит греков и умеет принять гостей. Скажи-ка молодой парочке, что по приказанию Фиамида, убежище им приготовлено у нас.

Служитель так и сделал, ничего не подозревая о кознях Кибелы. Он думал, что окажет благодеяние чужеземцам, доставив им убежище при дворе сатрапа, а также окажет услугу правителям, к тому же безвредную и невинную. Прислужник, видя, что Феаген и Хариклия приближаются унылыми и заплаканными, сказал:

— Вы поступаете не по закону; не дозволено отеческими обычаями (к тому же это вам было заранее запрещено) жалеть и оплакивать пророка. Божественное и священное слово повелевает хоронить его с радостью и без кощунств, как

получившего лучший жребий и избранного богами. Правда, это извинительно для вас, потерявших, по вашим словам, и отца, и попечителя, и единственную надежду, но не следует совершенно падать духом. Фиамид, кажется, унаследовал не только его жречество, но и расположение к вам. Первым делом, он приказал позаботиться о вас, и вот вам приготовлено блестящее убежище, какого пожелали бы даже местные богачи, не говоря уже о вас, чужестранцах, и, повидимому, теперь обедневших.

Указав им на Кибелу, служка сказал: — Следуйте за нею, считайте ее вашей общей матерью и повинуйтесь ее гостеприимным указаниям.

12. Так он говорил, Феаген и Хариклия послушались его. Неожиданное событие подавляюще подействовало на них, но им радостно было получить где-бы то ни было пристанище и убежище в их настоящем положении. Они, конечно, остереглись бы это сделать, если бы могли предвидеть всю трагичность их водворения и последующие злоключения.

Судьба, распоряжавшаяся ими теперь, предоставила им кратковременный отдых и эфемерную радость, но тотчас же присоединила и горести, привела их, словно добровольных пленников в руки врагов, пленяя молодых чужестранцев, не знающих будущего, человеколюбивым словом «гостеприимство». Так скитальческая жизнь окутывает живущих на чужбине незнанием словно слепотою.

Вошли они во дворец сатрапа, в пышные сени, превышавшие своею высотою частные дома и наполненные величавыми копьеносцами и шумом прочей челяди. Они преисполнились удив-

ления и смущения, видя, что жилище превосходит их нынешнее положение. Они следовали за Кибелой, часто торопившей и ободрявшей их, непрерывно называвшей их миленькими детками и уверявшей их, что следует ожидать и дальнейших радостных событий. Наконец, Кибела привела их в помещение, где сама обитала, находившееся в сторонке, особняком, удалила присутствующих, подсела к ним наедине и сказала:

— Дети, я узнала причину охватившего вас теперь уныния: вас огорчает кончина пророка Каласирида, заменявшего вам отца. Вы поступите справедливо, если скажете, кто вы и откуда. Я знаю, вы—греки, а что вы благородного происхождения, можно заключить по вашей наружности. Такой ясный взор, такой благообразный и в то же время милый вид, дают понять это. Но мне хотелось бы узнать ради вашей же пользы, из какой вы греческой области, из какого города, кто вы и как, скитаясь, прибыли сюда; скажите мне все, чтобы я могла доложить о вас моей госпоже Арсаке, сестре великого царя и супруге величайшего сатрапа Ороондата: она любит греков, любит прекрасное и оказывает благодеяния чужеземцам. Еще увидим вас в большой должности и должной чести. Расскажите-ка обо всем не вовсе, чуждой вам женщине: я сама родом гречанка с Лесбоса, привезена сюда в плен, но живу лучше, чем дома.

Я для моей госпожи — все, она чуть-что не видит и не дышит мною, я для нее и ум, и уши, и все, я постоянно устраиваю для нее знакомства с порядочными людьми и храню ей верность во всех тайнах.

Феаген сравнивал в своем уме сказанное Кибелой с совершенным накануне Арсакой и вспомнил, что та смотрела на него пристально, дерзко не сводя глаз, обнаруживая нечистые мысли. Феаген поэтому не ожидал в будущем ничего хорошего. Он уже хотел отвечать старухе, когда Хариклия, незаметно нагнувшись к его уху, сказала: — Не забудь сказать в своем ответе, что я твоя сестра.

13. Поняв намек, Феаген ответил: — Матушка, что мы греки, ты сама как-то узнала. Я скажу тебе, что мы — брат и сестра. Наши родители были захвачены в плен разбойниками, мы отправились разыскивать их и испытали более суровую, чем они, руку судьбы. Мы попали к еще более свирепым людям, лишились всего имущества (а его было много) и едва спаслись сами. По благой воле божества мы встретились с героем* Каласиридом и, прибыв сюда, чтобы впредь жить с ним, теперь, как видишь, остались сиротами. Вместе с его сыновьями потеряли мы человека, которого почитали отцом, да он действительно и был им. Вот что случилось с нами. Тебе мы очень благодарны за привет и за руководство, но ты еще больше услужишь нам, если позволишь жить одинокими, скрытыми, отложишь то благодеяние, о котором ты только-что говорила, то-есть знакомство с Арсакой. Не стоит вводить в ее судьбу, столь блистательную и счастливую, нашу чужестранную, скитальческую и печальную жизнь: хорошо, как ты знаешь, чтобы знакомство и встречи бывали только между равными.

14. Кибела не сдержалась после такой речи. Ее лицо расплылось, было ясно, что она чрез-

вычайно обрадовалась тому, что они — брат и сестра. Она сообразила, что Хариклия не станет помехой или задержкой в любовных замыслах Арсаки.

— Прекраснейший из юношей, — воскликнула она, — ты не стал бы говорить подобных вещей об Арсаке, познакомившись с этой женщиной. Она — общее достояние, какой бы жребий ни пал на долю человека, но особенно она помогает терпящим незаслуженные бедствия. Персиянка родом, она истая гречанка умом, с радостью приходит на помощь грекам и чрезвычайно любит греческие нравы и обхождение.

Итак, мужайтесь: ты будешь делать, что полагается мужчинам — и достигнешь почета, а твоя сестра будет подругой ее игр и бесед. Но как же вас звать?

Услыхав, что Феагеном и Хариклией, Кибела промолвила: — Подождите меня здесь — и поспешила к Арсаке, ранее приказав привратнице (это была тоже старуха), чтобы та ни в коем случае не позволяла войти к ним кому бы то ни было, а также не разрешила выйти кудалибо и молодой чете.

Привратница спросила: — Даже, если придет твой сын Ахэмен? Лишь только ты ушла в храм он тоже вышел, чтобы пойти помазать глаза. Ты знаешь, он еще немного страдает ими.

— Да, даже его не впускай, — отвечала Кибела. — Запри дверь, храни ключи при себе и говори, будто они у меня.

Так и случилось. Чуть только ушла Кибела, как уединение внушило Феагену и Хариклии плач и воспоминание о случившемся. Они при-

нялись горевать почти-что одними и теми же словами и мыслями.

Она непрерывно стонала: — О, Феаген! — а он: — О, Хариклия!

Он говорил: — Что за судьба опять постигла нас!

Она же: — С чем-то придется нам встретиться?

При каждом слове они целовались, плакали и опять целовались. Наконец, вспомнив о Каласириде, они обратили свой плач в скорбь по нем. Более горевала Хариклия, так как в течение более долгого времени она видела от него заботы и уход.

— Увы, Каласирид, — восклицала она, рыдая, — я лишена возможности произносить самое почтенное имя—отец. Божество возревновало о том, чтобы всячески лишить меня возможности обращаться к отцу. Природного моего отца я не знала, удочерившему меня Хариклу я, увы, изменила, а его преемника, воспитателя и спасителя, лишилась. И даже оплакивать должным плачем еще лежащее тело его не позволяют мне пророки. Тебе, воспитатель, спаситель и отец,— прибавлю я, — жертвую я свои слезы, несмотря на препятствия со стороны божества, где возможно и как возможно, а вместо возлияния, дарю свои кудри.

С этими словами Хариклия вырвала как можно больше волос. Феаген ее удерживал, умоляюще схватывал ее руки, но она продолжала в трагическом слоге:

— К чему мне еще жить? Какого ожидать упования? Руководитель на чужбине, посох в скитании, вождь в пути на родину, родителей узнавание, в несчастиях утешение, трудностей об-

легчение и разрешение, якорь всего нашего положения, Каласирид погиб, оставив нас, несчастную чету, как бы слепцами, действующими на чужбине. Всякое путешествие, всякое мореплавание пресечено нашим незнанием. Ушел почтенный и ласковый ум, мудрый и поистине седой. Благодеяний, оказываемых нам, не довел он до конца.

15. Так и в таком роде жалостно сетовала Хариклия. Феаген то увеличивал ее плач своим собственным, то, щадя Хариклию, подавлял его.

В это время приходит Ахэмен и, найдя двери запертыми на засов, спрашивает привратницу, что это значит. Узнавши, что это является делом его матери, он подошел к дверям, недоумевая о причине и услыхал плач Хариклии. Нагнувшись к отверстию, через которое отмыкалась цепь засова, он увидел происходившее там и стал снова спрашивать привратницу, кто находится там внутри. Она ответила, что не знает всего, знает только, что это, повидимому, какие-то чужестранцы, девушка и юноша, только-что водворенные сюда его матерью. Ахэмен опять нагнулся и попытался тщательно разглядеть, кого видел. Совершенно не зная Хариклии, он все же сильно дивился ее красоте и представлял себе, как бы она выглядела, не будучи заплаканной. Удивление незаметно увлекло его в любовную страсть.

Что же касается Феагена, то Ахэмену казалось, что хотя туманно и смутно, он все-таки его узнает.

И вот, когда Ахэмен тщательно разглядывал их, возвратилась Кибела. Она сообщила обо всем происшедшем с молодою четою и поздравила

Арсаку с удачей: само собой совершилось то, чего никто не надеялся достичь бесчисленными замыслами и хитростями — любимец Арсаки будет жить в одном с нею доме, их свидания будут безопасны. Многими такого рода словами она привела в возбуждение Арсаку и с трудом удержала ее от попытки сейчас же увидеть Феагена, говоря, что нежелательно, чтобы Арсака явилась перед юношей бледной и с распухшими от бессонницы глазами: ей нужно отдохнуть этот день и вернуть свою обычную красоту.

16. Многими такого рода словами Кибела привела Арсаку в хорошее настроение, внушала надежду, что все совершится по ее желанию, и научила, что нужно делать и как встретиться с чужеземцами.

Наконец Кибела возвратилась и спросила:

— О чем ты хлопочешь, сын мой?

Ахэмен ответил: — Я хочу знать о чужеземцах, которые находятся внутри, кто они такие и откуда.

— Нельзя, дитя мое, — возразила ему Кибела, — соблюдай молчание, храни все в себе, никому не рассказывай и не общайся часто с чужеземцами. Такова воля госпожи.

Ахэмен ушел, покорно повинуясь матери и считая, что Феаген взят для обычных Афродитиных услуг Арсаке. Уходя он рассуждал сам с собой:

— Не тот ли это юноша, кого я недавно принял от начальника стражи Митрана, чтобы отвести его к Ороондату для посылки великому царю, и кого у меня отняли бессейцы с Фиамидом? Тогда я едва не подвергся смертельной опасности, лишь один я спасся из всех ведших

его. Неужели меня обманывают глаза? Нет, я чувствую облегчение и различаю другие предметы почти как обычно. К тому же я слышал, что Фиамид накануне был здесь и, после единоборства с братом, получил жречество. Значит, это тот самый. Но пока надо молчать, что я его узнал, и постараться выведать, какие намерения у госпожи относительно чужеземцев.

17. Так рассуждал Ахэмен сам с собою, Кибела же, вбежавши к молодой чете, застигла следы слез. Хотя при скрипе отворяющейся двери, Феаген и Хариклия постарались привести себя в порядок и вернуть обычный вид своим уборам и взорам, все же они не могли скрыть от старухи, что слезы еще блуждали в их глазах.

Кибела воскликнула: — О, сладчайшие мои детки, зачем вы безвременно плачете, когда надо радоваться, когда надо считать себя счастливыми, раз судьба вам улыбнулась. Намерения Арсаки по отношению к вам самые лучшие и для вас желательные: она согласилась принять вас на следующий день, а пока велела вас всячески приветствовать и оказывать вам услуги. Бросьте этот неразумный, поистине детский плач, следите за собою, приведите себя в порядок, уступите и повинуйтесь воле Арсаки.

Феаген ответил: — Матушка, воспоминание о кончине Каласирида повергло нас в печаль и вызвало слезы, так как мы лишились его отеческой заботливости.

— Все это пустяки, — сказала Кибела. — Каласирид, во-первых, не природный ваш отец, а во-вторых, старик подчинился общему порядку природы и своему возрасту.

А тебе одновременно предстоит все: первое

место, богатство, роскошь и наслаждение твоим цветущим возрастом. Одним словом, считай это своим счастьем и воздай поклонение Арсаке.

Слушайтесь только меня во всем: как следует приблизиться к ней, взглянуть на нее, когда она это дозволит, как обращаться с ней и исполнять ее приказания. Ты знаешь, дух ее велик, надменен и царственен, чему способствуют еще ее молодость и красота — Арсака не терпит презрения к ее приказам.

18. Феаген промолчал. Он размышлял сам с собою: эти речи—предвестники чего-то неприятного и дурного.

Немного спустя вошли евнухи. Они несли в золотых сосудах, правда, лишь остатки, со стола сатрапа, но такие, что они затмевали всяческое великолепие и роскошь.

— Этим, — сказали они, — госпожа сегодня приветствует и жалует чужеземцев. — Евнухи поставили яства перед ними и тотчас удалились.

Феаген и Хариклия, отчасти потчиваемые Кибелой, отчасти из боязни показаться гордецами, вкусили немного из предложенного. Это повторилось и вечером, и в следующие дни. А на следующий день около первого часа дня обычные евнухи, явившись к Феагену, сказали:

— Тебя зовет госпожа, дорогой гость. Нам приказано привести тебя перед ее очи. Иди же, вкуси счастье, уделяемое ею редким людям и редко.

Феаген, немного помедлив, точно его насильно влекли, встал и спросил: — Одному мне приказано прийти или с сестрой?

Евнухи ответили, что одному, а Хариклия принята будет особо. Сейчас у Арсаки несколько персидских сановников, да и вообще обычай

велит мужчин принимать отдельно, а женщин — в другое время.

Нагнувшись к Хариклии, Феаген тихо сказал: — Неладно это, но я подозревал, что так и будет.

Услышав от Хариклии, что нужно будет не прекословить, соглашаться сперва и делать вид, будто готов все исполнить по воле Арсаки, Феаген последовал за провожатыми. На их наставления, как полагается встретиться с Арсакой, как назвать ее, как при входе следует пасть ниц, он ничего не отвечал.

19. Войдя, он увидел Арсаку. Она сидела на возвышении, блистала пурпурной и златотканной одеждой, кичилась драгоценностью ожерелий и тиары, была расцвечена для изящества всевозможными прикрасами, окружена копьеносцами и сановниками. Феаген не оробел, но, словно позабыв свой уговор с Хариклией о рабском притворстве, еще более выпрямился и воспрянул духом при виде персидской хвастливой роскоши, не преклонил колен и не пал ниц, но, прямо держа голову, промолвил:

— Привет тебе, царственная кровь, Арсака!

Присутствующие вознегодовали и стали роптать на Феагена, называя его дерзким и заносчивым за то, что он не пал ниц.

Тогда Арсака сказала с улыбкой: — Простите его: он чужестранец, неопытен, истый грек и страдает распространенным у них презрением к нам.

С этими словами, несмотря на недовольство присутствующих, Арсака сняла с головы тиару (у персов это считается знаком ответного приветствия) и сказала через переводчика, так как

она не говорила по-гречески, хотя и понимала этот язык.

— Ободрись, гость, скажи, чего ты желаешь: отказа не встретишь.

Затем она отпустила его, кивком дав приказание евнухам.

Феаген был отведен в сопровождении копьеносцев. Ахэмен, снова увидав, лучше узнал его и дивился, подозревая причину столь необычного почета. Но он промолчал, приводя в исполнение свое намерение.

Арсака, угостив персидских сановников, под предлогом обычного их чествования, а на деле считая пиром свою встречу с Феагеном, послала ему и Хариклии не только часть яств, как это уже вошло в обычай, но и несколько ковров и пестро расшитых подстилок, работы сидонских и лидийских мастеров. Послала она и рабов для прислуживания: Хариклии девочку, Феагену мальчика. Родом те были ионийцы, а по возрасту еще очень юные.

Арсака усиленно просила Кибелу поспешить и как можно скорее привести ее к цели, так как она уже не может справиться со своей страстью. Но та и сама не покладала рук, всячески стараясь подойти к Феагену. Открыто она не обнаруживала ему планов Арсаки, но старалась дать ему понять это обходами и намеками. Она прославляла благосклонность своей госпожи к нему, ее красоту, не только видимую, но и одеждой скрываемую, указывала на нее под разными благовидными предлогами, восхваляла также ее характер, говоря, что она любезна, общительна и мила с теми юношами, что поигривее и помужественнее — вообще Кибела нащупывала

своими рассказами, согласен ли он на любовное дело.

Феаген хвалил вместе с Кибелой благосклонность Арсаки, ее любовь к грекам и тому подобные качества, сознавался в своей благодарности, но оставлял без внимания то, что вело к непристойному, как-будто и не понимал начала таких речей.

Старуху бросало в жар, сердце ее разбивалось. Она догадывалась, что Феаген понимает ее своднические намерения, но видела, что он смело отвергает все попытки.

Трудно ей было переносить и Арсаку, которая торопила ее, уверяя, что более не может терпеть. Арсака требовала, чтобы Кибела исполнила свое обещание, Кибела постоянно затягивала дело под разными предлогами, то говоря, что юноша согласен, но робеет, то измышляя приключившееся с ним недомогание.

20. По прошествии пяти или шести дней, после того как Арсака раза два приглашала к себе Хариклию, относясь к ней с уважением и благосклонностью, как к человеку дорогому для Феагена, она наконец заставила Кибелу яснее переговорить с ним.

Кибела открыто объявила ему о любви, обещая бесчисленные блага в случае согласия.

— Что за робость, — прибавила она, — почему ты так чуждаешься Афродиты? Столь юный, прекрасный и цветущий отталкивает такую же женщину, чахнущую от любви, и не считает это для себя ценной находкой! Дело не связано ни с какой опасностью, мужа нет дома, а я, кормилица ее, устроительница всех ее тайн, готова служить вашей связи. Тебе ничто не препят-

ствует, так как у тебя нет ни жены, ни невесты. Впрочем, многие частенько и на это не обращали внимания, разумно решив, что домашним это дело не принесет никакого вреда, а им самим — пользу: доставит владение имуществом и приятное наслаждение.

Под конец Кибела присоединила к сказанному и угрозу говоря:

— Способные к любви и любящие юношей женщины становятся бессердечными, гневными, потерпев неудачу, и заслуженно мстят презревшим их, как оскорбителям. Прими во внимание, что Арсака родом персиянка, да еще царственной крови, говоря словами твоего приветствия, что она облечена большой властью и силой, которые дают ей возможность безнаказанно почтить расположенного к ней, а противящегося наказать.

А ты и чужеземец, и одинок, и нет у тебя сторонников. Пощади по возможности и себя, и ее. Она достойна, чтобы ты ее пощадил, так обезумела она от искренней страсти к тебе. Остерегайся также и любовного гнева, берегись и вреда, происходящего от презрения.

Я знаю, многие раскаивались потом. Я более твоего опытна в делах Афродиты. Седые волосы, которые ты видишь у меня, участвовали во многих делах такого рода, но никогда еще не видывала я такой суровой неприступности.

И обратив свою речь к Хариклии (необходимость дала ей смелость говорить о таких вещах при ней), Кибела сказала:

— Упроси ты со мной, дочь моя, твоего — не знаю, как и назвать его подобающим образом — брата. Это и тебе будет полезным: любить тебя будут

не меньше, а почитать больше. Богата ты будешь до пресыщения, Арсака позаботится о блестящем браке для тебя. Такое будущее завидно и счастливчикам, не только что чужестранцам, находящимся теперь в нужде.

21. Хариклия отвечала на это, посмотрев на нее с какой-то жгучей усмешкой:

— Было бы лучше, чтобы во всем превосходная Арсака не подвергалась таким напастям, но раз это так, на втором месте стоит уменье воздержанием смирять страсти. Но если уж с ней приключилось обычное человеческое дело, если она побеждена и не в силах противиться своей страсти, то я и сама посоветовала бы Феагену не отказываться от такого дела, если оно безопасно.

Но как бы только он незаметно не вовлек в беду и себя и ее, если это обнаружится и сатрап узнает стороной о таком беззаконном деянии.

Кибела вскочила от таких слов, много раз обняла и поцеловала Хариклию и сказала:

— Хорошо, дитя мое, что ты пожалела женщину, по природе подобную тебе, и позаботилась о безопасности брата. Но на этот счет будь спокойна: по пословице, даже солнце не узнает об этом.

— Погоди-ка, — сказал Феаген, — дай нам подумать.

Кибела тотчас же удалилась. Тогда Хариклия сказала:

— Феаген, божество дарит нам такое счастье, в котором больше несчастья, чем призрачного благополучия. Но разумным людям свойственно даже бедственные обстоятельства обращать

к лучшему. Раз ты окончательно уже решил совершить это дело, то мне не о чем говорить. Разве стану я возражать, если наше спасение или гибель всецело зависят от этого? Впрочем, ты правильно поступаешь, если находишь ее требование неприемлемым. Но, по крайней мере, делай вид, что соглашаешься, питай обещаниями похоть этой варварки, отсрочкой пресекай крутые меры против нас, услаждай надеждой и смягчай обещаниями ее воспаленное сердце.

Правдоподобно, что в этот промежуток времени по воле богов наступит какая-нибудь развязка. Но смотри, Феаген, не поскользнись от усердия, иначе ты втянешься в позорное дело.

Феаген улыбнулся и сказал:— Тебе даже в беде не удалось избежать ревности, этого врожденного женского недуга. Знай, что я даже притвориться не могу таким: одинаково постыдно и делать позорное и говорить. К тому же отпор притязаниям Арсаки заключает в себе то хорошее, что она уже не будет надоедать нам. Если придется претерпеть что-либо, то и судьба и ум часто уже приучали меня переносить все случайности.

— Смотри, чтобы мы не попали в большую беду,— сказала Хариклия и замолкла.

22. Так рассуждали они. А Кибела снова окрылила Арсаку, сказав, что нужно ожидать благоприятного исхода, так как Феаген, как ей кажется, почти согласился.

Кибела вернулась в свою комнату. Пропустив этот вечер, а ночью горячо попросив Хариклию, с самого начала спавшую вместе с ней, помочь ей, она на заре опять спросила Феагена, каково его решение.

Феаген наотрез отказался, заявил, что и ожидать нечего. Кибела в унынии побежала к Арсаке и сообщила ей о непреклонности Феагена. Арсака приказала вытолкать старуху в шею, вбежала в свою спальню и бросилась на постель, разрывая на себе все.

Лишь только Кибелу выгнали из покоев Арсаки, Ахэмен, видя ее унылой и заплаканной, стал расспрашивать:

— Не случилось ли, матушка, какой неприятности, чего-нибудь дурного? Не огорчили ли нашу госпожу какие-нибудь известия? Не пришло ли из ставки донесение о каком-нибудь несчастии? Не одолевают ли в нынешней войне эфиопы господина нашего Ороондата?

Ахэмен насмешливо задавал много таких вопросов.

— Вздор мелешь,— закричала Кибела и убежала. Но Ахэмен не отступился, последовал за ней, взял ее за руки, стал целовать и умолять раскрыть свою скорбь перед родным сыном.

23. Взяв его и уединившись в саду, Кибела сказала:

— Другому бы я не сообщила об общем нашем несчастьи — моем и госпожи. Но так как Арсака во всем терпит неудачу, то я ожидаю смертельной опасности (ведь я хорошо знаю, что на меня обрушатся и власть и страсть Арсаки) — вот что я принуждена сказать тебе. Не придумаешь ли ты, как помочь родившей тебя, произведшей на свет и вот этой грудью вскормившей? Госпожа влюблена в нашего юношу и любит его любовью непереносимой, незаконной, неисцелимой. Удовлетворить эту страсть напрасно до сих пор пытались и она и я. Вот в чем была причина необы-

чайной благосклонности и разнообразных услуг, расточавшихся чужеземцам. Но этот юноша, дерзкий, упорный дурак, отверг наше предложение. Я знаю, что Арсака не останется в живых, да и меня погубит, как надругавшуюся над обещаниями и оказавшуюся лукавой. Вот каково положение, сыночек. Если ты можешь чем-нибудь помочь, окажи содействие, а не можешь — схорони меня, когда я умру.

— А какая награда, матушка, будет мне за это?— спросил Ахэмен,— некогда мне нежничать с тобой, некогда мне обиняком, разными изворотами говорить о моей помощи тебе, раз ты так взволнована и еле жива.

— Ожидай всего, чего хочешь,— сказала Кибела. Ради меня Арсака уже и теперь назначила тебя главным виночерпием. Если же ты имеешь в виду дальнейшее повышение, скажи. Богатство и не перечислить, какое ты получишь, если спасешь эту несчастную.

— Давно у меня, матушка, возникли подозрения, я все понял, но молчал, выжидая, что будет. Мне не нужно ни чинов, ни богатства А вот если она выдаст за меня девушку, называемую сестрой Феагена, тогда будет сделано по ее желанию. Влюблен я, матушка, в эту девушку безмерно. Госпожа наша, испытав на себе и силу и природу страсти, справедливо бы помогла человеку, страдающему тем же недугом, к тому же обещающему совершить такое трудное дело.

— Не сомневайся в этом,— промолвила Кибела,— госпожа немедленно окажет тебе эту услугу, раз ты станешь ее благодетелем и спасителем. А может быть, нам и своими силами

удастся склонить девушку. Но скажи, каким образом поможешь ты нам?

— Нет, не скажу,— ответил Ахэмен,— прежде, чем госпожа клятвой не скрепит своего обещания. А ты не предпринимай никаких попыток относительно девушки. Я вижу, она горда и высокомерна, ты можешь испортить все дело.

— Все будет сделано,— воскликнула Кибела, вбежала в опочивальню к Арсаке, припала к ее коленам и сказала:

— Будь спокойна. Все успешно совершается по воле богов. Прикажи только позвать моего сына Ахэмена.

— Пусть позовут его,— отвечала Арсака, — если только ты не собираешься опять обмануть меня.

24. Ахэмен вошел. Старуха все рассказала, и Арсака дала клятву устроить его брак с сестрой Феагена.

— Госпожа,— сказал Ахэмен,— пусть перестанет Феаген, раз он раб, глумиться над своей госпожей.

На вопрос Арсаки: — Что это ты говоришь?— Ахэмен рассказал все: Феаген захвачен по праву войны и сделался пленником, Митран отправил его к Ороондату, чтобы препроводить к великому царю, бессейцы с Фиамидом смелым набегом отбили у него Феагена, вести которого ему было поручено, а ему самому с трудом удалось спастись. Под конец он показал Арсаке и письмо Митрана Ороондату, заранее приготовив его, утверждая, что, если нужны и другие доказательства, то Фиамид может быть свидетелем.

Арсака свободно вздохнула, услышав это. Ни мало не медля, она из спальни проходит в зал,

где она имела обыкновение принимать, и приказывает привести Феагена Когда его привели, она указала ему на стоявшего тут же Ахэмена и спросила, узнает ли он его. Феаген отвечал утвердительно.

Арсака спросила вторично:

— Итак, он вел тебя пленником?

Когда Феаген согласился и с этим, Арсака промолвила:

— Так знай, что ты наш раб. Ты будешь делать то же, что и рабы, повинуясь нашей воле, даже против своей воли, а твою сестру я отдам в жены Ахэмену, занимающему первое место у нас ради его матери и рвения к нам. Отсрочку же даю только для того, чтобы заранее назначить день свадьбы и приготовить пышное пиршество.

Феаген был уязвлен этими словами, словно раной. Но он решил не прекословить, а уклониться, как от нападения зверя.

— Госпожа,— сказал он,— слава богам, что, никому не уступая в благородстве, мы хотя бы тем счастливы в нашем несчастии, что будем рабами не у других, а у тебя, столь милостиво и дружелюбно обращавшейся с нами, когда мы казались посторонними чужеземцами. Что же касается моей сестры, которая не пленница и поэтому не рабыня, хотя она и соглашается служить тебе и охотно приняла звание твоей компаньонки, то поступи с ней так, как считаешь правильным.

— Зачислить его в стольники,— сказала Арсака,— пусть Ахэмен обучит его обязанностям виночерпия, заранее приучая его к службе у царя.

25. Они вышли. Феаген печально присматривался к тому, что ему нужно будет делать, а Ахэмен насмехался и издевался над ним.

— Ты, только что бывший у нас таким надменным, высокомерным, не сгибавшим шеи, ты один только такой свободный, не желавший приветственно наклонить головы, теперь-то ты уж склонишь ее, а не то опустишь, вразумляемый ударами кулака.

Арсака отослала всех и, оставшись наедине с Кибелой, сказала ей:

— Теперь, Кибела, у него отняты все предлоги. Пойди и скажи этому гордецу: если он будет повиноваться нам и поступать по нашему желанию, то получит свободу и будет жить в обилии и довольстве, а если будет упрямо противиться, то одновременно испытает на себе гнев и презираемой любовницы и негодующей госпожи, ему придется исполнять самые последние, унизительные работы, он будет подвергнут всем видам наказания.

Кибела пришла и передала слова Арсаки, прибавив много от себя, чтобы склонить его к тому, что казалось ей выгодным. Феаген попросил ее немного подождать и, уединившись с Хариклией, воскликнул:

— Мы погибли, Хариклия! По пословице, оборвались все канаты, выдернут всякий якорь спасения. И даже звания свободных людей мы не сохранили в нашей беде, нет, мы опять стали рабами (он рассказал ей, как это случилось), теперь мы предоставлены варварским оскорблениям. Нам остается или делать угодное господам, или причислить себя к осужденным. Впрочем, это еще сносно, — прибавил он, — но самое тяжкое это

то, что Арсака обещала выдать тебя за Ахэмена, сына Кибелы. Ясно, что этого не будет, или, если будет, то я этого не увижу, пока жизнь не лишила меня меча и средств защиты. Но что нужно делать, какую хитрость придумать, чтобы отвратить ужасную связь мою с Арсакой, а твою — с Ахэменом?

— Только одно есть средство,— сказала Хариклия,— твое согласие; этим ты помешаешь связи Ахэмена со мной.

— Не кощунствуй, Хариклия. Пусть не достигнет такой силы суровость божества, чтобы я, не познавший Хариклии, осквернился противозаконной связью с другой. Но, кажется, я нашел средство. Необходимость—изобретательница хитростей.

С этими словами Феаген подошел к Кибеле и сказал: —Доложи госпоже, что я хочу видеться с ней наедине и особо от остальных.

26. Старуха, считая, что это и есть то самое и что Феаген сдался, сообщила обо всем Арсаке и получила приказание привести его после ужина. Она так и сделала. Приказала приближенным Арсаки оставить госпожу в покое, велела приставленным к спальне не тревожиться и привела Феагена. Все остальные помещения были окутаны мраком, так как была ночь, что давало возможность сделать это незаметно, и только спальная была освещена светильником. Кибела ввела Феагена и собиралась уйти.

Но Феаген сказал:—Подожди. Пусть, госпожа, Кибела тоже останется здесь. Я знаю, она умеет верно хранить тайны.

Взяв Арсаку за руку, он сказал:—Госпожа, я раньше откладывал исполнение твоего приказа-

ния не потому, что дерзко перечил твоей воле, а потому, что хотел устроить это безопасно. Теперь же, когда меня судьба, прекрасно повидимому поступая, сделала твоим рабом, я тем более готов во всем повиноваться тебе. Обещай только, что ты даруешь мне исполнение одной просьбы, хотя ты уже обещала мне много хорошего. Откажи Ахэмену в браке с Хариклией. Не говоря уже об остальном, нельзя ей, гордой своим столь благородным происхождением, выйти за раба. В противном случае, клянусь тебе Гелиосом, прекраснейшим из богов, и остальными богами, я не уступлю твоему желанию, а если ты применишь насилие к Хариклии, то увидишь, что я еще раньше покончу с собой.

Арсака ответила:—Будь уверен, что я готова всячески услужить тебе, готова даже пожертвовать собой. Но я уже раньше поклялась выдать твою сестру за Ахэмена.

— В таком случае, госпожа,—возразил Феаген,—выдавай замуж мою сестру, кто бы она ни была. Но обрученную со мной невесту (чем она отличается от жены?)—я уверен, ты не захочешь выдать, да если и захочешь, не выдашь.

— Что ты говоришь?—воскликнула Арсака.

— Правду,—ответил он: —Хариклия мне не сестра, а невеста, как я уже сказал. Итак, ты свободна от своей клятвы, если хочешь, можешь иметь и другое доказательство: соверши, когда найдешь это нужным, мой брак с ней.

Арсака впала в раздражение: она не без ревности услышала, что Хариклия не сестра, а невеста. Все-таки она сказала:—Хорошо, пусть будет так. Мы утешим Ахэмена другим браком.

— И я утешу тебя,—ответил Феаген,—если ты так рассудишь.

Он подошел, намереваясь поцеловать ее руку, но она нагнулась и, подставив ему губы вместо рук, сама поцеловала его. И ушел Феаген, получив поцелуй, но не дав его.

Улучив время, он все рассказал Хариклии (кое-что и она выслушала не без ревности). Он объяснил ей и цель своего странного обещания, утверждая, что многое будет достигнуто этим приемом:

— Брак Ахэмена расстроен, а пока-что найден предлог отсрочить удовлетворение похоти Арсаки. Главное же то, что Ахэмен, как это естественно ожидать, приведет все в смятение, огорчаясь неудачей своих надежд и негодуя, что он умален Арсакой ради ее любви ко мне. От него это не скроется: ему все сообщит мать, которая нарочно, по моему умыслу, присутствовала при нашей беседе. Я хотел, чтобы об этом было сообщено Ахэмену и чтобы Кибела была свидетельницей, что мое общение с Арсакой ограничилось только словами. Может быть, достаточно не сознавать за собой ничего плохого и надеяться на милость богов, но хорошо также убеждать в своей правоте людей, с которыми сталкиваешься, и с полной искренностью проводить эту, подверженную случайностям, жизнь.

Добавил Феаген и то, что нужно обязательно ожидать от Ахэмена козней против Арсаки: судьба его сделала рабом, а подвластные всегда враждуют с властителями. Его оскорбили и отменили данную ему клятву, он влюблен и вдруг узнает, что другие предпочтены ему, он знает о самых позорных и беззаконных делах Арсаки, ему не

нужно выдумывать козней, на что часто решаются многие под влиянием огорчения. Средства отомстить, основанные на действительности, находятся в его распоряжении.

37. Феаген подробно рассказал обо всем Хариклии и хоть немного подбодрил ее. На следующий день он был отведен Ахэменом, чтобы прислуживать при столе, как это было повелено Арсакой. Она прислала ему драгоценную персидскую одежду, Феаген переоделся в нее, волей-неволей украсился золотыми цепочками и ожерельями из драгоценных камней. Ахэмен старался показать ему его обязанности и научить некоторым приемам виночерпия, но Феаген подбежал к одному из треножников, на которых стояли чаши, взял драгоценный сосуд и сказал:

— Не нуждаюсь в учителях и буду самоучкой служить госпоже. К чему кривляться в столь легком деле? Тебя, милый мой, твое положение заставляет знать эти приемы, а мне внушает, что нужно делать, моя природа и самые обстоятельства!

С этими словами он поднес чашу Арсаке, разбавив вино должной мерой воды, и подал ее, подойдя ритмично, на цыпочках.

Напиток привел Арсаку в вакхическое неистовство более, чем прежде. Она глотками отпивала из чаши и, не сводя глаз, пристально смотрела на Феагена. Она глотала больше любовь, чем вино, нарочно не выпивала чаши до конца, но искусно и с большими промежутками пила за здоровье Феагена.

Это уязвляло Ахэмена, он преисполнился гнева и ревности. Даже от Арсаки не скрылось, что он смотрел исподлобья и тихо шушукался с присутствующими.

Пиршество уже кончалось, когда Феаген сказал:—Первой милости прошу я у тебя, госпожа, прикажи, чтобы, прислуживая, я один был облечен в такую одежду.

Арсака согласилась на это, Феаген переоделся в свое обычное платье и вышел. С ним вместе вышел и Ахэмен, он горячо упрекал Феагена за его дерзость, говорил, что он ведет себя помальчишески, что для первого раза госпожа не обратила внимания, зная, что он—чужестранец и неопытен, но если ты и вперед будешь нерадивым, то не обрадуешься!—что он говорит это ему по дружбе, а еще более потому, что в скором времени породнится с ним и станет мужем его сестры—так обещала госпожа.

Ахэмен говорил многое в таком духе, а Феаген, похожий на неслышащего, шел, потупя взор.

Наконец, встретилась с ними Кибела, спешившая уложить свою госпожу для после-обеденного отдыха. Видя своего сына мрачным, она осведомилась о причине.

Тот отвечал:—Чужой мальчишка предпочтен нам и, только-что втершись, уже получил должность виночерпия. Не обращая ни малейшего внимания на нас, главных стольников и виночерпиев, он сам подает чашу, приближается к царственной особе и, вплоть до имени, присвоил себе наш сан. Что он в почете, что он общается в более важных, даже тайных делах, а мы помалкиваем и способствуем ему—это не хорошо мы делаем. Впрочем, все это еще не так ужасно, хотя все-таки ужасно. Но можно было бы совершить все это, не оскорбляя нас, его сотоварищей и помощников в почетной службе. И вторая моя жалоба касается именно этого.

38. Теперь же, матушка, я хотел бы увидеть свою невесту—всего на свете слаще для меня Хариклия. Может быть, мне удастся успокоить уязвленную душу ее лицезрением.

— Какую такую невесту,—сказала Кибела,— мне кажется, ты жалуешься на пустяки, а о главном и не знаешь. Ты уже не получишь Хариклию в жены.

— Что говоришь ты? — воскликнул Ахэмен: — я не достоин жениться на равной мне рабыне? Почему, матушка?

— Из-за нас, — ответила Кибела, — из-за нашей беззаконной преданности и верности Арсаке. Мы предпочли ее нашей собственной безопасности, поставили ее похоть выше нашего спасения, все сделали по ее желанию, а вот этот молодчик, блистательный ее любимец, один только раз проникнув в спальню, один только раз показавшись, убедил ее преступить данную тебе клятву, заставил обещать ему Хариклию, уверив ее, что Хариклия ему не сестра, а невеста.

— И Арсака обещала ему это, матушка?

— Обещала, сын мой, — ответила Кибела, — обещала в моем присутствии, так что я слышала это. Немного погодя Арсака пышно отпразднует их свадьбу. А тебе она обещала дать другую, вместо Хариклии.

Ахэмен страшно застонал при этом и, потирая руки, воскликнул:

— Устрою я горькую свадебку им всем! Постарайся только добиться отсрочки свадьбы на соответствующее время. Если кто будет искать меня, скажи, что я подрался где-то в деревне и лежу больным. Этот молодец называет свою сестру невестой. Разве я не понимаю, что это делается

только для того, чтобы отстранить меня. Если бы он обнимал ее, если бы целовал ее, как настоящую невесту, если бы, наконец, спал вместе с ней, это было бы ясным доказательством, что она ему не сестра, а невеста, но обо всем этом мы уж позаботимся — я и оскорбленные клятвопреступничеством боги.

29. Так сказал Ахэмен, ужаленный одновременно и гневом, и ревностью, и любовью, и неудачей, что способно и других расстроить, а не только варвара. Не взвесив в своем уме пришедшей ему в голову мысли, а сразу же ухватившись за нее, он дождался вечера, ловко украл армянского коня, откармливавшегося в стойле для торжественных шествий и выездов сатрапа, и ускакал в Великие Фивы к Ороондату, который в это время готовился выступить против эфиопов—стягивал все роды оружия, все отряды и был уже накануне выступления.




КНИГА ВОСЬМАЯ
1932



1. Царь эфиопов обманом обошел Ороондата, завладев одним из призов этой войны: город Филы, всегда доступный нападению, был им внезапно захвачен. Сатрап находился в величайшем затруднении, принужденный на-спех и без приготовлений отправиться в поход. Город Филы расположен у Нила, немного выше меньших водопадов, на расстоянии приблизительно ста стадиев от Сиены и Элефантины. Некогда изгнанники египетские заняли его и обосновались там; поэтому Филы служили предметом спора между эфиопами и египтянами, так как первые считали водопады пределом Эфиопии, египтяне же притязали на Филы, как на свое завоевание, раз там обитали их изгнанники. И вот город постоянно переходил из рук в руки, всегда доставаясь во власть того, кто первый его захватит.

В это время он был занят стражей из египтян и персов.

Царь эфиопов отправил посольство к Ороондату и требовал возврата Фил и смарагдовых россыпей. Уже давно, как известно, притязал он на Филы, но безуспешно. Приказав послам отправиться несколькими днями раньше, выступил он вслед затем, конечно, уже давно сделав все приготовления, якобы на случай иной войны, и скрыв от всех цель этого похода.

Когда послы, по его расчету, миновали уже Филы, внушив обитателям и страже беспечность известием, что они посланы ради мира и дружбы, царь сам внезапно подступил к городу, выбил стражу, сопротивлявшуюся два-три дня, но оказавшуюся не в силах дать отпор многочисленному неприятелю и стенобитным орудиям, и завладел городом, не причинив вреда никому из жителей.

Поэтому Ахэмен застал Ороондата взволнованным всеми вестями, принесенными беглецами из города. Да и своим неожиданным и незваным появлением Ахэмен еще более встревожил его. На вопрос Ороондата, не случилось ли чего с Арсакой и остальным его семейством, Ахэмен отвечал, что да, случилось, но, впрочем, он желает сообщить об этом Ороондату наедине. Когда все удалились, Ахэмен рассказал ему все: как Феаген, взятый в плен Митраном, был послан к Ороондату, чтобы затем быть отправленным к великому царю, в качестве подарка, если найдут это нужным — ведь этот юноша достоин быть при дворе, за царской трапезой — как он был похищен жителями Бессы, причем Митран был ими убит, как затем он прибыл в Мемфис, Ахэмен

включил также в свой рассказ и историю Фиамида, наконец, упомянул о страсти Арсаки к Феагену, о том, как Феаген был поселен в царском дворце, о том благоволении, какое он там снискал, о его службе виночерпием. Впрочем, ничего беззаконного, быть может, еще и не произошло, так как юноша все еще противится и сдерживается, но можно опасаться, что чужестранец будет сломлен насилием и не устоит в течение долгого времени, если кто не увезет его ранее из Мемфиса, отняв у Арсаки предмет ее страсти.

Поэтому-то и он сам, Ахэмен, поспешил тайно уехать и доставить это известие, не будучи в силах скрыть то, что касается его господина — столь привязан он к своему господину.

2. Этот рассказ наполнил гневом Ороондата. Он негодовал и собирался мстить. Ахэмен воспламенил его вожделение, прибавив рассказ о Хариклии, превознося ее до небес, — впрочем, это соответствовало действительности. Восторженно описывал он красоту и цветущий возраст девушки, невиданные до сих пор и какие вряд ли когда встретишь.

— Все твои наложницы, — говорил Ахэмен, — ничто в сравнении с этой девушкой — не только мемфисские, но и те, что последовали за тобой.

И многое другое прибавил Ахэмен в надежде, если Ороондат сойдется с Хариклией, затем и самому, немного спустя, взять ее в жены, выпросив в награду за свои известия.

Сатрап уже всецело разъярился, воспламенился, попав как бы в тенета гнева и вожделения. Не медля, призвал он Багоаса, одного из доверенных евнухов, дал ему пятьдесят тяжеловооружен-

ных воинов и послал его в Мемфис, поручив привести сюда Феагена и Хариклию как можно скорее, где бы он их ни застал.

3. Он вручил ему и письма—одно к Арсаке, такого содержания:

Ороондат—Арсаке

«Феагена и Хариклию, пленных брата и сестру, царских рабов, которых нужно отправить к царю, пришли сюда. И лучше пошли их добровольно, а не то они будут и против воли твоей увезены и придется поверить донесениям Ахэмена».

Другое письмо к Евфрату, главному мемфисскому евнуху, в таком роде:

«За то, что небрежно следишь за моим домом, ты дашь отчет. А теперь, чужестранцев греков, пленных, передай Багоасу, чтобы они были отправлены ко мне. Согласна ли на это Арсака или нет — все равно, во всяком случае передай, иначе, знай, что мною приказано в оковах отправить тебя сюда, где с тебя сдерут шкуру».

И вот Багоас отправился исполнять приказание, взяв с собой письма сатрапа, скрепленные его печатью, чтобы жители Мемфиса скорее поверили и выдали молодую чету.

Ороондат отправился на войну с эфиопами, приказав следовать за собой и Ахэмену, которого велел стеречь украдкой и незаметно, пока не будет доказана правильность его показаний.

В эти же самые дни вот что происходило в Мемфисе: лишь только Ахэмен бежал, Фиамид, уже вполне облеченный жреческим саном и, следовательно, занявший первое место в городе, совершив погребение Каласирида и исполнив свой долг по отношению к отцу в течение предпи-

санного числа дней, снова задался мыслью разыскать Феагена лишь только, по жреческим правилам, он опять получит возможность вступить в общение с внешним миром. После многих хлопот и расспросов, он, наконец, узнал, что Феаген и Хариклия живут при дворе сатрапа. Тогда он поспешно отправился к Арсаке и потребовал выдать ему этих чужестранцев, принадлежащих ему как по многим другим причинам, так, в особенности, и потому, что отец его, Каласирид, умирая завещал ему всячески заботиться об этих чужестранцах и помогать им.

Фиамид признал, что он благодарен Арсаке за то, что она в течение тех дней, когда непосвященные не имели права пребывать в храме, так сострадательно приютила молодую чету, к тому же чужестранцев и греков. Фиамид оправдывался, говоря, что он просит лишь вернуть ему то, что ему принадлежит по праву.

— Удивляюсь я тебе,—сказала Арсака.—Нашу доброту и сострадательность ты сам подтверждаешь, а нашу якобы бесчеловечность осуждаешь, словно мы не можем или не желаем позаботиться об этих чужестранцах и уделить им все, что им полагается.

— Нет,—ответил Фиамид, —я знаю, что здесь они будут пользоваться большим достатком, чем у нас, если только пожелают остаться. Но теперь дело в том, что они—славного рода, хотя испытали превратность надменной судьбы и в настоящее время скитаются. Выше всего ставят они возможность отыскать своих родителей и вернуться на родину. Помощь им оставил мне в наследство мой отец. Вдобавок, мой сан обязывает меня дружески относиться к чужестранцам.

— Прекрасно,—возразила на это Арсака,—ты не прибегаешь к унизительным просьбам, а ссылаешься на свои права. Тем лучше: права, повидимому, гораздо больше на моей стороне: власть стоит выше каких-то пустых твоих забот, и право власти сильнее.

Фиамид с удивлением спросил:

— По какому же праву они в твоей власти?

— По праву войны,—отвечала Арсака,—ведь война обращает пленных в рабов.

4. Фиамид вдруг понял, что она собирается говорить о походе Митрана.

— Однако, Арсака,—заметил он,—в настоящее время у нас мир, а не война. Если война порабощает, то мир обычно освобождает. Первое—это стремление власти насильственной, второе—проявление милости царственной. Не по пустому этих слов значению, а по человеческому поведению можно распознать мир и войну. Вернув чужестранцам их законное право, ты определишь эти понятия более здраво. Впрочем, долг здесь не противоречит пользе. Что хорошего и в чем для тебя выгода так близко к сердцу принимать участь этой молодой четы, этих чужестранцев? Зачем тебе их задерживать?

5. При этих словах Арсака уж не могла совладать с собой: ее охватило то, что испытывают все без исключения влюбленные: пока их страсть, по их мнению, держится в тайне—они краснеют, когда же их захватят открыто, они бесстыдно наглеют Тайная любовь нерешительна, но обнаруженная—стремительна и отважна. Лишь только Арсака, обличаемая своею совестью, стала догадываться, что Фиамид в чем-то ее подозревает, она вдруг воскликнула, никакого внимания на

священный сан жреца не обратив и свой женский стыд вовсе позабыв:

— Нет, вы не обрадуетесь своей победе над Митраном! Придет время, и Ороондат взыщет с вас убийство Митрана и его спутников. Эту молодую чету я вам не отдам—сейчас они мои рабы, а немного спустя я, согласно персидскому обычаю, отошлю их моему брату, великому царю. Ты можешь, сколько угодно витийствовать, определяя понапрасну и право, и долг, и пользу— властителю это не нужно: его собственное желание заменяет ему все. Убирайся скорей по доброй воле из нашего дворца, не то тебя уберут и против воли.

Фиамид стал уходить, призывая в свидетели богов и утверждая, что это добром не кончится: он обнародует в городе и призовет на помощь, лишь только придет в себя.

— Что мне твой священный сан?—воскликнула Арсака,—одно священнослужение признает любовь: достижение цели!

Удалившись в свои покои, Арсака призвала Кибелу и стала обсуждать положение дела: отсутствие Ахэмена уже начало наводить ее на мысль, что он бежал, хотя Кибела на вопросы и разведывания Арсаки об Ахэмене всячески выдумывала разные увертки, шла на все, лишь бы разуверить Арсаку в отъезде Ахэмена к Ороондату. Однако, в конце концов Арсака все-таки не вполне ей поверила—уже одна продолжительность его отсутствия вселяла ей подозрение.

— Так что же нам делать, Кибела?—сказала Арсака,—как избавиться мне от всех окружающих бед? Страсть моя не слабеет, но разгорается сильнее, словно костер, неистово вожженный

этим юношей, суровым и непреклонным. Сперва казался он сострадательней, чем сейчас: раньше утешал меня обещаниями, правда, лживыми, а теперь он, совершенно не скрывая, отвергает меня.

Меня тревожит еще подозрение, как бы он не узнал чего об Ахэмене и не уклонился еще более от желаемого мной дела.

Кроме того, меня волнует Ахэмен: уж не отправился ли он с доносом к Ороондату, чтобы убедить его и наговорить не совсем невероятных вещей? Лишь бы мне повидать Ороондата! Одной ласки и одной слезы Арсаки он не выдержит. Взоры близкой женщины — большая приманка для мужчины: они могут убедить в чем угодно. Но самое ужасное это — если я не добьюсь ничего от Феагена, а подвергнусь обвинению и, может быть, даже наказанию, если Ороондат поверит доносам раньше, чем встретится со мной. Поэтому, Кибела, иди на все, отыщи, какое хочешь средство. Ты видишь, я на краю пропасти, ты понимаешь — я не могу щадить других, раз я сама в отчаянии. Ты первая пожнешь плод проделок твоего сына. Я не могу представить, будто ты их не знаешь.

— Госпожа,— отвечала Кибела,— ты несправедливо сомневаешься в моем сыне и в моей верности: их ты познаешь на деле. Ты сама так вяло действуешь в своей любви, поистине ты нерешительна. Так не сваливай же вины на других, невинных. Ведь ты не как госпожа владычествуешь над этим юношей, но ухаживаешь за ним, словно рабыня. Эти средства, быть может, хороши были сперва, когда ты считала его нежным и юным душою. Но, раз он отвергает

влюбленную, пусть испытает власть госпожи, пусть под бичом, в пытке подчинится твоим желаниям. Юноши, если за ними ухаживают, обычно надменны бывают, а насилию они уступают. Стало быть, и этот, если его подвергнуть наказанию, согласится на то, что отвергал, когда с ним обращались ласково.

— Пожалуй, ты права,— сказала Арсака,— но, боги, как я вынесу, когда на моих глазах это тело будут бить или как-либо истязать?

— Опять та же нерешительность,— заметила Кибела,— разве, после немногих пыток, он не выберет лучшего, и ты, после мгновенной скорби, разве не получишь желаемого? Впрочем, ты можешь и не печалить своих очей всем происходящим: поручи это Евфрату, прикажи наказать его, якобы за какое-то упущение, и ты не будешь терзаться этим зрелищем — ведь слух возбуждает слабее скорбь, чем зрение — если же мы узнаем, что Феаген переменил свое решение, мы прекратим наказание, лишь только он одумается.

6. Арсака поддалась убеждениям Кибелы (отчаяние в любви не щадит вовсе возлюбленного и свою неудачу охотно обращает в мщение). Призвав главного евнуха, она приказала, что было решено. Тот, страдая обычной болезнью евнухов — ревностью, уже давно враждебно относился к Феагену из-за всего, что видел и подозревал: сейчас же заковал он его в железные узы и стал мучить голодом и оскорблениями, заперев в темной тюрьме.

Феаген знал, в чем дело, но сделал вид, будто хочет узнать, за что его мучат, однако, евнух не давал никакого ответа, но со дня на день затягивал пытки, муча Феагена более, чем это

желала и поручила Арсака. Доступ к Феагену был закрыт для всех, кроме Кибелы: так было приказано. Она же приходила часто, делала вид, что тайком приносит ему пищу, из жалости, вызванной близким знакомством, на самом же деле она хотела узнать, как он теперь настроен, поддался ли пыткам, не смягчился ли. Но Феаген был тогда еще более мужествен и еще более давал отпор всем покушениям: тело его страдало, но душевное целомудрие возростало. Гордой радостью наполняла его превратность судьбы, до сих пор вызывавшая лишь скорбь, но теперь позволившая ему, наконец, обнаружить свою верную любовь к Хариклии. Лишь бы только Хариклия узнала об этом, для него это было бы величайшим благом. Так постоянно призывал он Хариклию, свой светлый луч, свою душу.

Кибела заметила это и, вопреки Арсаке, выразившей желание лишь слегка подвергнуть Феагена мучениям и не замучить его на-смерть, но лишь принудить,— сама велела Евфрату усилить мучения: Кибела чувствовала, что ей не удалось ничего сделать, раз, против ожидания, ее попытка не достигла цели. Она поняла, что ее положение плохо: ей угрожает теперь казнь со стороны Ороондата, чуть только он узнает об этом от Ахэмена, если только Арсака не предупредит и не прикажет, чего доброго, ее умертвить, видя, как надругались над ее любовью. Кибела решила предупредить события и совершением одного какого-нибудь великого злодейства, или добиться исполнения желаний Арсаки и ускользнуть от угрожающей ей опасности, или же уничтожить все улики этой затеи. Кибела замыслила умертвить всех свидетелей.

Придя к Арсаке, она сказала:

— Все напрасно, госпожа. Этот непреклонный человек не сдается, но становится все более и более отважным: на его устах имя Хариклии. Призывая ее, он утешается, словно лаской. Так вот, видно, надо, как говорится, прибегнуть к последнему средству: устранить препятствие — устранить Хариклию. Когда Феаген узнает, что ее нет в живых, он, вероятно будет склонен исполнить наше желание, отчаявшись в любви к Хариклии.

7. Арсака жадно подхватила эту мысль: ее давно накоплявшаяся ревность при этих словах перешла в ярость.

— Прекрасно,— воскликнула она,— моим делом будет приказать уничтожить эту пагубу.

— Но кто исполнит твое повеление?— возразила Кибела.— Все тебе подвластно, однако, казнить закон запрещает без суда персидских должностных лиц. Значит, много предстоит тебе хлопот и затруднений, чтобы придумать какое-нибудь преступление для Хариклии и обвинить ее. Вдобавок, еще неизвестно, поверят ли нам. Но если ты согласна — а я готова для тебя все сделать, все снести — я выполню замысел с помощью яда и волшебным напитком устраню соперницу, тебе в отраду.

Арсака одобрила эту мысль и приказала действовать. Кибела тотчас же отправилась к Хариклии и застала ее скорбную, в слезах: что же ей делать, как не плакать при мысли о том, что надо проститься с жизнью, ведь она уже предчувствовала участь Феагена.

Кибела сперва начала ее утешать различными выдумками: будто и не видала Феагена и ни разу

не ходила к нему в тюрьму, словом, сочиняла разные небылицы.

— Ах ты, бедняжка,— сказала наконец Кибела,— перестань крушиться, не терзай себя понапрасну: вот будет выпущен твой Феаген и придет к тебе еще сегодня, под вечер. Госпожа немного вспылила из-за его какого-то упущения по службе и велела подвергнуть заключению, но сегодня она приказала его отпустить, собираясь отпраздновать пиршеством какой-то отечественный праздник, да и снисходя на мои просьбы. Поэтому встань, приди в себя, прими теперь пищу, вместе со мной.

— Но как же мне тебе верить?— отвечала Хариклия,— ты так часто мне лгала, что это подрывает правдоподобие твоих слов.

— Всеми богами клянусь,— воскликнула Кибела,— что все для тебя разрешится сегодня и всякая забота с тебя спадет. Только не изнуряй себя: ты уже столько дней провела без еды, вкуси пищи, которая, кстати, уже готова.

Хариклия поверила с трудом, однако, все же поверила: она подозревала обычный обман Кибелы, но отчасти была убеждена этой ее клятвой и охотно приняла сладость этих вестей. Ведь чего желает душа, то убедительностью ее обольщает.

И вот, возлегши, они обе принялись за угощение. Служанка Абра налила вино в кубки и подала сперва Хариклии, как это кивком велела ей сделать Кибела. Затем и сама Кибела взяла свой кубок. Не успела она выпить его до дна, как голова закружилась у старухи. Выплеснув остаток вина, бросила она пронзительный взгляд на служанку, и вдруг судороги и острый огонь охватили старуху.

8. Смятение напало на Хариклию, она пыталась поддержать Кибелу, но смятение объяло и всех присутствующих. Зелье, видимо, действовало быстрее всякой стрелы, напитанной отравой, и было достаточно сильно, чтобы погубить даже цветущего юношу. А теперь, попав в тело старческое и уже хрупкое, смертельный яд быстрее, чем можно сказать, проник в самые главные органы. Глаза старухи воспламенились, члены, после судорог, стали неподвижны, и кожа темнела, покрываясь чернотой. Но, думается мне, преступная душа была горше отравы. Кибела, даже при последнем издыхании не покинула своих злодейств: то прерывающимся голосом, то кивками указывала она на Хариклию, как на свою отравительницу. С этими словами старуха испустила дух.

И вот Хариклия была взята под стражу и немедленно приведена к Арсаке. Когда та начала расспрашивать Хариклию, сама ли она изготовила яд, и стала угрожать ей муками и пытками, если не скажет всей правды — Хариклия явила необычайное для присутствующих зрелище: не было в ней ни уныния, ни низких каких-либо чувств. Она явно улыбалась и с презрительной усмешкой относилась ко всему происходящему: со спокойной совестью пренебрегала клеветой радовалась умереть, раз Феагена уже нет в живых, и считала приобретением, если другие совершат над ней то злоклятое дело, которое она решила сама над собой сделать.

— Почтенная госпожа, — сказала она, — если Феаген жив, — я неповинна в этом убийстве; но если с ним свершились твои злочестивые замыслы — тебе не надо подвергать меня пытке: да,

в твоих руках отравительница твоей кормилицы, обучившей тебя таким прекрасным деяниям. Убей меня, не медли: нет ничего более милого для Феагена, так законно презревшего твои беззаконные замыслы.

9. Такие слова разъярили Арсаку. Она велела прибить Хариклию.

— Уведите ее, как она есть, в оковах, эту преступницу. Покажите ей удивительного ее возлюбленного, по заслугам находящегося тоже в оковах: все члены его пусть будут вами закованы. Вручите Евфрату и ее, пусть он постережет до завтра: смертной казни подлежит она по суду персидских вельмож.

Когда Хариклию уже повели, рабыня, служившая виночерпием Кибеле (она была из числа тех ионийцев, которых Арсака сперва подарила для услуг молодой чете), потому ли, что поддалась благорасположению к Хариклии под влиянием привычки и совместной с ней жизни, или подвигнутая божественной волей, прослезилась и застонала.

— Бедняжка,—воскликнула она,—ты невинна!

Окружающие удивились и стали заставлять ее объяснить смысл этих слов. Тогда рабыня призналась, что сама подала Кибеле яд, который получила от нее с тем, чтобы дать его Хариклии, но затем, смущенная суматохой непривычного дела или сбитая с толку самой Кибелой, которая кивнула ей сперва подать кубок Хариклии, она спутала кубки и поднесла старухе тот, где был яд.

Сейчас же рабыню повели к Арсаке: все считали счастливой находкой возможность освободить Хариклию от обвинений. Сострадание к благородному нраву и виду доступно даже вар-

варским племенам. Однако, когда служанка изложила все это, произошло только то, что Арсака приказала и ее заковать и взять под стражу, заявив, что, повидимому, эта рабыня тоже соучастница в деле Хариклии. А вельмож персидских, имевших право решать общественные дела, судить и приговаривать к наказанию, Арсака, через посланного, пригласила собраться завтра на суд.

Наутро они пришли, сели, и Арсака приступила к обвинению Хариклии в отравлении. Изложение положения вещей она нередко прерывала слезами о своей погибшей кормилице, столь для нее ценной, столь преданной. Самих судей она брала в свидетели того, как она приютила эту чужестранку, оказывала ей всяческое расположение, и вот чем та отплатила. Словом, Арсака оказалась самой суровой обвинительницей.

А Хариклия, совсем не защищаясь, призналась в возводимом на нее преступлении и подтвердила, что она дала яд, прибавив, что и Арсаку она с радостью бы погубила, если бы ее не задержали до того. Кроме того, Хариклия стала прямо-таки поносить Арсаку, чем всячески вызывала судей вынести более строгий приговор.

Ведь ночью в тюрьме Хариклия все, что с нею случилось, Феагену рассказала, сама от него узнала и обещала, если понадобится, принять смерть, какую бы ей ни назначили, лишь бы только положить конец существованию несчастному, скитанию напрасному, року безжалостному. Они простились навсегда — так им казалось. А положенное вместе с нею при рождении ожерелье, которое она всегда старательно скрывала, в этот раз Хариклия повязала под одеждой

на чреве, словно некое надгробное приношение сама для себя сберегала.

Вот почему она призналась во всем, в чем ее обвиняли и что ей грозило смертью, и даже присочинила то, в чем ее и не обвиняли.

При таком положении дела судьи тотчас же едва не назначили ей самой суровой персидской казни, но, тронутые ее видом, молодостью и неотразимой прелестью цветущего возраста, присудили ее к казни на костре.

И вот, сейчас же ее схватили палачи и вывели недалеко за городскую стену. Глашатай несколько раз возгласил, что ее за отравительство ведут на костер. Много разного люда последовало за нею из города: одни сами видели, как ее повели, другие, лишь только слух пронесся по столице, поспешили на зрелище.

Прибыла и Арсака, чтобы с городской стены самой видеть все. Для нее было бы ужасно не насытить своих очей зрелищем казни Хариклии.

Палачи воздвигли огромный костер, подожгли его, и он ярко запылал. Хариклия попросила стражу дать ей еще одно мгновение, сказав, что она сама добровольно взойдет на костер, и вдруг простерла руки к небу, где солнце метало свои лучи.

— Гелиос, — воскликнула она, — ты, земля и вы, божества надземные и подземные, взирающие на беззаконных людей и карающие их. Что я невиновна в возводимых на меня преступлениях, беру вас в свидетели! Добровольно приемлю смерть я из за невыносимых ударов судьбы. Примите меня благосклонно. А преступницу, беззаконницу, блудницу, чтобы лишить меня

жениха, свершившую все это, — Арсаку — покарайте скорее.

Лишь только Хариклия это произнесла, все закричали что-то в ответ на ее слова: одни собирались отложить казнь до вторичного разбора дела, другие двинулись вперед, но Хариклия, предупредив их, взошла на костер и остановилась на самой его середине. Долгое время стояла она там невредимо: огонь скорее обходил ее, чем приближался, и ничуть не вредил: когда Хариклия направлялась к другому месту, огонь уступал, озаряя ее и позволяя видеть в блеске зарева красующуюся, словно в огненном чертоге венчающуюся. Хариклия переходила с места на место среди пламени, дивясь происходящему, стремясь к смерти. Но тщетно: огонь все время ей уступал и словно избегал ее приближения. Палачи неустанно налегали на свое дело (да и Арсака угрожающими движениями приказывала им), бревна нагромождали, речной тростник наваливали, всячески пламя раздували, но все напрасно. Горожане все более и более поражались, предполагая божеское вмешательство.

— Чиста эта дева, невинна эта дева! — раздались их крики и, подойдя к костру, они оттолкнули от него палачей. Фиамид первый принялся за это и призывал народ на помощь — Фиамид тоже оказался здесь: нескончаемые возгласы возвестили ему о происходящем. Стремясь высвободить Хариклию, они, однако, не отважились приблизиться к огню и криками требовали, чтобы дева сошла с костра: ведь если она пожелает его покинуть, ничго не страшно для нее, раз она пребыла невредимою среди пламени.

Хариклия, видя и слыша все это, сочла и

сама, что помощь ей оказана богами и решила не быть неблагодарной к высшим силам, отвергая их благодеяния. Поэтому она сошла с костра.

И весь город от радости и изумления вскричал громко и в оидн голос призывал богов. Арсака же, вне себя, порывисто спустилась со стены, выбежала за ворота в сопровождении большой свиты и персидских вельмож, собственными руками набросилась на Хариклию и, кинув наглый взгляд на народ, воскликнула:

— И вы не стыдитесь освободить от казни женщину преступную? Отравительницу, застигнутую на месте преступления, сознавшуюся в своих злодеяниях? Оказывая помощь беззаконной девке, вы восстаете против персидских обычаев, против самого царя, сатрапов, вельмож и судей. Она не сгорела, вот что, быть может, вызывает в вас жалость, и вы приписываете богам это дело. Неужели вы не соображаете, что именно это еще более уличает ее в отравительстве: значит, так велико ее волшебство, что она может бороться с силой огня. Приходите завтра, если угодно, на сборище, которое из-за вас будет всенародным, и вы узнаете, что она созналась в своих злодеяниях и была изобличена свидетелями, находящимися у меня под стражей.

С этими словами Арсака, схватив Хариклию за горло, поволокла ее, приказав телохранителям очистить путь через толпу. Народ частью негодовал и думал уже о противодействии, частью же уступил, подозревая, действительно, отравление; иные устрашились Арсаки и силы ее телохранителей. Хариклию сейчас же передали Евфрату и тотчас оковали еще большим коли-

чеством цепей. Под стражей ожидала она вторичного суда и казни и, среди ужасных обстоятельств, одно только приобретением считала — быть с Фиагеном вместе и все рассказать ему о себе. Арсака измыслила им и такое наказание: думала она более посрамить и истерзать молодую чету, заперев их в одну темницу: там увидят они друг друга в оковах, мучимых пытками. Знала она, что влюбленный скорбит более о страдании любимого, чем о своем собственном.

Но для Феагена и Хариклии стало это скорее утешением, и они считали приобретением — терпеть одинаковые страдания. Если бы кто из них был менее мучим, он счел бы себя побежденным со стороны другого и менее страстно любящим. Вдобавок, они могли беседовать друг с другом, утешать и ободрять, призывая сносить благородно выпавшие им на долю несчастия и стойко подвизаться в борьбе за целомудрие и взаимную верность.

10. И вот, до поздней ночи беседовали они друг с другом, как это естественно для тех, кто уже отчаивается встретиться после этой ночи. Они, сколь могли, насытили друг друга и, наконец, стали обсуждать чудо с огнем. Феаген усматривал его причину в благосклонности богов, отвергших неправильную клевету Арсаки и смилостивившихся над непорочной и ни в чем неповинной девой, Хариклия же, повидимому, колебалась.

— Необычайное это спасение, — сказала она, — конечно, дело демонической или божественной помощи. Но эти беспрерывные муки в несчастиях, различные оскорбительные и чрезвычайные пытки могут быть уделом только тех,

кто ненавистен богам и искушает нерасположение высших сил. Разве только не является ли это каким-либо чудесным проявлением божества, доводящего до крайности, а затем спасающего из безнадежности?

11. При этих словах Феаген призвал Хариклию отказаться от кощунства, советуя соблюдать благочестие еще более, чем целомудрие.

— Смилостивьтесь, боги! — вскричала она. — Какой мне сейчас припомнился сон — да и не явь ли это? — я его видела предыдущей ночью. Не знаю, как это тогда он не пришел мне на ум. А сейчас я его случайно вспомнила.

Вот какой был этот сон: изречение в стихах говорил божественнейший Каласирид — явился ли он мне незаметно во сне или же я видела его на самом деле. Изречение было, помнится, в таком роде:

Силы огня не страшись, о дева с камнем всестрашным,
Ибо богини судьбы чудо свершат без труда.

Вдруг Феаген вздрогнул, словно одержимый, и вскочил, насколько это позволяли его оковы.

— Будьте милостивы, боги! — вскричал он. — Ведь и я, припоминая, становлюсь поэтом: подобным же вещателем дан и мне оракул (был ли то Каласирид или бог, принявший облик Каласирида), гласящий, кажется, вот что:

С девою вместе в страну эфиопов, конечно, прибудешь,
Бремя Арсаки оков сбросишь, лишь встанет рассвет.

Я догадываюсь, какое отношение имеет этот оракул ко мне: под страной эфиопов, очевидно, разумеется подземная страна почивших. «С девою вместе» — то есть я буду впредь вместе с Персе-

фонюю. «Сбросишь оковы» — это значит, покинуть тело, уйти отсюда. Но что означает твое изречение, так странно составленное из соединений противоположностей. Камень назван «всестрашным», очевидно, он всех страшится, между тем совет призывает не бояться костра.

А Хариклия на это: — О, сладчайший Феаген, привычка к бедствиям расположила тебя все толковать в худую сторону. Человек любит составлять свое мнение на основании того, что ему выпадает на долю. Мне кажется, что эти вещания предсказывают для меня нечто лучшее, чем ты думаешь. Дева—это, быть может, я; а с ней возвещено тебе прибыть на мою родину—Эфиопию, избежав Арсаки и оков Арсаки. Как это может случиться — для нас это не ясно, однако, и не невероятно. Но для богов осуществимо, они позаботятся, раз от них исходило вещание. Относительно меня прорицание, как ты знаешь, уже исполнилось по воле богов. Вот до сих пор жива я, хотя ты совершенно отчаялся меня видеть. Когда я брала с собой мой спасительный камень, я этого не знала. Но теперь я, конечно, понимаю: ведь те вещи, которые должны были служить приметами, когда в младенчестве меня бросили родители, я и ранее всегда старалась носить при себе, тем более тогда, когда должен был свершиться приговор надо мною и я ожидала смертного своего часа. Я повязала их тайно у себя на чреве: если бы мне суждено было остаться в живых, эти вещи дали бы мне необходимые средства к жизни. А если бы со мной что-нибудь случилось, они стали бы последним моим надгробным убором. Среди них есть, Феаген, драгоценные ожерелья из редких

камней, индийских и эфиопских, есть там и перстень — свадебный дар моего отца моей матери — с камнем, называемым всестрашным, вставленным в оправу. Священные буквы вырезаны на нем, и полон он, очевидно, божественной тайны, дарующей, догадываюсь я, этому камню силу отгонять огонь, а обладателям его оставаться невредимыми среди пламени. Вот что случайно спасло меня по воле богов. Об этом догадываюсь я и так заключаю из слов, нередко повторяемых божественнейшим Каласиридом. Об этом узнал он из письмен, начертанных на повязке, некогда брошенной вместе со мной, которую теперь ношу я у себя на чреве.

— Все это более чем вероятно, да и подтверждается на деле, — отвечал Феаген, — но для опасностей, ожидающих нас завтра, какой другой найдется камень всестрашный? Ведь он не обещает бессмертия — о, если бы он мог это сделать! — хотя и предохраняет от огня. Между тем мстительная Арсака, как можно предполагать, измышляет сейчас какой-нибудь иной, небывалый вид казни. Если бы она нас принудила умереть вместе, одной смертью, в один час — это я не считал бы кончиною, но избавлением от всех бед.

А Хариклия на это: — Мужайся. Есть у нас и другой камень всестрашный — это вещания, данные нам. Доверившись богам, мы, быть может, спасемся сладостно, или же, если будет нужно, пострадаем благостно.

12. Так они меж собой толковали и то рыдали, заверяя каждый другого, что по нем всего более он скорбит и терзается, то последние обеты друг другу давали: пребыть верными в любви

до смерти, то богов и свою судьбу заклинали — так провели Феаген и Хариклия эту ночь.

Между тем Багоас и бывшие с ним пятьдесят всадников, глубокой ночью, когда все уже было объято сном, прибыли в Мемфис, в тишине разбудили стражу у ворот города, сказали, кто они такие, и стража узнала их. Тогда стремительно направились они сразу же ко дворцу сатрапа. Там Багоас расставил всадников кругом дворца, чтобы те были наготове в случае сопротивления, а сам вошел во дворец по какому-то боковому ходу, неизвестному для большинства. Едва державшиеся двери взломал он легко, назвал себя жившему там слуге, приказал молчать и поспешил к Евфрату: расположение дворца он хорошо знал на опыте, да и луна тогда немного светила. В постели застал он Евфрата и разбудил его. Тот встревоженный закричал:

— Кто это?

— Это я, — отвечал Багоас, — однако вели принести свет.

Евфрат подозвал кого-то из числа приставленных к нему слуг и велел зажечь светильник, чтобы все остальные слуги не проснулись. Когда слуга пришел, поставил светильник на подставку и удалился, Евфрат стал говорить так:

— Какое новое бедствие возвещает этот твой внезапный и неожиданный приход?

— Не надо многих слов, — отвечал Багоас, — возьми и прочти это письмо. Но сперва обрати внимание на знак печати. Поверь, что это приказание Ороондата и исполни его предписание. Ночь и быстрота будут твоими союзниками, если ты ими воспользуешься: они помогут тебе

все сделать втайне. Выгодно ли передать эти предписания Арсаке — сам решай.

13. И вот Евфрат, взяв письмо, прочел их:

— Арсака, — сказал он, — подымет вопль, да и сейчас она дошла до крайности: со вчерашнего дня ее охватила горячка, словно богами ниспосланная. Острый жар объял ее и до сих пор не выпускает, мало надежды, что она останется в живых. Я не дал бы ей этих писем, даже если бы она была здорова: она скорее умрет сама и нас погубит, чем выдаст по доброй воле эту молодую чету. Знай, что ты пришел вовремя. Возьми этих чужестранцев и уведи их, поспеши оказать им последнюю помощь. Жаль их, бедных, несчастных, испытавших тысячи оскорблений и мук — но я не виноват: я исполнял приказание Арсаки. Видимо, они благородного происхождения и вполне целомудрены, как это доказали на деле, когда я их пытал.

С этими словами Евфрат повел Багоаса в темницу.

Багоас, увидев молодых людей, хотя и в оковах и уже истощенных пытками, был поражен их ростом и красотою.

Они как-раз ожидали, что Багоас придет за ними еще до рассвета, чтобы повести их на смерть, поэтому немного взволновались. Но затем, воспрянув, со слезами радости на очах, уже откинув все заботы, с великим веселием предстали пред пришедшим. Евфрат уже приближался и протянул руки, чтобы освободить их от оков. Тогда Феаген воскликнул:

— Слава мстительной Арсаке! Ночью, во мраке, думает она скрыть свои безбожные деяния. Но страшно око правосудия: оно обличает тайные

преступления и выводит на свет безбожие. А вы исполняйте, что вам приказано. Огнем ли, водою ли, мечом ли решено нас казнить, все же дайте нам умереть одною и той же смертью.

Молила об этом же и Хариклия.

И вот евнухи прослезились, молча внимая этим речам, и в оковах увели узников прочь.

14. Лишь только они очутились вне дворца, Евфрат остановился. А Багоас и всадники, облегчив молодых людей от многочисленных оков и оставив лишь те, что не были мучительны, но необходимы для охраны, посадили Феагена и Хариклию на коня, окружив его со всех сторон, и поскакали, как можно быстрее в Фивы.

Без остановок мчались они весь остаток ночи и следующий день до третьего часа, нигде не склоняя колен. Наконец, зной солнечных лучей стал невыносим, как это бывает летом в Египте. Мучимые без сна проведенной ночью, а еще более при виде Хариклии, бывшей почти без чувств от беспрерывной скачки, они решили где-нибудь остановиться, отдохнуть самим, да и коням дать передохнуть, а девушке притти в себя.

Высоко над Нилом был утес, разбиваясь о который вода отклонялась от прямого пути и образовывала в изгибе полукруг. И с той и с другой стороны текла река, описывая как бы какой-то эпиротский залив. Все было покрыто обильной муравой, так как все омывалось водой. Свежая трава и обильная растительность давали естественное пастбище. Разросшиеся персидские кусты, смоковницы и другие деревья, что обычно любят расти на берегу Нила, осеняли этот луг.

Здесь-то вот и остановился Багоас со своими спутниками, в тени деревьев вместо палатки, сам вкусил пищи и дал вкусить Феагену и Хариклии. Но они отталкивали еду, говоря, что лишнее есть тем, кто сейчас должен умереть. На это Багоас отвечал, ручаясь, что не будет ничего подобного, и сообщил, что не на смерть он их ведет, а к Ороондату.

15. Полуденный зной сникал, солнце уже не стояло над головой и косвенно бросало свои ущербные лучи, и Багоас стал собираться в путь. Вдруг прискакал какой-то всадник во весь опор, задыхаясь и с трудом сдерживая покрытого потом коня. Сказав что-то Багоасу наедине, он успокоился. Багоас на мгновение поник головою, вероятно обдумывая это известие.

— Чужестранцы,— воскликнул он,— мужайтесь. Правосудие постигло вашего врага: умерла Арсака. Удавилась она в петле, лишь только узнала о нашем с вами побеге. Она предпочла сама принять неизбежную смерть ведь не могла она миновать возмездия со стороны Ороондата или царя — ей суждено было быть или казненной, или же во всяческом позоре влачить остаток жизни. Вот что сообщает через гонца Евфрат. Поэтому еще более мужайтесь, не падайте духом: вы ни в чем неповинны, как я достоверно узнал, а ваша обидчица уже устранена.

Вот что сказал Багоас, подойдя к Феагену и Хариклии.

Греческое произношение его было шепеляво и по большей части не верно. Тем не менее, он говорил с искренней радостью, так как сам негодовал на необузданность Арсаки и на тираническое ее поведение.

Он ободрял и утешал молодую чету в надежде перед Ороондатом отличиться — а это он ставил высоко — если спасет ему юношу, который затмит всех остальных слуг сатрапа, и девушку, красоты неоспоримой, которая будет женой Ороондата, раз уже Арсаки более нет.

Возрадовались Феаген и Хариклия при этой вести, призывая великих богов и правосудие. Они думали, что более ничего им не придется испытать ужасного, даже если будут тяжелые беды: ведь ненавистнейшая для них Арсака мертва. Так-то иным сладкой бывает и гибель, если только их врагам случится тоже погибнуть.

Уже спускались сумерки, и дул легкий ветер, как бы приглашавший отправиться в путь.

И вот, весь отряд сел на коней и помчался далее в течение всего этого вечера, последовавшей ночи и утра ближайшего дня, так как спешил, если возможно, застать Ороондата под Фивами. Но это им не удалось. По дороге повстречался им воин из войска Ороондата и сообщил, что сатрап выступил из Фив, а ему поручил спешно собрать всех до единого вооруженных воинов, даже тех, что стоят на страже, и направить их в Сиену, потому что местность полна смятения и есть опасность, что город будет взят — ведь сатрап запаздывает, а войско эфиопское наступает быстрее слуха. Поэтому Багоас, свернув с дороги в Фивы, отправился по направлению к Сиене.

16. Сиена была уже недалеко, когда Багоас наткнулся на засаду эфиопскую, состоявшую из множества хорошо вооруженных молодых людей. Они были посланы вперед, как лазутчики, чтобы обеспечить своими разведками безопасное

продвижение всего войска. Но тогда, из-за темноты ночи и незнакомства с местностью — а было им приказано подальше от остального войска устроить засаду там, где это удобно — спрятались они в чащах кустов на берегу какой-то реки, чтобы и самим быть в безопасности и врагов подстеречь и, не смыкая глаз, сидели в чаще, словно за стеной.

На рассвете они заметили приближение Багоаса и его отряда. Увидев их немногочисленность, дали отряду отойти на небольшое расстояние, чтобы удостовериться, что никто более их не сопровождает, а затем внезапно, с криком, выскочили из болотистой чащи.

Багоас и его отряд, пораженные ужасом от неожиданного крика, по цвету кожи узнали в этих, вдруг появившихся, людях эфиопов и заметили, что их так много, что нельзя сопротивляться (дело в том, что на эту разведку была послана тысяча легко-вооруженных). Поэтому, даже не разглядев их в точности, они обратились в отступление, впрочем сначала не так быстро, как могли, чтобы их уход не походил на беспорядочное бегство. Эфиопы стали их преследовать, пустив вперед тех из своих, что были троглодитами — таких было до двухсот.

Троглодиты — эфиопское племя — кочуют на границах Аравии, отличаются очень быстрым бегом; это счастливое природное свойство они, вдобавок, развивают с детства. К тяжелому вооружению они привыкли; в битвах мечут из пращи камни, яростно бросаются на противника или, если замечают, что тот сильнее, разбегаются.

Отряд Багоаса сразу понял исход преследования, так как троглодиты сильны в окрылен-

ном беге и к тому же укрываются в узких ущельях и тайных норах. И вот, пешие троглодиты опередили тогда всадников и ранили некоторых из них пращею, но ответного натиска не выдержали и в беспорядке убежали обратно к остальному своему войску, сильно отставшему.

Заметив это, персы осмелились сделать натиск, не обратив внимания на свою малочисленность. Несколько потеснив наступающего противника, они затем снова пустились в поспешное бегство, пришпорив коней. Во весь опор помчались они, бросив коням узду. И вот, остальным персам удалось убежать, ускакав за какой-то изгиб Нила, словно за укрепление, и скрывшись от неприятеля за скалами. Багоас же был взят в плен, потому что конь его споткнулся и упал, повредив ему одну ногу так, что он не мог двинуться.

Феаген и Хариклия тоже попались в плен: они не решались покинуть Багоаса, человека, выказавшего столько сострадания к ним и обещавшего еще более в будущем. И вот, сойдя с коней, стояли они над Багоасом; еще могли бы они бежать, но добровольно предали себя неприятелю.

Феаген сказал Хариклии: — Вот оно, исполнение сна: вот те эфиопы, в землю которых нам было суждено прийти, но прийти взятыми в плен. Все же лучше вручить себя им и предать себя на неверную волю судьбы, чем итти к Ороондату на верную опасность.

17. А Хариклия понимала, что ими руководит судьба, надеялась на лучшее, считая напавших эфиопов скорее друзьями, чем врагами. Но она ничего не сообщила Феагену из своих мыслей и сделала вид, что согласна с его предположениями.

Эфиопы между тем приблизились. Узнав в Багоасе по его наружности мирного евнуха, увидев что Феаген и Хариклия не только без оружия, но даже в оковах и отличаются своей благородной красотой, эфиопы задали вопрос, кто они такие.

Для переговоров они выбрали из своей среды одного египтянина, знавшего персидский язык, надеясь, что пленники поймут или оба эти языка, или хоть один из них. Будучи посланы разведчиками и лазутчиками, чтобы выведать все, что делается и говорится вокруг, они на опыте научились необходимости иметь с собой людей, знающих язык, как местных жителей, так и неприятеля.

На этот краткий вопрос, Феаген, который вследствие долгого пребывания среди египтян, несколько понимал их язык, отвечал, что это был передовой отряд персидского сатрапа, а что он с Хариклией — греки родом, что их до сих пор везли как пленников персов, а теперь они пленники эфиопов, и что они вручают себя, быть может, лучшей доле.

Эфиопы решили их пощадить и взять живыми в плен, чтобы доставить своему царю, как первую и лучшую добычу и самое ценное достояние сатрапа. Ведь у персов при царском дворе — очи и слух царя это — евнухи. Не имея ни детей, ни родственников, пользующихся их доверием, евнухи всецело привязаны вверившему себя им господину. А эти молодые люди, решили эфиопы, лучший дар царю: они будут слугами при царском дворе.

И вот, повезли они их, посадив на коней, так как Багоас был ранен, Феаген же и Хариклия

из-за оков не могли бы иначе поспеть за быстрым ходом езды.

И было это словно пролог к драме или вступление: чужестранников и узников, пред очами которых еще недавно носилась картина казни, теперь не столько увозили, сколько сопровождали те, чьими пленниками они были сейчас, но чьими повелителями они стали немного спустя.

Вот что случилось с Феагеном и Хариклией.




КНИГА ДЕВЯТАЯ
ЭМ 1932



1. Сиена уже всецело была опутана осадой и охвачена эфиопами, словно сетями. Ороондат, узнав, что эфиопы приближаются, миновали пороги и двигаются на Сиену, предупредил их, немного раньше вступил в город, затворил ворота, оградил стены стрелами, оружием и военными машинами и стал ждать, что будет. Эфиопский же царь Гидасп, еще находясь далеко, проведал о намерении персов вступить в Сиену и устремился, чтобы успеть схватиться с ним, но опоздал. Он направил свое войско на город и, окружив его кольцом, неодолимым даже на вид, начал осаду при помощи бесчисленного множества людей, оружия и животных, вытесняя сиенцев с равнины. Здесь его застали лазутчики и подвели к нему пленников.

Он обрадовался при виде юноши и девушки, сразу почувствовал приязнь к своим, хотя и

не знал их, и поддался вещему голосу души. Но всего более он был доволен как приметой приведенными узниками.

— Прекрасно! — вскричал он. — Боги предают врагов в наши руки в образе этой первой добычи. Эти первые пленники пусть сохраняются, как начатки войны, для победных жертвоприношений, согласно велению прародительского закона, их надо приберечь для заклания местным богам.

Наградив лазутчиков дарами, Гидасп отослал Феагена, Хариклию и остальных пленников в обоз, назначив в качестве стражи достаточное количество людей, знавших греческий язык, приказал всячески заботиться о них, доставлять обильную пищу, держать их чистыми от всякой скверны, откармливая уже как жертвенных животных, снять с них оковы и заковать в новые — золотые: ведь где другие народы применяют железо, там эфиопы употребляют золото.

2. Поступили, как было приказано. Удалив прежние оковы и внушив надежду на свободу, эфиопы однако ничего больше не дали и наложили опять золотые цепи. Тут на Феагена напал смех, и он воскликнул:

— Какая блестящая перемена! Мы обмениваем железо на золото и, в богатых оковах, стали более почетными узниками.

Улыбнулась и Хариклия и попыталась навести Феагена на другие мысли, полагаясь сама на предсказания богов и завораживая его добрыми надеждами.

Гидасп подступил к Сиене в чаянии с первого же натиска захватить город с неповрежденными еще стенами, но в короткое время был отбит защитниками, которые и на деле блестяще оборо-

нялись и в речах язвительно издевались, возбуждая ярость и озлобление. Разгневанный тем, что сиенцы с самого начала вздумали сопротивляться, а не отдались сразу и не склонились добровольно, Гидасп решил не томить своего войска длительным обложением и не пускать в ход осадных машин, так как при этом одни воины попадут в плен, а другие и убегут, но величественной и неумолимой осадой решительно и быстро взять город.

3. Так он и повел дело. Он делит на части окружность стен и, назначив по десяти саженей на каждый десяток людей, отмерив возможно больше вширь и вглубь, приказал копать ров. Одни рыли, другие выносили землю, третьи насыпали высокий вал, против осажденной стены воздвигая другую.

Никто не препятствовал и не противодействовал окружению: жители не смели выступить из города против несчетного войска и видели, что пускать стрелы с зубцов стены бесполезно, так как Гидасп, предусмотрев и это, установил между двумя стенами такое расстояние, чтобы работающие были вне досягаемости стрел. Исполнив все это быстрее, чем можно сказать — бесчисленное количество рук ускоряло работу — он начал новое, столь же трудное дело. Оставив ровной и незасыпанной часть круга, шириною в полплефра*, он удлинил насыпь с той и другой стороны, там, где она кончалась, соединяя ее ответвление с Нилом и ведя ту и другую ветвь от более низких мест постепенно к более приподнятым и высоким. Можно было бы сравнить это сооружение с длинными стенами*, так как везде соблюдали ширину в полплефра, а в длину заняли

пространство между Нилом и Сиеной. Связав насыпь с берегом, Гидасп там же прорезал устье в реке и направил исток в канал, образуемый валами.

Падая из возвышенных мест в более низменные и из беспредельной ширины Нила в узкий проход, вода, стесненная искусственными берегами, производила в устье большой, невыразимый шум, а в канале гул, слышный на очень далекое расстояние.

Слыша и уже видя все это, понимали сиенцы, в какую беду попали: цель окружения — затопить их, но они не имели возможности убежать из города, так как насыпь и уже приближавшаяся вода запирали выход. Видя, однако, что и оставаться небезопасно, сиенцы начали с помощью средств, бывших в их распоряжении, готовиться к обороне. Сначала они законопатили паклей и смолой отверстия между досками в воротах, затем принялись укреплять стену, с целью придать ей больше прочности. Один приносил землю, другой — камни, третий — бревна — каждый что попадется, и никто не оставался в бездействии, даже женщины, дети и старики взялись за дело: смертельная опасность не щадит ни пола, ни возраста.

Люди сильные и воины цветущего возраста были выделены, чтобы рыть узкий подземный ход от города к вражеской насыпи.

4. Совершалось это так. Проведя близ стены шахту приблизительно на пять саженей вглубь и миновав под землей основания стены, они затем, светя себе огнем, рыли подкоп, шедший прямо наперерез насыпи, причем задние и вторые в рядах непрерывно принимали от первых землю,

выносили ее в ту часть города, где издавна были сады, и возводили курган. Это делали, чтобы заранее заготовить пустое вместилище для воды, на случай, если она прорвется.

Все же бедствие опередило их усердие, и Нил, заполнив длинный проход, уже ворвался в круг и затопил пространство между стенами, со всех сторон окружив их. Островом тотчас же стала Сиена, и стоявший посреди суши город, волнуемый напором Нила, омывался водой. Сначала, днем, стена короткое время сопротивлялась, но когда воды прибыло и она поднялась, а затем через трещины, рассекавшие в летнюю пору тучную землю, впиталась вглубь и проникла под основание стены, тогда уже низ стены подался под давившей его тяжестью, и в той части, где он осел, опустилась и стена и своей неустойчивостью возвестила об опасности: зубцы дрожали и защитники страдали от тряски.

5. С наступлением вечера часть стены с междубашенным пространством обрушивается. Хотя стена после падения не была ниже уровня воды и не впускала волн, однако, возвышаясь над ними на какие-нибудь пять локтей, она грозила бедой, и каждое мгновение можно было опасаться затопления. Тут общий вопль всех, кто был в городе, дошел и до врагов. Поднимая руки к небу, жители призывали богов-спасителей, свою последнюю надежду, и умоляли Ороондата вступить через глашатаев в переговоры с Гидаспом. Тот, хотя и согласился, против воли покорившись судьбе, но отрезанный водой, не знал, каким образом послать кого-нибудь к врагам.

Нужда, однако, подсказала ему выход. Написав то, что хотел, и привязав письмо к камню, он при

помощи пращи отправил к противникам свое посольство, из-за моря посылая свою мольбу. Этим, однако, он ничего не достиг, так как снаряд, не преодолев длинного пути, упал в воду. Снова метнув такое же письмо, он опять промахнулся. Все стрелки и пращники изо всех сил старались, чтобы снаряд дошел по назначению — ведь целью, в которую они метили в своем состязании, было их спасение — но всем это одинаково не удавалось.

Наконец, простирая руки к врагам, стоявшим на насыпях и созерцавшим их беду, словно какое-то театральное представление, сиенцы, насколько могли, своим жалким видом старались дать понять, что означают их стрелы: то протягивали они руки ладонью вверх, обращаясь с мольбой, то закидывали их за спину для связывания, соглашаясь быть рабами.

Гидасп понимал, что его молят о спасении, и был готов даровать его — ведь хорошим людям покоряющийся враг внушает жалость — но, не имея сейчас для этого средств, решил яснее узнать намерения противников. У него были наготове речные лодки, которым он предоставил нестись из Нила по течению канала; когда же лодки пристали к кольцу насыпи, он вытащил их и взял.

Выбрав из них десять самых новых, посадив туда вооруженных стрелков и объяснив, что следует говорить, Гидасп отослал их к персам. Эфиопы стали переправляться, вооруженные панцырями, чтобы оказаться готовыми к самозащите, в случае, если те, кто был на стене, неожиданно что-либо предпримут.

И было зрелище никогда не виданное: судно, переправляющееся от стен к стенам; моряк, несу-

щийся на лодке над сушей; лодка, мчащаяся по пашне. Всегдашний чудодей-война тогда совершила нечто еще большее и уже совсем необычайное, сплетая корабельных бойцов с защитниками стен и вооружая сухопутного воина против морского.

Увидя челноки и плывущих в них вооруженных людей, устремляющихся туда, где обрушилась стена, осажденные, пораженные страхом и преисполненные ужаса от окружавших их опасностей, приняли тех, кто шел спасти их, за врагов (ведь все внушает подозрение и недоверие человеку, находящемуся в крайней опасности) — и начали метать в них копья и стрелы. Так даже люди, отчаявшиеся в своем спасении, всегда считают каждый данный час выгодной отсрочкой смерти. Применяя свое оружие, сиенцы нацеливались, имея в виду не ранить, но только воспрепятствовать подплытию. Начали, со своей стороны, пускать стрелы и эфиопы и, попадая более метко, еще не понимая намерения персов, пронзают двоих и больше так что некоторые при внезапном и непредвиденном ранении стремглав слетели со стен наружу, в воду. И битва разгорелась бы еще сильнее—ведь жители города покачто с осторожностью отражали врагов, а те—эфиопы — с гневом защищались, — если бы один из уважаемых сиенцев, уже старик, не появился перед стоявшими на стене, говоря:

— О безрассудные и обезумевшие от ужаса! Тех, кого мы до сих пор с мольбою призывали на помощь, мы отгоняем теперь, когда они, вопреки ожиданию, идут к нам. Прибывая как друзья и возвещая мир, они будут для нас спасителями. Замыслив же что-либо враждебное, они после

своей высадки без труда будут побеждены. Если мы их убьем, то что будет дальше, когда такая туча на суше и на воде окружает город? Подпустим их и спросим, чего они хотят.

Все одобрили его речь похвалил ее и сатрап, и, расступившись в ту и другую стороны от обрушившейся стены, сиенцы спокойно ждали, не пуская в ход оружия.

6. После того, как стена между башнями освободилась от стоявших на ней, и народ, размахивая в воздухе одеждами, тем самым показывал, что позволено пристать, эфиопы приблизились и начали говорить с лодок осажденному театру, как-будто на народном собрании, следующее:

— Персы и находящиеся здесь сиенцы! Гидасп, царь восточных и западных эфиопов, а теперь и ваш, может разорять врагов, но умеет и сострадать умоляющим, считая первое мужественным, а второе — милостивым, одно — делом руки воина, другое — свойством собственной души. Держа в своих руках решение — быть вам или не быть, он избавляет вас, умоляющих, от видимой всем и несомненной военной опасности, а условия, на которых вы согласились бы освободиться от ужасов, не сам определяет, но вам выбрать предоставляет: он не насилует справедливости, но безупречно управляет судьбой людей.

На это сиенцы ответили, что и себя самих, и детей, и жен они предоставляют Гидаспу, чтобы тот поступил с ними, как ему будет угодно, и если не погибнут, то вручат ему город, который сейчас содрогается, не имея надежды на избавление, если только не подоспеет от богов и Гидаспа какая-нибудь спасительная неожиданность.

Ороондат объявил о своем отказе от того, что послужило причиной войны и является наградой победителю: об уступке города Фил и смарагдовых россыпей. Он потребовал, чтобы не принуждали сдаться ни его самого, ни его войско: если Гидасп пожелает проявить полностью свое милосердие, то пусть дозволит им удалиться на Элефантину, не потерпев никакого бесчестья и не вступая в борьбу: для Ороондата будто бы безразлично погибнуть сейчас или, после кажущегося спасения, подвергнуться осуждению у персидского царя за измену; а еще важнее и серьезнее то, что теперь ему грозит легкая и обыкновенная смерть, а тогда жесточайшая и придуманная с целью горчайшего наказания.

7. Говоря так, Ороондат просил принять в челнок двух персов, под тем предлогом, что они отправятся на Элефантину, чтобы и ему больше не медлить, в случае, если находящиеся там не откажутся вместе с ним покориться.

Выслушав это, послы возвратились, взяв с собой и двоих персов, и обо всем передали Гидаспу. Тот, посмеявшись над Ороондатом и упрекнув в большой глупости человека, который ведет переговоры, как равный, между тем, как его жизнь и смерть зависят уже не от него самого, а от другого, сказал:

— Было бы бессмысленно, если бы неразумие одного навлекло гибель на стольких людей.

Он позволил посланным от Ороондата отправиться на Элефантину, ничуть не беспокоясь о том, что и находящиеся на острове вздумают, пожалуй, сопротивляться.

Своим он приказал — одним — загородить вырытое в Ниле устье, другим — прорезать новое

в насыпи, чтобы помешать притоку воды и освободить, посредством оттока, канал, и чтобы вокруг Сиены вода поскорее высохла и испарилась, давая воможность ходить. Люди, которым это было повелено, принялись за дело, но отложили его окончание до следующего дня; вечер и ночь наступили вскоре после того, как были даны эти повеления.

8. Защитники города не выпускали находившейся уже у них в руках, возможности спасения и не отказывались от неожиданно полученного выхода: одни, продолжая рыть подземный ход, уже, казалось, приближались к насыпям, под землей измеряя шнуром представлявшееся взорам расстояние между стеной и насыпями, а другие при свете факелов восстанавливали упавшую часть стены. Сооружение ее было делом легким, так как камни при падении скатывались внутрь. Однако, даже тогда, когда они считали себя в безопасности, не обошлось без беспокойства.

К полночи в той части насыпи, где вечером эфиопы принялись копать, неожиданно образовался прорыв — земля ли там была насыпана рыхлая и неутоптанная, так что низ не выдержал и дал течь; проведение ли подкопа помогло насыпи опуститься в пустое пространство, или недавно прорытый выход захватил ниже, чем того хотели работавшие, но за ночь вода поднялась и, когда прорыв открыл ей путь, вода незаметно потекла вглубь; быть может, кто-нибудь припишет это дело божественному вмешательству. И такой получился рев и рокот, устрашающий слух и рассудок, что эфиопы и сами сиенцы не понимали, что случилось, но подозревали, что снесена большая часть стены и города.

Однако, эфиопы, находясь в безопасности, продолжали спокойно спать, думая утром обо всем точно узнать, а горожане со всех сторон бегали вокруг стены: и каждый, видя, что на его участке стена невредима, предполагал, что несчастье случилось у других, пока, наконец, наступивший свет не рассеял мрака окутывавших их ужасов: прорыв стал виден, вся вода ушла.

Уже эфиопы перегораживали устроенное ими устье, опускали туда препятствия в виде соединенных между собой досок, устанавливали извне толстые стволы деревьев, соединяли их глиной и хворостом, доставляя все это сразу многими тысячами рук с берега или даже на лодках. Так ушла вода.

Все же, однако, нельзя было ни тем ни другим пройти друг к другу: земля была покрыта глубоким илом, и под поверхностью, казавшейся сухой, лежала влажная грязь, в которой увязали ноги как лошади, так и человека.

9. Так они провели дня два-три, причем в знак мира сиенцы открыли ворота, а эфиопы сложили оружие. Было перемирие без общения, стража с той и другой стороны бездействовала, и горожане всецело предались удовольствиям. Случилось, что наступил тогда праздник Нила, величайший у египтян, справляемый ко времени летнего солнцестояния, когда в реке обнаруживается прибыль воды, и почитаемый египтянами больше всех праздников по следующей причине.

В виде бога изображают египтяне Нил и считают его величайшим из блаженных, пышно называя его подобием неба, так как он без облаков и дождей орошает пашни и ежегодно в определенные сроки заливает их. Так думает боль-

шинство. Божественность его они видят в следующем.

Причиной существования и жизни людей египтяне считают главным образом соединение влажного и сухого вещества. Другие вещества, говорят они, связаны и соединены с этим Так у них говорят в народе. У мистов* же Исидой объявляется земля, Осирисом — Нил, то-есть меняется название вещей.

Страждет во время его отсутствия богиня, ликует, когда он с нею, после его исчезновения снова плачет и, как врага, ненавидит бурю: естествоиспытатели и богословы, думается мне, не обнажают перед непосвященными тайный смысл, сокрытый, как семя, в этих сказаниях, но излагают свое учение под видом мифа. Людей же, более посвященных и допущенных в сокровенный храм, они яснее вводят в таинства огненосным факелом истины.

10. Да простится нам все сказанное, и да будут почтены полным молчанием большие таинства, события же в Сиене мы по порядку изложим.

С наступлением праздника Нила местные жители занялись жертвоприношениями и празднествами, телом страдая от окружавших их ужасов, а в душе, насколько было возможно, не забывая благоговения к божеству.

Ороондат, выждав полночь, когда сиенцы были охвачены глубоким сном после пиршества, незаметно выводит свое войско, заранее тайно назначив персам определенный час и ворота, через которые следовало выйти. Каждому десятнику было приказано оставить на месте лошадей и вьючный скот для избежания затруднений с ними и для того, чтобы вследствие шума горожане

как-нибудь не проведали о происходящем, и выступить, взяв с собой только оружие и палку или доску.

11. Когда они собрались к заранее указанным воротам. Ороондат перекинул поперек грязи доски, которыми был нагружен каждый десяток людей, соединил эти доски между собой, причем задние постоянно передавали доски передним, и переправил свое войско очень легко и быстро, словно по мосту. Достигнув твердой земли, он незаметно ушел от эфиопов, ничего не подозревавших, не подумавших поставить стражу и беззаботно спавших. Ороондат бегом, не переводя дыхания, сразу повел войско к Элефантине. Он был беспрепятственно впущен в город — дело в том, что ранее посланные из Сиены двое персов, согласно уговору, каждую ночь сторожили его прибытие и, услыхав условленный сигнал, тотчас же открыли ворота.

Только когда забрезжил день, сиенцы узнали о бегстве. Сначала они, каждый у себя дома, заметили отсутствие помещавшихся там персов, затем все вместе — собираясь на сходки, и, наконец, увидели мост. Опять впали они в тревогу и ожидали за свой проступок тяжкого обвинения, так как после столь великой оказанной им милости выказали себя неверными и содействовали персам в бегстве. Сиенцы решили, двинувшись всем народом из города, отдаться эфиопам и клятвенно заверить в своем неведении, в надежде склонить их к жалости.

И вот, собрав людей всех возрастов и взяв в руки ветви в знак мольбы, с зажженными восковыми свечами и факелами, в предшествии священных изваяний богов, вместо жезла гла-

шатая, они по мосту переправились к эфиопам, как умоляющие, уже издали опустились на колени и по данному знаку, вслед за одним рыдающим голосом, начали умолять.

Стеная еще сильнее, они положили перед собою на землю младенцев, предоставив им двигаться как могут, чтобы их непричастностью и невинностью смягчить гнев эфиопов. Младенцы от смущения и непонимания происходящего, а, может быть, спасаясь от несмолкавшего крика, оставили тех, кто их родил и кормил, и направились по дороге, ведшей к врагам, одни ползком, другие — нетвердой походкой с нежным плачем — сама судьба как-будто устроила это непредвиденное моление.

12. Видя все это и думая, что сиенцы продолжают свою прежнюю мольбу и отдаются на волю победителя, Гидасп послал спросить, чего они хотят и почему пришли одни, а не с персами. Сиенцы обо всем рассказали, о бегстве персов, о своей к нему непричастности, о прародительском празднике, о том, как персы скрылись, пока сиенцы были заняты служением богам и спали после пиршества. Пожалуй, говорили они, персы убежали бы даже на их глазах, так как безоружные не могли бы помешать вооруженным.

Когда обо всем этом было передано Гидаспу, тот, догадавшись, что произошло, а именно, что Ороондат готовит какой-нибудь обман и хитрость — так оно в действительности и было — призвал к себе только одних жрецов и, поклонившись изображениям богов, которые они с собой принесли, чтобы внушить благоговение, начал спрашивать, не могут ли жрецы побольше рассказать о персах, куда они двинулись, на что пола-

гаются и какие средства пустят в ход. Те сказали, что вообще ничего не знают, но предполагают, что персы двинулись на Элефантину, так как туда собралась большая часть войска, на которое Ороондат возлагает большие надежды, преимущественно же на конных латников.

13. Так они сказали и умоляли Гидаспа вступить в город, как в собственное владение, и перестать гневаться на них. Гидасп не счел нужным тогда же самому перейти в город, но послал туда две фаланги тяжеловооруженных, чтобы они разведали относительно предполагаемой им засады, а если ничего этого нет, то для охраны города, и отослал сиенцев, дав им успокоительные обещания. Сам же он выстроил свое войско так, чтобы или встретить нападение персов, или, если они запоздают, пойти на них. Еще не все были в строю, как вдруг прибежали лазутчики и объявили о приближении персов в боевом порядке.

Ороондат предписал остальному войску собираться на Элефантину и был вынужден при известии о неожиданном нашествии эфиопов броситься с немногими персами в Сиену; отрезанный насыпями, попросил он пощады и, согласно обещанию Гидаспа, получил ее, но оказался коварнейшим из людей: добившись разрешения отправить вместе с эфиопами двоих персов, он и послал их будто бы для того, чтобы узнать, на каких условиях стоящие на Элефантине войска согласились бы примириться с Гидаспом. На самом же деле он хотел разведать, не предпочтут ли они приготовиться к битве, когда ему удастся вырваться. Свой коварный замысел он привел в исполнение, нашел

войска готовыми и, не откладывая нападения, тотчас же вывел их, чтобы благодаря такой быстроте пресечь всякие приготовления противников.

14. Видно было, как он строится, привлекая взоры персидскою пышностью и сверкая по равнине серебряным и позолоченым оружием. Солнце едва всходило и бросало персам в лицо свои лучи. Несказанное сияние раскидывалось во все стороны, доходя до самых отдаленных мест, так оружие блистало навстречу солнцу.

Правое крыло занимали природные персы и мидяне, причем тяжеловооруженные шествовали впереди, а стрелки, сколько их было, следовали за ними, чтобы, так как тело их не было защищено оружием, пускать стрелы с большей безопасностью под прикрытием тяжеловооруженных. Силы египтян и ливийцев, а также все наемные войска Ороондат поместил на левом крыле, присоединил к ним копейщиков и пращников и приказал им делать набеги и метать дротики, выбегая с флангов. Сам он расположился в середине, стоя на великолепной серпоносной колеснице и находясь в безопасности, охраняемый фалангой с той и другой стороны, выстроил впереди себя одних только конных латников, полагаясь на которых он, главным образом, и решился на битву: такая фаланга всегда бывает у персов наиболее боеспособной; поэтому на войне, как несокрушимая стена, ставится впереди.

15. Вооружение их такого рода. Люди отборные и выделяющиеся телесной силой надевают сплошной, вылитый из одного куска шлем, воспроизводящий, подобно маске, человеческое лицо. Прикрытые им от верхушки головы до шеи, за исключением глаз, чтобы видеть, они воору-

жают правую руку копьем, превосходящим обыкновенное копье, в то время как левая занята уздой. Подвязав сбоку кинжал, они окружают панцырем не только грудь, но и все тело. Сделан панцырь следующим образом: отливают из меди и железа четыреугольные пластинки размером со всех сторон в пядень и, наложив их одну на другую краями, так, чтобы все время над нижней возвышалась верхняя, соседняя с ней, скрепляют соединение швами, проходящими под складками, и таким образом создают чешуйчатую рубашку, которая не сдавливает тела, но со всех сторон охватывает его и, облегая члены, стягивается и растягивается, не стесняя свободы движений. Панцырь имеет рукава и ниспадает от шеи до колен, оставляя непокрытыми только бедра — ведь приходится сидеть верхом. Таков этот панцырь, лучший отразитель ударов, защищающий от всяких ранений.

Что касается поножей, то они от ступни доходят до колен, соприкасаясь с панцырем. Подобными же латами персы снабжают и коня, ноги окружают поножами, голову совсем стискивают налобниками, покрывают коня попоной, обшитой железом и спускающейся по бокам от спины до живота, так что она и защищает коня и вместе с тем не мешает и не затрудняет во время бега. Таким образом снаряженный и как бы отягченный всадник садится на коня: вспрыгивает он не сам, вследствие тяжести, но его подсаживают другие.

Когда наступает время битвы, то, ослабив поводья и оглушив коня всем боевым шумом, он мчится на противников и кажется железным всадником или выкованной движущейся статуей.

Копье своим острием сильно выдается вперед, ремнем привязанное к шее коня; нижний конец прикреплен с помощью петли к крупу, в схватках копье не поддается, но, помогая руке всадника, только направляющей удар, само напрягается и сопротивляется, причиняет сильное ранение, и в своем стремительном полете пронзает всякого встречного, одним ударом часто пригвождая двоих.

16. С такой-то конницей и так расставив персидское войско, сатрап пошел в наступление, все время опираясь тылом на реку. Хотя по численности войск он значительно уступал эфиопам, все же, воспользовавшись водой, не давал себя окружить.

Двинулся навстречу ему и Гидасп, персам и мидянам правого крыла он противопоставил воинов из Мерои, сражающихся в тяжелом вооружении, опытных в рукопашном бою. Троглодитам и тем, что обитают по соседству со страной, приносящей корицу — они были легко вооружены, быстры в беде, прекрасно владели луком, — Гидасп поручил тревожить стоявших на левом крыле противника пращников и копейщиков. Узнав, что середину персидского войска занимают латники, гордость неприятелей, он сам стал против них с башненосными слонами, выстроил впереди тяжеловооруженные войска блеммиев и серов и разъяснил им, как следует вести себя во время сражения. С обеих сторон дали сигнал — персы возвестили о битве трубами, эфиопы — бубнами и барабанами. Ороондат громким криком дал повеление фалангам устремиться на врагов, Гидасп приказал сначала итти навстречу медленно, спокойно продвигаясь шаг за шагом,

чтобы слоны не отставали от передних бойцов. Вместе с тем он желал задержкой ослабить пыл коней. Находясь уже в пределах досягаемости стрел, видя, что латники возбуждают коней к натиску, блеммии начали приводить в исполнение повеление Гидаспа и, оставив серов, которые должны были служить как бы прикрытием и защитой слонов, сами, одним прыжком немного опередили ряды своих и со всей быстротой понеслись на латников, производя на тех, кто их видел, впечатление обезумевших: в таком небольшом числе выступали они против более многочисленных и столь хорошо вооруженных противников. Персы еще быстрее, чем прежде, погнали лошадей, думали воспользоваться дерзостью врагов, надеялись сразу же, в первом столкновении, захватить их в плен.

18. Тогда-то блеммии, уже вступая в схватку и вот-вот готовые попасться на острие копий, сразу по данному сигналу присели и подлезли под коней, одним коленом упираясь в землю, а голову и спину чуть-что не подставляя под конские копыта. Небывалое творили они и поражали коней в живот, в то время как те проносились над ними, так что немало всадников свалилось. Кони под влиянием боли не повиновались поводьям и сбрасывали седоков, те лежали, как бревна, и блеммии наносили им удары в бедра — не может двинуться персидский латник, если никто ему не поможет. Те же, кто промчался на невредимом коне, понеслись на серов.

Последние при их приближении спрятались за слонов, укрываясь за этими животными, как за холмом или укреплением. Здесь-то и погибло большинство всадников, чуть-что не все. Кони

при виде слонов —непривычного зрелища, сразу перед ними открывшегося и способного внушить ужас размером и необычностью — одни обратились вспять, другие — пришли в смятение и вскоре расстроили фалангу. Те, кто был на слонах — по шести человек в каждой башне и по двое пускавших стрелы с каждого бока, так что свободной и незанятой оставалась лишь задняя часть — непрерывно и метко поражали с башен, словно из крепости, так что густо падавшие стрелы производили на персов впечатление облака. Целясь преимущественно в глаза противников, точно они не воевали с равноправным врагом, но состязались в меткости между собой, эфиопы так безошибочно попадали, что раненые враги носились в толпе без всякого порядка, с торчащими из глаз, будто флейты, стрелами.

Те, кто не могли остановить стремительного бега коней, уносились против своей воли, сталкивались со слонами и частью погибали на месте, опрокидываемые и попираемые этими животными, частью же гибли от серов и блеммиев, которые делали из-за слонов, как из засады, нападения, одних метко поражали, а других в схватке сбрасывали с коней на землю. Те же, что убежали, удалялись, ничего не достигнув и не причинив никакого вреда слонам: животное, вступая в битву, защищено железом, да и от природы снабжено толстой кожей: крепкий слой покрывает поверхность и, отражая удар, ломает всякое острие.

19. Когда все сразу обратились в бегство, самым позорным образом бежал Ороондат, покинув свою колесницу и пересев на нисейского коня.

Египтяне и ливийцы на левом крыле не знали об этом и с присущей им отвагой продолжали битву. Они терпели больше потерь, чем сами причиняли, и все же с непоколебимым мужеством переносили ужасы. Выстроенные против них воины корценосной страны поставили их, сильно тесня, в безвыходное положение, они убегали от наступающих, опережали их на большое расстояние, даже во время бегства стреляли из обращенных назад луков, а на отступающих нападали и поражали с боков порою камнями из пращей, порою — маленькими стрелами, отравленными ядом змей, внезапно нанося жестокую смерть.

Стреляя из лука, воины корценосной страны делают это так, словно не сражаются, а забавляются. Надев себе на голову круглую плетенку, утыканную кругом стрелами, перистую часть стрел они обращают к голове, а острие выставляют наружу, как лучи. И отсюда во время битвы каждый вынимает, как из колчана, заготовленные стрелы, изгибается и извивается в дикой пляске сатиров и, увенчанный стрелами, обнаженный, несется на противников, не нуждаясь в железных наконечниках: взяв спинную кость змеи, он делает из нее ствол стрелы, а отточив возможно острее кончик, получает заостренную стрелу: последняя от костей, может быть, и получила свое название*.

Некоторое время египтяне держались стойко и прикрывались от стрел сплошным рядом щитов, будучи по природе выносливыми и из тщеславия, без всякой пользы, соревнуя между собой перед лицом смерти, а, может быть, и страшась наказания за бегство из строя.

20. Узнав, однако, что латники, считавшиеся главной опорой и надеждой на войне, погибли, что сатрап бежал, а пресловутые тяжеловооруженные мидяне и персы ничем не отличились в битве, но, причинив немного потерь воинам из Мерои, выстроенным против них, а еще больше потерпев, сами последовали за остальными, египтяне тоже подались и бежали без оглядки.

Созерцая с башни, как с наблюдательного пункта, эту блестящую победу Гидасп и рассылал к преследователям глашатаев с повелением воздерживаться от убийства и захватывать в плен и приводить живыми всех, кого окажется возможным, особенно же Ороондата, что и было исполнено.

Растягивая свои фаланги влево, выводя задние ряды вперед по обе стороны и загибая края, эфиопы загнали персов в круг и оставили противникам для бегства одну только тропинку, ведшую к реке. Устремляясь туда во множестве, беспощадно теснимые серпоносными колесницами и общим смятением толпы, персы поняли, что мнимая военная хитрость сатрапа была необдумана и имела последствия, противоположные ожидаемым: из страха подвергнуться окружению в начале битвы, он оперся тылом на Нил, и сам, того не замечая, отрезал себе путь к бегству. Тут-то он и попал в плен.

Ахэмен, сын Кибелы, разведав обо всем, что произошло в Мемфисе, замыслил убить в суматохе Ороондата — ведь он раскаивался в своих доносах против Арсаки, так как улики успели исчезнуть — но промахнулся, так что рана оказалась несмертельной. Ахэмен тотчас же

поплатился, пораженный стрелой эфиона, который опознал сатрапа и, желая, согласно приказанию, сохранить ему жизнь, вознегодовал на бесчестное дело, видя, как человек, убегающий от врагов, сам нападает на своих, подстерегая, очевидно, подходящий миг для отмщения недругу.

21. Когда сатрап был приведен взявшими его в плен, Гидасп, видя, что он борется со смертью и истекает кровью, остановил ее заклинаниями при помощи людей, занимающихся такими делами. Гидасп решил, если окажется возможным, сохранить Ороондату жизнь и ободрял его словами, сказав:

— Друг мой, по моей воле ты останешься жить, потому что прекрасно побеждать сопротивляющихся врагов оружием, а покоряющихся — великодушием. Почему ты выказал себя таким неверным?

— Неверным по отношению к тебе, но верным своему владыке, — отвечал тот.

— А какое наказание, покорившись мне, ты сам себе назначаешь? — снова спросил Гидасп.

— Такое наказание, — отвечал сатрап, — какое наложил бы мой царь, захватив какого-нибудь полководца, соблюдавшего верность тебе.

— Несомненно, — сказал Гидасп, — он похвалил бы его, наделил бы дарами и отослал бы, если он истинный царь, а не тиран: хваля чужих, он возбуждал бы подобное рвение и у своих. Но, удивительный человек, называя себя верным, ты и сам, однако, должен признать, что был неразумен, раз ты безрассудно противостал такому бесчисленному войску.

— Может быть это было не так уже неразумно, — отвечал сатрап, — если иметь в виду

склонность царя больше наказывать трусливых на войне, чем награждать храбрых. Несмотря ни на что, я решил пойти навстречу опасности, совершить что-либо великое и необычайное, что, на удивление всем, нередко бывает во время войны, или, спасти свою жизнь, если бы это удалось, оставив за собою возможность оправдываться тем, что мною сделано все от меня зависящее.

22. Вот что сказал и выслушал Гидасп. Он похвалил сатрапа и послал его в Сиену, приказав врачам всячески заботиться о нем. И сам он вступил в Сиену с отборным войском, причем весь город, люди всех возрастов встречали его, бросали войску венки и нильские цветы, славили Гидаспа победными возгласами. Вступив в город на слоне, словно на колеснице, он тотчас занялся жертвами и благодарственным служением вышним богам.

Вместе с тем Гидасп расспрашивал жрецов о происхождении праздника Нила и обо всех достопримечательностях, которые они могут показать в городе. Жрецы показали колодезь — измеритель Нила, сходный с мемфисским, устроенный из выравненного и обтесанного камня, с вырезанными на нем, на расстоянии локтя друг от друга, письменами. Речная вода, просачиваясь туда и доходя до уровня письмен, указывает прибыль и убыль Нила местным жителям, измеряющим по числу затопленных и свободных пометок избыток или недостаток воды. Показали жрецы и стрелки солнечных часов, не дающие тени в полдень, так как солнечный луч во время летнего солнцестояния падает в той местности прямо сверху и, освещая пред-

меты со всех сторон, не дает ложиться тени, так что и вода в глубине колодцев освещается по той же причине. Всему этому Гидасп не очень удивился, так как оно было ему знакомо — ведь то же самое есть и у эфиопов в Мерое.

Потом жрецы начали превозносить празднество, восхваляя Нил, называя его Гором, дарователем хлеба и для всего Египта — для верхнего — спасителем, а для нижнего родителем и творцом, так как он ежегодно наносит новый ил, а потому и именуется Нилом,* возвещает начало всех времен года: наступление летней поры — прибылью воды, осенней — убылью, весенней — вырастающими на нем цветами и несением яиц у крокодилов. Вообще Нил представляет собой не что иное, как год, и это подтверждается его названием: если буквы, из которых состоит его имя, перевести на счетные камешки, то наберется триста шестьдесят пять единиц — столько же, сколько дней в году*. К этому жрецы присоединили повествование об особенностях растений, цветов и животных и о многом другом.

— Но все эти великолепные рассказы относятся не к Египту, а к Эфиопии, — сказал Гидасп, — ведь эту реку, а по-вашему — бога и всех речных зверей посылает сюда эфиопская земля, которая, по справедливости, должна бы пользоваться у вас почитанием, как мать ваших богов.

— Поэтому-то мы и почитаем ее, — отвечали жрецы, — как по другим причинам, так и потому, что от нее явился к нам ты, наш спаситель и бог.

23. Отвечав, что не подобает похвалам быть нечестивыми, Гидасп вступил в палатку. Остаток дня

он отдыхал, угощая знатных эфиопов и сиенских жрецов и всем велел делать то же — сиенцы доставили войску даром и за плату много стад быков и овец, а еще больше — коз и свиней и огромное количество вина. На следующий день, сидя на возвышении, Гидасп делил между войсками вьючный скот, коней и прочую добычу, захваченную в городе и во время битвы, одаряя каждого соответственно значительности его подвигов. Когда появился человек, взявший в плен Ороондата, Гидасп сказал ему:

— Проси, чего хочешь.

— Мне не надо просить,— сказал он,— раз ты сам так рассудил, то я уже получил достаточную награду, отняв ее у Ороондата, после того, как согласно твоему повелению сохранил ему жизнь.

При этих словах он показал перевязь сатрапа, драгоценную, выложенную каменьями, стоившую не один талант, так что многие из присутствующих воскликнули, что владеть таким сокровищем не подобает простому человеку, так как оно достойно царя.

Улыбнулся Гидасп и сказал: — Не поступлю ли я вполне по-царски, если покажу, что мое великодушие ничем не уступает алчности этого человека? Кроме того, и обычай войны позволяет снять доспехи с пленника тому, кто одолел его. Поэтому пусть он, уходя, возьмет от нас то, чем и против нашей воли мог бы тайком легко завладеть.

24. После этого предстали те, кто захватил Феагена и Хариклию.

— О, царь,— сказали они,— наша добыча не золото и каменья — вещи у эфиопов дешевые и

кучами лежащие в царском дворце. Мы привели девушку и юношу — греков, брата и сестру, которые ростом и красотой превосходят всех людей, кроме тебя, и просим уделить и нам от твоих великих даров.

— Хорошо, что вы об этом напомнили,— сказал Гидасп,— когда этих пленников поставили передо мной, я видел их лишь мельком и среди смятения. Приведите их. Пусть придут и остальные пленники.

За ними тотчас же отправились: скороход, выйдя из города, достиг обоза и велел страже вести их поскорее к царю.

Пленники начали расспрашивать одного из стражей — полугрека, куда их сейчас ведут. Тот сказал, что царь Гидасп желает взглянуть на пленников.

— Боги спасители! — вскричали вместе юноша и девушка, услыхав имя Гидаспа. До той поры у них было еще сомнение, не царствует ли кто другой.

— Конечно, любимая, ты расскажешь царю, кто мы такие,— тихо говорит Хариклии Феаген,—ведь это тот Гидасп, о котором ты часто говорила мне, что он — твой отец.

— Сладостный мой,— отвечала Хариклия,— для великих начинаний нужны великие приготовления: если божество положило какому-нибудь делу запутанное начало, то и конец, по необходимости, затянется надолго, в особенности же вредно внезапно раскрыть то, что в течение долгого времени скрывалось, тем более, что главное лицо всей нашей повести, моя мать Персина, отсутствует, а мы знаем, что и она, по воле богов, жива.

— А если нас раньше принесут в жертву,— возразил Феаген,— или отдадут в подарок, отрезав, таким образом, доступ в Эфиопию?

— Напротив,— сказала Хариклия,— мы часто слышали от стражи, что нас содержат, как жертвы для заклания в честь мероийских богов. Нет никакой опасности, что нас раньше отдадут или убьют, раз мы посвящены богам по обету, нарушить который считается непозволительным у людей, соблюдающих благочестие. Если же мы, всецело предаваясь радости, тотчас же откроемся в отсутствие лиц, могущих узнать нас и подтвердить наши слова, то как бы нам не раздражить того, кто будет слушать, справедливо навлекая на себя его гнев: он будет, пожалуй, считать насмешкой и дерзостью, что какие-то пленники, предназначенные к рабству, обманщики и лжецы, появившись точно с театральной машины, выдают себя за царских детей.

— Но приметы, которые, я знаю, ты носишь с собой и бережешь, помогут убедить его, что мы не выдумка и не обман,— возразил Феаген.

— Приметы,— отвечала Хариклия,— для тех, кто их подбросил и знает, являются приметами, а для тех, кто не знает и не может обо всем знать,— это просто драгоценности и ожерелье, способные, пожалуй, возбудить против их обладателей подозрение в воровстве и грабеже. Если даже узнает Гидасп какую-нибудь из этих вещей, то кто убедит его, что дала их Персина, кто убедит, что именно дочери дала мать? Неопровержимая примета, Феаген, материнская природа: родившее, при первой же встрече, бывает движимо таинственной симпатией, испытывает чувство любви к рожденному. Не будем упускать

из виду того, благодаря чему и другие приметы покажутся надежными.

25. Обмениваясь такими речами, они подошли к царю. Вместе с ними был приведен и Багоас. Увидав их перед собой, Гидасп приподнялся с трона и произнес:

— Смилостивьтесь, боги! — затем снова сел в задумчивости. Вельможи, бывшие при нем, спросили, что с ним случилось.

— Мне снилось, — отвечал он, — что у меня родилась дочь и сразу достигла такого расцвета. Совершенно не думая о своем сне, я вспомнил о нем теперь, видя перед собой такую же девушку. Окружающие сказали, что сон есть душевное воображение, которое часто представляет нам в образах грядущее. Не придав тогда никакого значения своему сновидению, царь спросил пленников, кто они и откуда.

Хариклия молчала, а Феаген ответил, что они брат и сестра, греки.

— Отлично, — сказал царь. — Греция вообще производит прекрасных, доблестных людей, а нам доставила жертвы, подходящие и предвещающие доброе для победного жертвоприношения. Но почему у меня во сне не родился и сын? — тут Гидасп со смехом посмотрел на окружающих — если, как вы говорите, в моем сновидении должен был явиться и образ этого юноши, брата девушки, которого мне предстояло сегодня увидеть.

Обращая затем свою речь к Хариклии и говоря с ней по-гречески — этот язык изучают эфиопские гимнософисты и цари — он сказал:

— Ты, девушка, почему хранишь молчание и ничего не отвечаешь на вопрос?

— У алтарей богов, для жертвоприношения которым — мы это знаем — нас берегут, вы узнаете обо мне и моих родителях! — был ее ответ.

— В какой они стране? — спросил Гидасп.

— Они здесь присутствуют и, конечно, будут присутствовать при заклании, — сказала Хариклия.

— Действительно видит сны наяву эта приснившаяся мне дочь, — говорит Гидасп, — если грезит о том, будто ее родители из Греции перенесутся в середину Мерои. Пусть пленников содержат с обычной заботливостью и щедростью, чтобы они украсили собой жертвоприношение. Но кто этот, стоящий рядом, похожий на евнуха?

— Это в самом деле евнух, по имени Багоас, ценнейший из рабов Ороондата,—ответил кто-то из слуг.

— Пусть и он последует за ними, — сказал царь, — не как жертва, но как страж одной из жертв — этой девушки, требующей из-за своей красоты зоркого присмотра, чтобы сохранить ее чистой до жертвоприношения. Евнухам свойственна ревность: чего они сами лишены, в том они служат помехой для других.

26. Сказав это, Гидасп начал осматривать и расспрашивать остальных пленников, расставленных в ряд. Одних, кого судьба с самого начала сделала рабами, он отдал в подарок; других — свободнорожденных, отпускал на волю. Десять юношей и девушек — тех и других в одинаковом числе — выделявшихся своей цветущей красотой, он отобрал и велел отвести их для той же цели, что Феагена и Хариклию. Разобрав все, о чем его просили, он, наконец обратил-

ся к Ороондату, за которым было послано и которого принесли на носилках.

— Завоевав то, что послужило причиной войны, я подчинил себе Филы и смарагдовые россыпи, бывшие изначальным поводом к вражде. Я не страдаю общей слабостью, не злоупотребляю своим счастьем ради собственной выгоды и, пользуясь победой, не расширяю до бесконечности свою державу, но довольствуюсь теми границами, которые с самого начала установила природа, отделив Египет от Эфиопии порогами. Взяв то, ради чего я сюда пришел, я удаляюсь, почитая справедливость. Ты же, если останешься жив, управляй тем, что у тебя с самого начала было, и сообщи персидскому царю, что его брат Гидасп своей десницей победил его, но, по своей доброй воле, возвратил все, ему принадлежащее. Гидасп приветствует дружбу с твоим царем, если и последний этого желает, дружбу — прекраснейшее из того, что есть среди людей, но не отказывается и от борьбы, если царь ее возобновит. А этих сиенцев я и сам на десять лет освобождаю от наложенных на них податей и тебе повелеваю сделать то же.

27. При этих словах среди присутствовавших горожан и воинов поднялись ликующие возгласы и далеко вокруг было слышно рукоплескание. Протянув вперед обе руки и перекинув правую через левую, Ороондат воздал поклонение Гидаспу, дело у персов необычайное — чужому царю оказывать такого рода почитание.

— Присутствующие здесь, — сказал он, — я думаю, что не преступаю отеческого обычая, признавая царем владыку, дарующего мне сатрапию, и не нарушаю закона, воздавая поклонение спра-

ведливейшему из людей, который мог бы расправиться со мной, но, по своей милости, позволяет мне жить. Он обладает властью и все же наделяет меня сатрапией. В благодарность за это, я ручаюсь, что между эфиопами и персами, если я только останусь в живых, будет глубокий мир и вечная дружба. По отношению к сиенцам я буду твердо соблюдать его приказание. Если же со мной что-нибудь случится, то пусть боги вознаградят Гидаспа, дом Гидаспа и род его за все его благодеяния.




Книга десятая



1. О событиях в Сиене ограничимся сказанным: подвергшись величайшей опасности, она сразу достигла величайшего благополучия благодаря справедливости Гидаспа; сам же он отослал вперед большую часть своего войска и двинулся в Эфиопию, причем все сиенцы и все персы далеко провожали его своими приветствиями.

Сперва Гидасп шел, стараясь держаться все время берега Нила и прилегающей к реке местности; а когда прибыл к водопадам, принес жертву Нилу и местным богам, повернул, направился в глубь страны и прибыл в Филы, где позволил войску отдохнуть около двух дней. Затем снова отправил вперед большую часть своего отряда, отослал вместе с ними и пленных, а сам приостановился, укрепил стены города, назначил людей для его охраны и тронулся дальше. Он

выбрал двух всадников, которые должны были помчаться вперед, сменять коней в городах и поселках, исполняя со всей быстротой приказание, и отправил с ними в Мерою радостную весть о победе.

2. Мудрецам, которых именуют гимнософистами, помощникам и советникам царя в делах его, такое послание:

Божественнейшему совету — царь Гидасп.

О победе над персами шлю я вам радостную весть, не для того, чтобы похвалиться своим успехом —ведь я чту неустойчивость судьбы,—но чтобы письмом этим приветствовать ваш пророческий дар, и на этот раз, как и всегда, угадавший истину. Я зову и молю вас прибыть в обычное место празднеств, чтобы вы своим присутствием сделали благодарственные победные жертвоприношения более священными для всего народа эфиопов.

Жене же своей Персине написал так:

Знай, что мы победили и — что для тебя еще важнее,—целы и невредимы. Подготовь пышные благодарственные шествия и жертвоприношения, присоедини свой зов к нашему посланию и пригласи мудрецов, а затем поспеши вместе с ними на поле, расположенное перед городом и посвященное отеческим богам, Гелиосу, Селене и Дионису.

3. Когда это письмо было доставлено, Персина сказала:

— Так вот что значит сон, который я видела эту ночь, когда мне казалось, будто я беременна и рожаю, а рожденное мною — дочь, сразу же созревшая для брака: родовыми муками сно-

видение, мнится мне, указывает на воинственную борьбу, дочерью же — на победу. Идите теперь в город и наполните его радостными вестями.

Гонцы сделали, как им было приказано. Увенчав головы нильским лотосом и потрясая пальмовыми ветвями, проехали они на конях по главнейшим частям города, уже одним своим видом возвещая победу. Исполнилась тотчас же ликования вся Мероя, обитатели ее ночью и днем устраивали хороводы и жертвоприношения в честь богов и украшали венками храмы, собираясь вместе по родам, коленам, улицам. Радовались сердца не столько победе, сколько спасению Гидаспа, так как этот человек, своей справедливостью, милостью и мягкостью к подданным какую-то сыновнюю любовь к себе внушил всему народу.

4. Персина в это время отослала вперед стада быков, коней, овец, диких ослов, грифов и многих других животных на лежавшее за городом священное поле, чтобы были приготовлены от каждой породы гекатомбы для жертвоприношений, а вместе с тем и для угощения народа. Наконец, и сама пошла к гимнософистам, устроившим себе жилище в святилище Пана, вручила им послание Гидаспа, попросила повиноваться желанию царя, а одновременно и ей оказать эту милость: своим присутствием украсить торжество.

Гимнософисты пригласили ее немного подождать, пошли в священнейшую часть храма, чтобы по обычаю своему помолиться, узнали от богов, как им надлежало поступить, и через самое малое время снова вышли к ней. Остальные

молчали, а старейшина их собрания, Сисимифр, стал отвечать:

— Персина, — сказал он, — мы придем, боги дозволяют. Но божество предвещает тревогу и волнение, которые поднимутся во время принесения жертв, однако приведут к благополучному и радостному концу: потеряна часть тела вашего и доля царства, но рок являет вам то, что до сего времени вы искали.

— Все самое страшное, — отвечала Персина, — обратится во благо, если только будете присутствовать при этом вы. Лишь только я услышу о приближении Гидаспа, я дам вам знать.

— Не к чему давать нам знать, — возразил Сисимифр, — ведь он прибудет завтра утром. Об этом, немного позже, его письмо известит тебя.

Так и случилось. Сейчас же, когда Персина на обратном пути приближалась к царскому дворцу, всадник вручил ей письмо царя, извещавшее, что прибытие его произойдет на следующий день. И вот немедленно глашатаи провозгласили об этом письме, причем одним лишь мужчинам разрешалось участвовать во встрече, а женщинам запрещалось. Самым чистым и светлым богам, Гелиосу и Селене, должны были приноситься жертвы, и потому не позволено было женщинам мешаться в толпу, чтобы не произошло хотя бы и невольного осквернения жертв. Одной только из всех женщин — жрице Селены, разрешалось присутствовать. Ею была Персина, так как, по закону и обычаю, жречество Гелиоса принадлежало царю, а жречество Селены — царице. Должна была и Хариклия присутствовать при священном действе, но не как зрительница, а как жертва, предназначенная Селене.

И вот неудержимый порыв охватил весь город. Не стали дожидаться назначенного дня, но с вечера переправлялись через реку Астабор, одни — по мосту, другие — на сделанных из тростника лодках, которые в огромном количестве и во многих местах раскачивались у берега, позволяя живущим подальше от моста сократить речные переправы. Эти суда очень быстроходны, благодаря тому материалу, из которого сделаны, но не подымают они тяжести большей, чем два или три человека. Ведь тростник разрезан на две половины, и каждая половина образует суденышко.

5. Мероя, родина эфиопов, является треугольным островом и окружена судоходными реками — Нилом, Астабором, Асасобом. Нил подходит к вершине острова и раздваивается по обе стороны, а другие две реки протекают с той и другой стороны рядом с ним, и снова соединяют свои воды, впадая в единый Нил, чье течение и название одерживают победу. Размерами Мероя очень велика, остров ухитряется быть как бы целым материком — три тысячи в длину, ширина же измеряется тысячью стадиев; кормит он огромнейших животных: кроме многих других, также и слонов. И деревья он создает и может производить всяческие растения. Помимо пальм необычайной высоты, покрытых вкусными и тяжелыми плодами, есть там и колосья ржи и ячменя такого роста, что иной раз скрывают с головой и всадника и едущего на верблюде, а зерна они приносят в триста раз больше, чем было посеяно. И тростник растет в стране такой, как было сказано.

6. Жители Мерои в течение всей ночи в разных местах переправлялись через реку. Наутро

встретили они Гидаспа, принимая и прославляя его, как бога. Они вышли далеко вперед, а у самого священного поля предстали пред ним гимнософисты, которые протягивали ему правые руки и приветствовали поцелуями. После них — Персина, в преддверии храма и внутри ограды. Простершись ниц, царь и царица почтили богов и совершили благодарственные молитвы за победу и спасение, а затем вышли за ограду и направились к месту всенародных жертвоприношений. Они воссели в заранее приготовленном на равнине шатре, который был сделан из четырех, только-что срезанных тростников: каждый угол четырехугольного сооружения, наподобие столба, подпирал один тростник. Наверху эти тростники загибались сводом, соединялись с остальными, оплетались пальмовыми ветвями и создавали кровлю над тем, что находилось внизу.

А поблизости в другом шатре, построенном на высоком основании, поставлены были изображения местных богов и героев: Мемнона, Персея и Андромеды, которых своими родоначальниками считают цари эфиопов.

Несколько ниже — так, чтобы божественные изображения помещались у них над головой, — на других подмостках сели гимнософисты. Примыкая к ним, кольцом выстроилась фаланга тяжеловооруженных воинов, опиравшихся на прямо поставленные и тесно сомкнутые щиты; они оттесняли напиравший сзади народ и оставляли пространство посередине свободным для совершающих священное действо.

Обратившись сначала с краткою речью к нанароду, Гидасп возвестил о победе и о достигнутых в борьбе за государство успехах, а затем

приказал священнослужителям приступать к жертвоприношению.

Всего поднималось ввысь три алтаря, причем два, в честь Гелиоса и Селены, соединенные вместе, стояли отдельно, а третий, посвященный Дионису, находился в другой части, поодаль. В честь этого бога предавались закланию различные животные. Его умилостивляли разнородными и различными жертвами из-за того, думается, что он пользовался всенародным почитанием и был благ ко всем. А к другим алтарям привели для Гелиоса — четверку белых коней, посвящая, повидимому, быстрейшему из богов то, что всего быстрее, а для Селены — двойную упряжку быков, отдавая богине, повидимому, из-за ее близости к земле, тех, кто помогает при обработке поля.

7. Все это еще совершалось, когда внезапно раздался смутный и бурный крик, какой, естественно, поднимается от бесчисленного множества сбежавшихся отовсюду людей.

— Да совершатся отеческие обряды, — кричали стоявшие вокруг, — да совершится, наконец, установленное жертвоприношение за наш народ, да будут отданы богам начатки войны!

Понял тогда Гидасп, что они домогаются человекоубийства, которое по обычаю совершают только после побед над иноплеменниками и берут для этой цели кого-либо из захваченных пленников. Гидасп взмахнул рукой и знаками дал понять, что сейчас исполнено будет требование, а затем велел подвести уже давно назначенных для этого пленных.

И вот приведены были они все, а среди прочих и Феаген и Хариклия, освобожденные от

оков и увенчанные. Все, понятно, сумрачные, но Феаген менее, чем другие, а Хариклия — с лицом ясным и смеющимся, причем она прямо и непрерывно глядела на Персину, так что и та при виде этого почувствовала что-то и глубоко вздохнула.

— Супруг мой,— сказала Персина,— какую девушку ты выбрал для принесения в жертву. Я не знаю, видела ли я когда-нибудь подобную красоту. Как благородны ее очи! Как величаво она переносит свою судьбу! Какую жалость вызывает ее юный расцвет. Если бы дано было уцелеть единственный раз зачатой мною и горестно погибшей дочери, ей было бы, пожалуй, столько же лет, как и этой. Еслиб только, супруг мой, было в нашей власти освободить эту девушку, я имела бы великое утешение, сделав ее моей прислужницей. Быть может, к тому же, несчастная родом из Греции, ведь лицом она не похожа на египтянку.

— Да, из Греции,— сказал ей Гидасп,— и дочь родителей, которых она теперь назовет. Она, пожалуй, не сумеет указать, откуда она родом, хоть и обещала. А освободить ее от принесения в жертву невозможно, несмотря на то, что я хотел бы этого, так как я тоже почувствовал что-то и, сам не знаю почему, жалею ее. Но ты знаешь, что приводить и приносить в жертву мужчину — Гелиосу — и женщину — Селене, требует закон. А так как эту девушку первою привели ко мне в качестве пленницы и назначили для сегодняшнего жертвоприношения, то, пожалуй, нельзя будет умолить народ отступить от закона. Одно только могло бы помочь тут: это если она, когда взойдет на ведомый тебе жертвенник, будет

изобличена в том, что не вполне чиста от общения с мужчинами, потому что закон повелевает, чтобы чиста была приносимая в жертву богине, точно так же, как и жертва Гелиосу. А к жертве Дионису закон безразличен. Но смотри, если жертвенник уличит ее в таких сношениях, пожалуй, неблагопристойно будет принять такую к себе в дом.

— Пусть бы уж она была уличена,— сказала Персина,— лишь бы только спаслась! Пленение, война и пребывание так далеко от родимой земли, позволяет не вменять в вину такой образ жизни. В особенности у такой девушки, которая в своей красоте имеет силу, обращенную против нее же самой,— если только ей пришлось испытать что-нибудь подобное.

8. Персина еще говорила это и в то же время лила слезы украдкой от присутствующих, когда Гидасп приказал принести жертвенник. Мальчиков, еще не возмужавших, выбрали тогда из толпы прислужники — только одни такие и могут без вреда для себя к нему прикасаться,— они вынесли его из храма и поставили посередине, приказывая каждому из пленников взойти на него.

И всякий из них, кто вступал на него, тотчас же опалял себе ноги, причем иные даже первого и самого легкого прикосновения не выдерживали: жертвенник был оплетен золотыми прутьями и наделен такою силой, что всякого, кто не был чист, или вообще давал ложную клятву, он обжигал: а невинным не причинял страданий, позволяя взойти. Этих пленников отделили для Диониса и других богов, всех, кроме двух или трех девушек, которые, вступив на жертвенник, доказали свою девственность.

9. Когда же и Феаген, вступив на жертвенник, доказал свою чистоту, причем все дивились и величине его, и красоте, и тому, что столь цветущий юноша не ведает даров Афродиты, он стал готовиться к священному действу в честь солнца.

— Прекрасны,—тихо говорил он Хариклии,— у эфиопов воздаяния людям, проводящим жизнь в чистоте. Жертвоприношения и заклания — вот награда хранящим целомудрие. Но, любимая, отчего ты не откроешь, кто ты? Какого еще срока ты ждешь, уж не того ли, пока кто-нибудь перережет нам горло? Расскажи, молю, и открой свою судьбу. Может быть, ты и меня спасешь, когда узнают, кто ты, и ты будешь просить обо мне. Если же этого не случится, ты-то, по крайней мере, несомненно избегнешь опасности. Когда я буду знать это, доволен я буду и самою смертью!

— Близок решительный час, — сказала на это Хариклия, — и ныне держит на весах нашу жизнь Мойра.

Хариклия не стала дожидаться приказания назначенных для того людей, облачилась в дельфийский хитон, вынутый ею из сумки, которую она носила с собой — хитон златотканный и усыпанный багряными лучами — распустила волосы и, словно одержимая, подбежала к жертвеннику, вскочила на него и долгое время стояла, не испытывая боли, ослепляя красотой, вспыхнувшей в этот миг еще ярче, видимая всем на этой высоте и пышностью одежд похожая скорее на изваяние богини, чем на смертную женщину.

Изумление тогда охватило всех. И крик единый невнятный и нераздельный, в котором однако

ясно звучало удивление, испустил народ, восхищенный всем, особенно же тем, что такую сверх-человеческую красоту и расцветшую юность Хариклия являет неприкосновенной и доказывает свое целомудрие, еще лучше украшенное ее прелестью. Опечалила она многих других в собравшейся толпе тем, что оказалась пригодной для принесения в жертву, и хоть страшились они богов, все же с величайшей радостью увидели бы ее спасенной каким бы то ни было способом. Еще больше огорчилась Персина и сказала Гидаспу:

— О злополучная и несчастная девушка, со многою мукой и не во-время сохраняющая свое целомудрие и приемлющая смерть за все эти хвалебные клики! Но что же будет теперь, — промолвила она, — супруг мой?

— Напрасно, — отвечал тот, — ты мне досаждаешь и жалеешь девушку, которой не надо быть спасенной, но суждено, думается, изначала быть сохраненной для богов благодаря изобилию ее природных дарований.

Гидасп обратил затем речь к гимнософистам:

— Великие мудрецы, — сказал он, — раз все приготовлено, почему вы не начинаете жертвоприношения?

— Умолкни, — отвечал Сисимифр, говоря по-гречески, чтобы не поняла толпа, — ведь мы достаточно и без этого осквернили свое зрение и слух. Нет, мы уходим во храм, так как и сами не одобряем столь беззаконного жертвоприношения — принесения в жертву людей — и считаем, что и боги не примут его. О, если бы только можно было воспретить принесение в жертву и остальных живых существ, так как

по закону нашему боги довольствуются жертвами, состоящими из одних молений и благовоний. Но ты останься — ведь царю необходимо бывает служить иной раз и безрассудному порыву толпы — и соверши эту жертву, нечестивую, но, по установленному отцами закону эфиопов, неизбежную. Очистительные обряды понадобятся. Кажется мне, что не доведено будет до конца это жертвоприношение, я сужу по многим иным знакам, ниспосланным божеством, а также и по озаряющему чужестранцев свету, показывающему, что защищает их кто-то из тех, что сильнее нас.

10. Сказав это, Сисимифр поднялся вместе со спутниками своими и стал готовиться к уходу. Но Хариклия соскочила с жертвенника и, подбежав, припала к коленям Сисимифра. Прислужники удерживали ее и считали, что мольбы эти — попытка выпросить себе избавление от смерти.

— О, великие мудрецы, — говорила она, — помедлите немного. Предстоит мне суд и спор с царствующими здесь, а вы одни можете, я знаю, выносить приговоры столь великим людям; так разберите же тяжбу, где дело идет о моей жизни. Заклать меня в честь богов и невозможно и несправедливо, вы увидите.

Охотно приняли слова ее гимнософисты.

— Царь, сказали они, — слышишь ли ты вызов в суд и требования, с которыми выступает чужестранка?

Засмеялся тогда Гидасп: — Но какой же суд и по какому поводу может быть у меня с ней? — сказал он.

— Слова, которые она произнесет, — отвечал на это Сисимифр, обнаружат, в чем дело.

— Но разве не покажется, — возразил Гидасп, — все это дело не разбирательством, а надругательством, если я, царь, стану судиться с пленницей?

— Высокого сана не боится справедливость, — отвечал ему Сисимифр, — и один лишь тот царствует в судах, кто побеждает доводами, более разумными.

— Но ведь только споры царей с местными жителями, а не с чужестранцами, — сказал Гидасп, — позволяет вам разрешать закон.

А Сисимифр на это: — Не одно только положение дает справедливости силу, когда судят люди разумные, но и все поведение.

— Очевидно, — прибавил Гидасп, — ничего заслуживающего внимания она не скажет, но, как это обычно у людей, находящихся в смертельной опасности, это будут измышления напрасных слов, чтобы только добиться отсрочки. Пусть она,однако, все же говорит, раз желает этого Сисимифр.

11. Хариклия и так уже была бодра духом, ожидая избавления от обступивших ее бедствий, а тут еще больше возликовала, едва услышала имя Сисимифра: ведь это был тот самый, кто в самом начале поднял брошенную девочку и передал ее Хariклу, — десять лет тому назад, когда отправлен он был в область Катадупов, послом к Ороондату по поводу смарагдовых залежей. Был он в то время рядовым гимнософистом, а теперь провозглашен их главою. Облика этого человека не помнила Хариклия, расставшись с ним совсем еще маленькой, семи лет от роду, но теперь, узнав его имя, возликовала еще больше, надеясь иметь в его лице защитника и помощника при узнавании.

Руки к небу простерла она и вопияла далеко слышным голосом:

— Гелиос, родоначальник предков моих, — говорила она, — и другие боги, начинатели нашего рода, будьте вы мне свидетелями, что не скажу я слова неправды. Будьте моими помощниками в суде, ныне предстоящем мне. Для этого суда буду я теперь излагать мои справедливые требования и вот откуда начну. Чужестранцев, о, царь, или местных жителей приносить в жертву повелевает закон?

Когда же тот отвечал: — Чужестранцев.

— Ну, тогда, — сказала она, — пора тебе поискать других для принесения в жертву, так как я отсюда родом и происхожу из этой страны, как ты сейчас узнаешь.

12. Царь выразил удивление и объявил, что она выдумывает. Хариклия сказала: — Меньшее тебя удивляет, а есть еще другое, большее. Я не только происхожу из этой страны, но и для рода царского я первая и самая близкая.

И снова Гидасп пренебрег ее словами, как чем-то вздорным:

— Перестань, — сказала тогда Хариклия, — отец, хулить дочь свою!

Царь после этого, как было ясно видно, не только презрел речи ее, но и разгневался, считая все дело насмешкою и обидою.

— Сисимифр и вы все, — сказал он, — вы видите, насколько она переходит пределы всякого долготерпения. Не настоящим ли безумием страдает эта девушка, когда она дерзкими измышлениями напрасно старается оттолкнуть от себя смерть? Она, словно на сцене, чтобы выйти из затруднений,

как-будто пользуется театральным приемом, объявляет себя моей дочерью, тогда как я — и это вам известно — не был счастлив в рождении детей и только один раз одновременно и услыхал о ребенке и утратил его. Пусть же кто-нибудь уведет ее, и пусть она больше не думает об отсрочке жертвоприношения.

— Никто не уведет меня,— закричала Хариклия,— до тех пор, пока судьи не прикажут. Ты стоишь перед судом на этот раз, а не приказания даешь. Убивать гостей, о царь, быть может, разрешает закон, но убивать детей ни он, ни природа тебе, отец, не позволит. Отцом, хотя бы ты и отрицал это, тебя сегодня объявят боги. Каждая тяжба и каждый суд, царь, признают два рода главных доказательств: письменные заверения и свидетельские показания. И то, и другое я представлю тебе, чтобы показать, что я—ваша дочь. Свидетелем я вызываю не кого-нибудь из толпы, а самого судью — я думаю лучшее доказательство для того, кто держит речь — это ручательство самого разбирающего дело,— и предлагаю вот эту грамоту, указания и повествования о моей судьбе.

13. С этими словами она вынула положенную некогда вместе с нею повязку, которую носила под грудью и, развернув ее, передала Персине. А та, лишь только увидала, оцепенела, онемела и долго смотрела то на начертанные на повязке знаки, то снова на девушку; охваченная дрожью и трепетом, обливаясь потом, Персина радовалась находке, затруднялась нечаянными и невероятными событиями и, так как тайны ее открылись, страшилась подозрительности и недоверчивости Гидаспа, его гнева, а быть может, и мстительности.

Гидасп, заметив ее изумление и объявшую ее муку, спросил: — Жена моя, что это такое?

— Царь, — отвечала она, — владыка и муж мой, я ничего не скажу больше, возьми и прочитай. Эта повязка всему тебя научит.— Персина передала ему повязку, снова умолкла и потупилась.

Принял повязку Гидасп, приказал гимнософистам быть около него и читать с ним вместе, пробежал письмена и многому дивился как сам, так и при виде Сисимифра, потрясенного и взглядами обнаруживавшего бесчисленные сменявшиеся в нем мысли, в то время, как он, не отрываясь, смотрел на повязку и на Хариклию.

Наконец, когда понял Гидасп, что младенец был брошен и узнал о причине этого, он сказал:

— Что родилась у меня дочь, я знаю. Тогда мне сообщили, будто она умерла, а теперь со слов самой Персины, я понимаю, что она была брошена. Но кто же поднял ее, кто спас и воспитал, кто отвез в Египет? Не взята ли она в плен? И откуда вообще следует, что это та самая и что не погибло брошенное дитя? Быть может, кто-нибудь случайно нашел отличительные знаки и злоупотребляет дарами судьбы? Уж не играет ли с нами некое божество и, как бы личиной покрыв эту девушку, не услаждается ли нашим страстным желанием иметь детей, предоставляя нам ложное и подставное потомство, а этой повязкой, словно облаком, затеняет правду?

14. На это отвечал Сисимифр: — Первое, что ты желаешь знать,—сказал он,—дает тебе разгадку. Человек, поднявший брошенное дитя, воспитавший его тайно и доставивший в Египет, когда ты отправил меня послом, — этот человек —

был я, а что не позволена нам ложь, ты знаешь давно. Узнаю и повязку, покрытую, как ты сам видишь, царскими письменами эфиопов и не допускающую сомнений, будто они начертаны кем-то другим, так как вышиты они собственной рукой Персины, которую ты лучше всякого другого знаешь. Но были и другие положенные с нею знаки, переданные мною тому, кто принял дитя, греку родом и, как мне показалось, человеку прекрасному и достойному.

— Сохранились и они, — воскликнула Хариклия и, одновременно с этими словами, показала ожерелья. Еще больше поражена была Персина, когда увидела их, а когда Гидасп спросил, что это такое и может ли она сообщить еще что-нибудь, Персина ничего не отвечала, кроме того, что узнает их и что лучше расспрашивать об этом дома. И опять стало ясно, что смутился Гидасп.

А Хариклия: — Это и есть приметы, положенные моей матерью, а вот и твоя собственность, вот этот перстень, — указала она на камень пантарб.

Признал Гидасп, что принес его в дар Персине во время своего сватовства. — Дорогая моя, — сказал он, — знаки-то это мои, но вот что ты именно потому, что ты моя дочь, пользовалась ими, а не как-нибудь иначе они достались тебе, — этого я еще не могу признать. Ведь, кроме всего другого, ты сверкаешь цветом кожи, который эфиопам чужд.

— Белою, — сказал тогда Сисимифр, — я тогда принял взятую мною девочку, а вместе с тем и счет годов согласуется с ее нынешним возрастом, так как исполняется уже семнадцать лет и этой девушке и моей находке. Передо мной встает и

взгляд ее глаз и все особенности ее облика и несравненность ее прелести, вполне совпадающие с прежними и ныне видимые мною, — да, я узнаю их.

— Это все прекрасно, Сисимифр,— возразил ему Гидасп,— и говоришь ты скорее, как самый пылкий защитник, чем как беспристрастный судья. Но смотри, разрешая одно, ты выдвигаешь новое затруднение, ужасное и такое, от которого нелегко освободиться моей супруге. Как могли мы, эфиопы и я, и она, произвести на свет белого младенца?

Взглянул на него Сисимифр и улыбнулся немного насмешливо.

— Я не знаю, что с тобой делается,— сказал он,—когда ты, против своего обыкновения, сейчас упрекаешь меня за мою защиту, которую я не напрасно себе позволил. Настоящим судьей я почитаю такого, который защищает справедливость. А почему же оказывается, что я больше защищаю не тебя, а девушку? Это когда я тебя-то с помощью богов, провозглашаю отцом, а вашу дочь, которую я, еще совсем маленькою спас для вас, теперь вновь спасенную в расцвете лет, не покидаю на произвол судьбы? Нет, ты все, что хочешь думай о нас, никакого значения мы этому не придаем. Не для того, чтобы нравиться другим живем мы, но, ревнуя о прекрасном и добром, довольствуемся своими убеждениями. А разгадку затруднения дает тебе сама повязка, так как в ней Персина признается, что восприняла она некие образы и сходство в силу воображения, так как вблизи Андромеды сочеталась с тобой. Если же ты желаешь удостовериться в этом еще иначе, то тебе надо прежде

всего взглянуть на самый первообраз, на Андромеду, которая и на картине, и в девушке явится тебе совершенно одинаковой.

15. По данному приказу прислужники подняли и принесли изображение и воздвигли его рядом с Хариклией. Это вызвало у всех шумные рукоплескания и волнение. Одни, начиная понемногу понимать, что говорилось и совершалось, разъясняли другим, и все с ликованием удивлялись точности сходства, так что и сам Гидасп не в силах был дольше сомневаться и стоял долгое время, охваченный радостью и изумлением.

— Одно еще осталось, — сказал тогда Сисимифр, — ведь о царстве и о законном наследовании идет речь, но прежде всего о самой истине. Обнажи свою руку, девушка. Черной родинкой было отмечено место над локтем. Нет ничего непристойного, если ты обнажишь ее, это свидетельство о твоих родителях и происхождении.

Обнажила тотчас же Хариклия левую руку и был там словно некий обруч черного дерева, пятнавший слоновую кость руки.

16. Дольше не выдержала Персина: она внезапно соскочила со своего трона, подбежала, обняла девушку; обхватив ее, заплакала и от неудержимого восторга издала нечто подобное воплю: ведь избыток радости иной раз порождает и скорбный вопль — еще немного, и она рухнула бы на землю вместе с Хариклией.

Гидасп жалел жену, видя ее скорбь, и ум его поддавался сочувствию к ней, но, направив на это зрелище свой взор, будто рог или железо, стоял он, борясь с муками слез. Его душа волновалась отцовским страданием и мужским

своеволием, сердце разрывалось между обоими чувствами, и словно бурею, увлекалось и тем и другим. Наконец он уступил побеждающей все природе и не только убежден был, что он на самом деле отец, но обнаружилось, что он испытывает то же, что и каждый отец. Он стал поднимать Персину, поникшую вместе с дочерью и обвившую ее своим телом, на глазах всех обнял Хариклию и потоком слез заключил с ней союз отеческий.

Но не всецело оторвался он от предстоящих жертвоприношений. Подождав немного, он оглядел народ, который был движим теми же, что и он сам, чувствами: народ проливал слезы радости и сочувствия такой дарованной судьбою развязке действия, подымал до небес несказанный крик, не слушал глашатая, приказывавшего молчать, и однако не понимал явно смысла такого смятения. Гидасп простер свою руку и, потрясая ею, успокоил волнение толпы.

— О, вы, здесь присутствующие,— промолвил он,— как вы видите и слышите, боги сверх всякого ожидания объявили меня отцом и, эта девушка, в силу многих доказательств, признана моей дочерью. Я, однако, в своем благоволении к вам и к родимой земле дохожу до того, что мало забочусь о продолжении рода, об имени отца, обо всем том, что я получил бы благодаря ей, и спешу принести ее в жертву богам ради вас. Вижу я, как вы льете слезы, как проявляете некое человеческое чувство и жалеете юность девушки, жалеете и напрасно ожидаемое мною продолжение рода. Все же необходимо, быть может, даже вопреки вашей воле, повиноваться

закону отцов и пользе отдельных лиц предпочесть пользу отечества. Угодно ли будет богам, чтобы дочь моя была дарована и тотчас же отнята — ведь то же испытал я уже прежде, когда родилась она, и испытываю теперь, когда нашлась она — этого я не могу сказать и вам предоставляю решать, так же, как и то, примут ли боги снова в жертву девушку, уведенную ими из родной страны до крайних пределов земли и вновь ими же чудодейственно врученную мне благодаря случайности военного плена.

Ту, кого я в стане врагов не истребил, кого я пленницей не опозорил, я не замедлю подвергнуть закланию в честь богов, хотя она и оказалась моей дочерью, потому что такое дело совершится по вашему желанию!

И не испытаю я того, что для другого отца, претерпевающего подобное страдание, было бы, пожалуй, простительно: я не склоняюсь, не прибегаю к мольбе, чтобы вы даровали мне снисхождение и не считаю происходящее нарушением закона. Уступая природе и рожденным ею чувствам, не буду прибавлять, что можно и иным путем чтить божество. Но подобно тому, как вы не можете скрыть, что сочувствуете нам и болеете нашими муками, словно своими собственными, так же точно и для меня ваше благополучие дороже моего, и я мало внимания обращаю на свою обездоленность, мало внимания на злую участь скорбящей Персины, впервые ставшей матерью и одновременно с этим — бездетной. Поэтому, если уж таково ваше решение, перестаньте проливать слезы и понапрасну жалеть нас. Примемся лучше за священнодействие.

Ты же, дочь моя — в первый и последний раз называю я тебя этим желанным именем — ты, напрасно достигшая расцвета, напрасно нашедшая своих родителей, ты, участь горшую, чем в чужом краю, изведавшая в своем отечестве, ты, испытавшая, что значит спасительная чужбина и на гибель себе узнавшая родную землю, не смущай моего сердца своими жалобами, но теперь больше, чем когда-либо, выкажи свою мужественную и царственную душу и следуй за своим родителем. Он не может проводить тебя к жениху, не отведет к чертогу брачному — нет, он украшает тебя для заклания и возжигает факелы, не свадебные, а жертвенные, и этот неодолимый расцвет красоты принесет богам как обреченную жертву. Будьте милостивы, боги, к моим речам, если даже я, побежденный страданием, что-либо кощунственное произнес, я, назвавший дитя своим и тотчас же ставший детоубийцею!

17. Промолвив это, Гидасп схватил руками Хариклию, показывая, что ведет ее к алтарям и пылавшему на них пламени, сам снедаемый в сердце своем еще сильнейшим огнем страдания и полный желания, чтобы не достигли цели те доводы, которые он хотел уничтожить своею речью.

А весь народ эфиопов, потрясенный его словами, даже краткое время не в силах был вынести вида уводимой Хариклии. Все громко и сразу возопили:

— Спаси девушку! — кричали они. — Спаси царскую кровь! Спаси спасенную богами! Благодарим тебя. Исполнено веление закона. Признали мы, что ты—царь наш. Признай же и ты себя отцом. Пусть смилостивятся боги над этим мни-

мым беззаконием. Больше беззакония допустим мы, если будем противиться их желаниям. Никто да не убьет девушку, спасенную ими. Ты народу отец, так стань же отцом и в доме своем.

Знаем, издав бесчисленное количество подобных же возгласов, они, наконец, на деле обнаружили готовность оказать сопротивление: вставали на дороге, противодействовали, требуя иными жертвами умилостивить божество. Гидасп охотно и радостно допустил свое поражение, добровольно вынося это желанное насилие и, хотя считал, что народ слишком уж долго услаждается возгласами и слишком бурно увлекается приветствиями, все же он дал ему проникнуться радостью, дожидаясь, пока все успокоится само собой.

18. Сам же он подошел поближе к Хариклии.

— Любимая,— сказал он,— что ты моя дочь, на это указали все знаки, это засвидетельствовал мудрый Сисимифр и, прежде всего, доказала это благосклонная воля богов. Но кто же тогда этот юноша, взятый с тобой и вместе с тобой содержавшийся под стражей для победных жертвоприношений богам, а теперь поставленный перед алтарями для совершения над ним священных обрядов? Как случилось, что ты назвала его братом, когда впервые привели вас ко мне в Сиене? Ведь не окажется же и он нашим сыном, так как единожды только и тебя одну зачала Персина?

Хариклия зарумянилась и потупилась:— Что это брат, я солгала,— сказала она,— нужда создала этот вымысел. А кто он на самом деле, он сам лучше расскажет. Он мужчина и не постыдится высказать все с большею смелостью, чем я. женщина.

Гидасп не понял смысла слов ее.— Прости,— сказал он,— милая дочь моя, что пришлось тебе покраснеть из-за нас, когда приступили мы к тебе с расспросами об этом юноше, непристойными для девичьего стыда. Теперь сядь в шатре вместе с матерью, дай ей порадоваться на тебя сильнее, чем страдала она, когда рождала тебя, утешай ее усладой твоей близости и рассказами о тебе. Мы же позаботимся о жертвах, но сначала выберем девушку, которую надлежит будет заклать вместо тебя одновременно с этим юношей, если только удастся найти достойную тебя заместительницу.

19. Хариклия едва не закричала, приведенная в ужас этим известием о предстоящем заклании Феагена. Все же, с великим трудом, поставив себе целью пользу и под влиянием нужды принудив себя терпеливо выносить неистовые страдания, она снова попыталась осторожно добиться, чего хотела.

— Владыко мой,— сказала она,— быть может, совсем не нужно тебе искать девушку, раз уж народ однажды отпустил в моем лице женщину, приносимую в жертву. Если кто будет упорно настаивать, чтобы священный обряд совершился над четным числом людей обоего пола, тогда уместно будет тебе подыскать не только другую девушку, но и другого юношу, или, коль скоро ты этого не сделаешь, заклать снова меня, а не другую девушку.

Когда же Гидасп в ответ ей сказал:— Умолкни!— и спросил о причине, почему она говорит это:— Потому,— промолвила она — что мне и в жизни жить с этим мужем, и в смерти умирать вместе с ним суждено судьбой!

20. Гидасп еще не схватил самой сути происходившего:— Я хвалю твое человеколюбие, дочь моя,— сказал он на это,— чужестранца, грека, твоего сверстника, товарища по плену, снискавшего твою дружбу при ваших скитаниях на чужбине, ты справедливо жалеешь и спасти желаешь, но нет возможности изъять его из совершаемого священнодействия. И по другим причинам неблагочестиво было бы совершенно отменить обычай победных жертвоприношений, да и народ этого не потерпит, и то едва удалось, по благости богов, заставить его отпустить тебя.

— Царь,— сказала на это Хариклия,— ведь отцом называть тебя мне, может быть, не позволено,— если по благости богов спасено мое тело, то проявлением той же благости будет и спасение души моей, потому что воистину это моя душа, и знают о том боги, судившие так. Если окажется, что не хотят этого Мойры и, несмотря ни на что, будет необходимо, чтобы закланный чужеземец украсил собою жертвы, обещай, по крайней мере, одно для меня сделать. Вели мне самой, своими руками заклать жертву и, приняв меч, как драгоценнейшее сокровище, обнаружить перед всеми эфиопами блеск моего мужества.

21. Смущен был ее словами Гидасп.— Не могу понять,— сказал он,— такого поворота твоих мыслей в обратную сторону. Только-что ты пыталась щитом прикрыть чужеземца, а теперь сама требуешь, чтобы тебя сделали его убийцей. Да и ничего пристойного и славного, по крайней мере для тебя и твоего возраста, я не вижу в подобном деле. А хотя бы это и было так,

возможности к тому нет. Ведь одним лишь посвященным Гелиосу и Селене поручается отеческими законами такое дело, да и то не всяким. Если это мужчина, он должен иметь жену, если женщина — сожительствовать с мужем, так что твоя девственность мешает исполнению твоей, неизвестно чем вызванной, просьбы.

— Это не служит препятствием,— сказала Хариклия тихо и наклонившись к уху Персины, — есть и у меня, матушка, тот, к кому это имя подойдет, если будет на то и ваша воля.

— Конечно, — сказала Персина, улыбнувшись,— очень скоро мы выдадим тебя, если позволят боги, когда выберем человека достойного тебя и нас.

Хариклия, уже более громким голосом, сказала:— Не к чему выбирать того, кто уже есть.

22. Она собиралась высказаться яснее — ведь необходимость, стоявшая перед очами, и угрожавшая Феагену опасность заставляли быть смелой и поступиться девическим стыдом, как вдруг не выдержал Гидасп:

— Боги,— воскликнул он,— о, как вы всегда мешаете плохое с хорошим, и теперь хотите опять воспрепятствовать нечаянно дарованному мне блаженству! Вы явили мне дочь нежданную, но и безумную. Ну, разве не поражен ум ее, если произносит она столь странные речи? Братом называла она того, кто в действительности не брат ей. А на вопрос об этом чужеземце, кто же он на самом деле, она отвечала незнанием. Затем снова пыталась спасти неизвестного, словно он друг ей. Узнав, что невозможно исполнить просьбу, стала умолять дать ей самой принести его в жертву, словно величайшего своего врага.

Когда же ей говорят, что это не дозволено, так как только женщине, и к тому же замужней, подобает совершение этой жертвы, она объявляет, что имеет мужа, но кого именно, не прибавляет. Как же может она иметь мужа, которого у нее нет, да и не было никогда — это доказано жертвенником. Неужели обманывает нас в одном этом случае неложное эфиопское испытание чистоты, жертвенник отпускает взошедшую необжегшейся и тем позволяет ей не по праву слыть девственной? Ей одной позволено одних и тех же людей одновременно называть друзьями и врагами и создавать несуществующих братьев и мужей? Поэтому, жена моя, войди в шатер и постарайся отрезвить дочь. Она или неистовствует, потому что завладел ею какой-то бог, посетивший это жертвоприношение, или сумасшествует в избытке радости от внезапного счастья. А я прикажу искать и разыскать девушку, которую мы должны принести в честь богов вместо нее, а пока это будет происходить, отправлюсь дать ответ прибывшим от разных народов посольствам и принять дары, доставленные ими по случаю победного торжества.

Сказав это, Гидасп сел на возвышении близ шатра и велел притти послам, а если они привезли с собой какие-нибудь дары, то принести их. Тогда придворный докладчик Гармоний спросил его, прикажет ли он подводить послов всех вместе или по очереди от каждого народа, или же, наконец, по одному.

23. Гидасп велел вводить послов по порядку и отдельно, чтобы каждый получил подобающий ему почет. Докладчик снова сказал:

— Тогда, царь, первым придет сын брата

твоего, Мероэб; он только-что прибыл и ожидает перед воинской заставой, пока доложат о нем.

— Ленивый глупец!— отвечал ему Гидасп.— Что же ты сразу не сообщил мне, зная, что прибывший не посланник, а царь, к тому же сын моего брата, недавно умершего, мною посаженный на его престол и бывший мне всегда вместо родного сына.

— Я знаю это, повелитель,— ответил Гармоний,— но я знаю также, что надо прежде всего улучить удобное время, потому что если в чем нуждаются докладчики, так это в предусмотрительности. Прости поэтому, что пока ты беседовал с царицами, я остерегся отвлечь тебя делами от прекраснейшего занятия.

— Ну, теперь-то, по крайней мере, пусть он войдет,— сказал царь. Гармоний побежал, получив этот приказ и сейчас же снова вернулся с тем, к кому относилось приказание.

Все увидали Мероэба, юношу достойного удивления, по возрасту едва только преступившего годы отрочества, так как исполнилось ему сверх десяти всего семь лет, а ростом превышавшего чуть ли не всех. Блестящий полк щитоносцев сопровождал его. Стоявший вокруг эфиопский отряд, в удивлении и преклонении, расступившись, дал ему свободный проход.

24. Гидасп не усидел на своем престоле, пошел ему навстречу, обнял с отеческим дружелюбием, посадил рядом с собой и дал ему правую руку.

— Ты во-время прибыл, сын мой,— сказал он,— чтобы торжествовать вместе с нами победу и отпраздновать свадьбу. Отеческие и родовые боги и герои обрели нам дочь, тебе же, думается

мне, невесту. Но во всей полноте ты услышишь об этом потом, а пока, если желаешь добиться чего-нибудь для подвластного тебе народа, говори.

Мероэб, как услышал слово невеста, от удовольствия и стыда даже и при черной своей коже не мог скрыть, что покрылся пурпуром: румянец пробежал по его лицу, как огонь по саже. Немного помедлив, он сказал:

— Остальные прибывшие послы, отец мой, все принесут тебе дары, чтобы увенчать твою блестящую победу избранными сокровищами своих стран. Я же считаю справедливым тебя, выказавшего благородство и доблесть в войнах, одарить по достоинству и приношением равным. Я привожу тебе человека, в войнах кровавых бойца непобедимого, а в борьбе, в кулачном бою, на пыльных стадионах, неодолимого.

И кивком головы дал знак приблизиться этому человеку.

25. Тот вышел на середину и приветствовал Гидаспа—человек такого роста и таких небывалых размеров, что, целуя колено царя, оказался почти одного роста с сидевшими на возвышении.

Не дожидаясь приказа, снял он одежду и стоял обнаженным, вызывая всякого желающего состязаться с ним в бою или в борьбе. Однако никто не хотел выходить, несмотря на многократные призывы царя.

— Дарована будет и тебе и от нас,— сказал Гидасп,— достойная твоей силы награда.

Сказав это, повелел привести для него многолетнего и огромного слона. Когда же приведено было животное, тот принял его с радостью, а народ сразу пришел в восторг, обрадованный царской

милостью и утешенный насмешкой над хвастливостью бойца после проявленной перед этим слабости. После того приведены были послы серов, которые поднесли пряжи и ткани из паутины своей страны, одежду, окрашенную пурпуром, и другую чистейшей белизны.

26. Когда приняты были эти дары и Мероэб попросил отпустить для него на волю некоторых, давно уже находившихся в темнице, осужденных, на что последовало согласие царя, выступили послы счастливых арабов* и наполнили всю площадь благовонием пахучих листьев, корицы, пряностей и тому подобного, чем умащается аравийская земля, и было по многу талантов* каждого из этих веществ.

Подошли после них жители страны троглодитов, принося в дар золото, добытое от муравьев, и упряжку грифов с поводьями из золотых цепей.

За ними выступило посольство блеммиев: они сплели венком луки и острия стрел из драконьих костей.

— Вот тебе, царь,—говорили они,—дары от нас. По богатству они уступают дарам других, но эти орудия показали себя там, у реки, чему ты и сам был свидетелем, в бою против персов.

— Они драгоценнее,—отвечал Гидасп,—чем дары во много талантов весом, так как они стали причиной того, что приносится мне теперь и все остальное.

И тут же дозволил им объявить, нет ли у них каких-нибудь желаний. Они попросили уменьшить им дань, и царь полностью сложил ее на целое десятилетие.

27. И вот, когда прошли перед глазами почти все послы, причем царь вознаграждал каждого

равноценными дарами, а очень многих еще и более ценными, последними предстали перед ним послы аксиомитов, которые не должны были платить дани, но всегда были друзьями и союзниками царя. Выражая свое благорасположение по поводу одержанных успехов, они тоже доставили подарки. Среди всего прочего было там и некое животное, странного вида и удивительного строения тела. Ростом оно доходило до размеров верблюда, а что касается цвета и шкуры — усыпано было цветными пятнами леопарда. Задняя часть и все, что позади паха, было у него низкое, как у льва, а плечевая часть, передние ноги и грудь выдавались вне всякого соответствия с остальными членами тела. Тонкая шея, начинаясь от большого туловища, вытягивалась в лебединое горло. Голова с вида верблюжья, а размерами немного больше, чем вдвое, превышает голову ливийского страуса и дико вращает словно подведенными глазами. Необычна и походка его. Он раскачивается совсем не так, как все остальные животные, сухопутные и водяные: ноги ступают не так, что правая и левая попеременно перекрещиваются, но особо и одновременно переставляются обе правые и отдельно от них, связанными движениями, обе левые, и вместе с тем поднимается тот или другой бок. Так легко движение животного и так велика его кротость, что за тонкую веревку, закрученную вокруг головы, водит его вожак, а оно повинуется воле его, как неразрывной цепи.

Когда появилось это животное, оно повергло в изумление весь народ и по виду своему получило имя по наиболее заметным признакам тела: народ его тут же назвал камелопар-

дом. Смятением наполнило оно все собрание.

28. Произошло вот что. У алтаря Селены стояла пара быков, у алтаря Гелиоса четверка белых коней, приготовленных для жертвоприношения. Когда появилось чуждое, необычное и с первого раза столь странное животное, все они пришли в смятение, как при виде призрака, и, исполнившись страха, порвали сдерживавшие их путы. Какой-то бык, который один только, кажется, увидел чудовище, а за ним одновременно два коня ринулись в неудержимое бегство: они не могли прорвать ограду войска, построенную из тесно сомкнутых в круг щитов тяжеловооруженных воинов, и бесцельно носились в яром беге, крутясь по всему пространству по середине, опрокидывая все, что им попадалось: и утварь и животных.

Смутный крик подняли при этом все: те, к кому они приближались—от страха, те же, в ком они, наскакивая на других, суматохой и падениями вызывали веселье и смех—от удовольствия.

При этом происшествии даже Персина и Хариклия не были в силах оставаться в шатре, и, откинув немного завесу, сделались зрительницами всего, что творилось.

Феаген, движимый своей собственной мужественной отвагой, а может быть и вдохновляемый в своем порыве кем-либо из богов, когда увидел, что состоявшие при нем стражи разбежались от охватившего их страха, внезапно выпрямился, между тем как раньше он коленопреклоненно стоял подле алтаря, ожидая близкого заклания. Феаген берет полено, лежавшее на

алтаре, хватает одного из несорвавшихся еще коней, взлетает на хребет его и, вцепившись в волоса на его шее, пользуется гривой вместо поводьев, жалит коня пятою, подгоняет его все время вместо бича поленом и мчится за убежавшим быком.

Сперва все присутствующие поняли это дело так, будто Феаген пытается спастись бегством, и каждый криком призывал своего соседа не позволять разорвать стену гоплитов. Но по мере того, как попытка Феагена шла дальше, все стали понимать, что это у него вовсе не отчаяние и не желание убежать от смерти.

Очень быстро настигнув быка, Феаген погнался за ним, почти касаясь хвоста, причем слегка колол его и побуждал к более резвому бегу. И куда тот ни кидался, Феаген следовал за всеми его движениями, осторожно огибая повороты и узкие места.

29 Когда юноша приучил быка к своему виду и образу действий, он подогнал коня, чтобы тот оказался бок о бок с быком, кожей касаясь кожи, с конским смешивая бычье дыхание и пот. Феаген сумел так согласовать скорость бега коня и быка, что стоявшим поодаль представлялось, будто срослись вместе головы обоих животных. Все восторженно, до небес, прославляли Феагена, создавшего такую невиданную быконконную упряжку. Вот чем был занят народ.

Хариклия взирала, охваченная дрожью и трепетом, недоумевала, что означал этот подвиг, и в страхе, как бы Феаген не упал, заранее страдала его ранами, словно своим собственным закланием, так что даже Персина заметила это.

— Дитя мое,—сказала она,—что с тобой? Ты

как-будто опасаешься за чужеземца. Я и сама испытываю это чувство, сожалею об его юности и желаю, чтобы он, по крайней мере, избежал опасности и сохранен был для жертв, чтобы не остались у нас совсем неисполненными священные обряды в честь богов.

— Смешно,—отвечала Хариклия,—это желание: пусть он не умрет, чтобы умереть! Но, если это только возможно, матушка, спаси этого человека ради меня.

Тогда Персина, подозревавшая не ту причину, что была на самом деле, но вообще любовную, возразила:

— Невозможно мне,—сказала она,—спасти его, но все-таки скажи, наконец, смело мне, как матери, что у тебя общего с этим человеком, о котором ты так заботишься? Если это какое-то неизведанное волнение, неподобающее девушке, то материнское чувство сумеет сокрыть чувство дочери, а женское сострадание—падение женщины.

Обильнейшие слезы пролила тогда Хариклия.

— Вот еще чем я кроме всего остального несчастна!—воскликнула она.—Речи мои даже разумным людям кажутся неразумными, и когда я говорю о своих бедах, думают, что я ничего еще не сказала. Я вынуждена наконец приступить к самообвинению, обнаженному и ничем не прикрытому.

30. Так сказала Хариклия и собиралась раскрыть всю истину, когда вновь потрясена была многошумным криком, раздавшимся со стороны народа.

Феаген заставил коня сначала мчаться с наибольшей скоростью, выдвинуться немного

вперед и поровняться головою с грудью быка, потом пустил коня на волю, а сам соскочил с него, кинулся на шею быка и, уткнувшись лицом в промежуток между его рогами, руками словно венком, обхватил их, сплетая пальцы узлом на бычьем лбу, а всем телом повис на правом плече быка и понесся, вися таким образом слегка подбрасываемый бычьими прыжками. Когда Феаген заметил, что бык, задыхаясь от тяжести, уже ослабил чрезмерно напряженные мышцы и приближается к тому месту, где восседал Гидасп, Феаген ринулся вперед, переплел своими ногами ноги быка и, несмотря на то, что бык все время бил копытами, стал препятствовать его ходу. Бык, стесненный в своем порывистом беге и отягощенный силою юноши, подогнул колени, внезапно метнулся на голову, кинулся вперед плечами и спиной и долго лежал распростертый на спине, уткнув рога в землю, с неподвижной, словно к земле приросшей головой, причем ноги его ударяли в пустой воздух и выдавали его поражение.

Лежал тут же и Феаген, и одна лишь левая рука, на которую он опирался, была у него занята, правую же он протягивал к небу и непрерывно ею потрясал, весело смотря на Гидаспа и на весь народ; Феаген улыбкой призывал их радоваться с ним вместе, в то время как рев быка, словно труба, возглашал хвалу победителю.

В ответ грохотал крик толпы, и не слышалось ясной, членораздельной хвалы, но широко зияли рты, из единого горла звучало удивление и длительно и созвучно поднималось в небо.

По приказу царя подбежали прислужники: одни подняли Феагена и подвели его к Гидаспу, дру-

гие же, набросив на рога быку веревочную петлю, потащили его, понурого, и снова привязали к алтарям вместе с конем, которого тоже поймали. Гидасп собирался что-то сказать и сделать Феагену. Народ, которому юноша доставил такую радость и который раньше уже, с первого взгляда сочувствовал ему, поражен был его силой, в особенности же был уязвлен завистью к эфиопскому силачу Мероэба.

— Пусть он встретится с борцом Мероэба!— закричали все в один голос.—Пусть получивший слона сразится с тем, кто захватил быка,—вопили они все время, и в виду такой их настойчивости Гидасп согласился. Выведен был на середину эфиоп, глядевший презрительно и надменно. Он шел тяжелым шагом и дерзко потрясал локтями—то правой, то левой рукой.

31. Когда оказался он около того места, где сидел царь, Гидасп взглянул на Феагена и обратился к нему по-гречески:

— Чужестранец,—промолвил он,—с этим человеком придется тебе сразиться. Народ этого требует.

— Пусть исполнено будет его желание,— отвечал Феаген,— однако, какого рода это состязание?

— Борьба,—сказал Гидасп.

А Феаген на это:

— Но почему же не бой на мечах и во всеоружии, чтобы мне совершить великий подвиг, испытать великую опасность и тем заставить действовать Хариклию, которая до сих пор терпеливо молчит о нашей судьбе и, наконец, кажется, в отчаянии отказалась от нас?

А Гидасп:

— Что ты хочешь сказать, когда приплетаешь имя Хариклии—ведомо только тебе одному. Бороться, а не на мечах биться тебе надо, потому что не дозволено видеть пролитие крови перед началом жертвоприношений.

Понял тогда Феаген, что Гидасп боится за него, как бы его не убили до начала жертвоприношения.

— Ты правильно поступаешь,—сказал он,— что сохраняешь меня для богов, которые позаботятся о нас.

С этими словами Феаген взял немного пыли, посыпал ее себе на спину и руки, еще орошенные потом после гонки за быком, стряхнул неприставшую пыль, с силой вытянул обе руки, оперся поустойчивее в землю ступнями ног, согнул ноги в коленях, закруглил плечи и спину, слегка наклонил шею, сжал все свое тело и стоял так, с нетерпеньем ожидая схватки в борьбе.

А эфиоп, как увидел его, улыбнулся, оскалив зубы, и насмешливыми знаками как-будто хотел унизить своего противника. Потом вдруг, словно бревном, поразил рукою шею Феагена, так что гул пошел от этого удара, а сам снова принял надменный вид и пренебрежительно засмеялся.

Феаген, как человек с детства знакомый с упражнениями и маслом гимнасиев* и превзошедший Гермесово искусство состязаний, решил сперва уступать, чтобы выяснить противопоставленную ему мощь, решил не бросаться сразу на такую чудовищную и дико разъяренную громаду, но уменьем перехитрить неуклюжую силу. Поэтому, хотя он был слегка только сбит с того места, где стоял, он сделал вид, будто страдает сильнее,

чем это было на самом деле, и, выставив другую часть шеи, подставил ее под удар. Когда эфиоп снова ударил, Феаген притворился, будто сломлен ударом, и едва не упал ничком.

32. Эфиоп, проникшийся презрением к нему и осмелевший, неосторожно бросился в третий раз и, снова подняв руку, готовился с силой опустить ее.

Феаген внезапно нагнулся и, отклонившись, избежал удара, а в то же время своей правой рукой вцепился в левую руку эфиопа и этим захватом дал сильный толчок противнику, которого и так уже повлек к земле удар, нанесенный его собственной рукой в пустоту. Феаген проскользнул у него под мышкой, прижался к его спине, с трудом опоясал руками толстый живот эфиопа, сильными и непрерывными ударами пяток ослабил лодыжки и суставы его ног, и силою принудил упасть на колени. Затем обхватил его ногами и, направив ляжки ему в пах, выбил в сторону руки, опираясь на которые эфиоп поддерживал свою грудь, обвел узлом руки вокруг его висков, стал оттягивать его голову к спине и плечам, наконец, заставил распластаться животом на земле своего противника.

Единый общий крик громче прежнего подняла при виде этого толпа. Сам царь не выдержал и соскочил со своего трона.

— О горестный рок!—восклицал он.—И такого-то человека принести в жертву повелевает закон!

Затем Гидасп обратился к Феагену.

— Юноша,—сказал он,—придется тебе потом быть увенчанным для принесения в жертву, как велит обычай. А пока увенчайся венком за слав-

ную, но бесполезную для тебя и мимолетную победу. Хотя я не могу, несмотря на все желание, защитить тебя от назначенной тебе участи, однако, все, что мне позволено, я сделаю для тебя. Если ты знаешь что-нибудь, что еще при жизни могло бы тебя порадовать, проси об этом.

С этими словами Гидасп возложил на Феагена золотой венок, усаженный драгоценными каменьями, и не мог скрыть своих слез.

— Вот в чем моя просьба,—сказал Феаген,— и молю тебя, даруй мне, как обещал: если совершенно невозможно мне избежать заклания, то по крайней мере прикажи ныне обретенной тобою дочери принести меня в жертву.

33. Уязвленный этой речью Гидасп вспомнил подобное же требование Хариклии, но не считал, однако, нужным в такое время подробно исследовать это дело.

— Только о возможном, чужестранец,—сказал он,—я разрешаю тебе просить и только это обещал тебе исполнить. Замужней должна быть совершительница заклания, а не девственницей— ясно гласит закон.

— Но ведь муж есть и у нее,—возразил Феаген.

— Бредовые и поистине предсмертные речи,— воскликнул Гидасп.—Ни брака, ни общения с мужем не ведает девушка, это доказано жертвенником. Если только ты не говоришь о Мероэбе,— не знаю, откуда ты узнал это,—которого я, впрочем, назвал не мужем, а только женихом.

— И прибавь, не будет он им никогда,—сказал Феаген,—если только я знаю сколько-нибудь душу Хариклии и если по праву можно доверять мне, как прорицающей жертве!

Тут вмешался Мероэб:

— Но, дорогой мой, — сказал он,—ведь не при жизни, а лишь после того, как их заколют и взрежут, жертвенные животные своими внутренностями дают откровения прорицателям. Поэтому ты прав, отец мой, когда считаешь, что чужестранец в смертном томлении сам не знает, что говорит. Прикажи только, пускай его отведут к алтарям, а ты сам, если остается еще сделать что-нибудь, поспеши и начни священнодействие.

Феагена повели, как было приказано, а Хариклия, немного было вздохнувшая после победы и понадеявшаяся на лучший исход, начала горько рыдать, когда снова повели его. Персина все время утешала ее:

—Может быть и спасся бы юноша,—приговаривала она,—если бы ты захотела поведать мне точнее все подробности о себе.

Тогда Хариклия, подчиняясь силе и видя, что время не допускает отсрочки, приступила к важнейшим частям своего рассказа.

Гидасп между тем спросил у докладчика, не осталось ли еще каких-нибудь послов.

— Одни только послы из Сиены,—отвечал Гармоний, — они привезли послание и дары Ороондата и только-что прибыли.

34. —Пусть подойдут они,—приказал Гидасп. Послы подошли и вручили письмо. Царь развернул и пробежал его, а стояло там вот что:

Человеколюбивому и блаженному царю эфиопов Гидаспу—Ороондат, сатрап великого царя.

Победив в бою, ты еще в большей мере победил величием своего духа и по собственной воле предоставил мне всю мою сатрапию; поэтому я не удивлюсь, если ты ответишь согласием

на краткую просьбу. Одна девушка, приведенная ко мне из Мемфиса, сделалась военной добычей и, в качестве пленницы, по твоему приказу послана в Эфиопию, как я узнал от лиц, бывших с нею и избегнувших опасностей тех дней. Ее-то я и прошу освободить, в виде дара для меня, так как я и сам хотел бы получить эту девушку, а еще больше желал бы спасти ее для ее отца, который, разыскивая свою дочь, прошел много земель и захвачен был во время войны в крепости Элефантине. Когда я затем осматривал уцелевших от войны, я увидел его там, и он попросил меня послать его к тебе, чтобы прибегнуть к твоей доброте. Перед тобой среди прочих послов находится и этот человек, который способен и нравом своим доказать свое благородство и одним видом умолить тебя. Радостным отошли мне его обратно, царь, чтобы он не только называл себя отцом, но и стал им.

— Кто же из находящихся здесь разыскивает девушку? — спросил царь, прочитав письмо. Ему указали на одного старика.

— Чужестранец, — сказал ему Гидасп, — по просьбе Ороондата я готов все сделать. Но всего только десять девушек приказал я увести в плен. Об одной из них доказано, что она не твоя дочь, взгляни на остальных и, если опознаешь и найдешь, бери ее себе.

Простершись ниц, старик поцеловал ему ноги. Оглядев приведенных девушек, он не нашел той, кого искал, и снова печально потупился:

— О царь, ни одна из них не дочь мне, — сказал он.

— Мое согласие ты получил, — отвечал Гидасп. — Упрекай судьбу, если ты не находишь той, кого

ищешь. Ты можешь осмотреть все вокруг и убедиться, что другой девушки, кроме этих, не было уведено и нет во всем лагере.

35. Ударил себя по голове старик, пролил слезы, поднял очи, оглядел стоявшую кругом толпу и вдруг, как безумный, бросился бежать и, приблизившись к алтарям, закрутил наподобие веревки край своего плаща—такая одежда была как-раз одета на нем, набросил на шею Феагена и стал тянуть его, крича так, что все могли это слышать:

— Я захватил тебя, проклятый и ненавистный!

Стража прилагала все усилия, чтобы помешать старику и вырвать Феагена, но старик крепко держал его, словно прирос к нему и, наконец, добился того, что его привели пред лицо Гидаспа и всего совета.

— Царь, — воскликнул тогда старик,— вот тот, кто украл дочь мою. Вот тот, что превратил дом мой в бездетную пустыню и от самых алтарей Пифийского бога похитил мою душу. А теперь, словно он чист от преступлений, восседает он у алтарей богов!

Потрясены были происходящим все до единого. Речам старика удивлялись те, кто их понимал, зрелищу—все остальные.

36. Гидасп приказал точнее объяснить, чего он хочет. Старик—а это был Харикл—скрыл настоящую правду о происхождении Хариклии из боязни навлечь на себя вражду со стороны ее истинных родителей в том случае, если она—пусть даже во время скитаний — утратила свою невинность, поэтому изложил вкратце все, что не могло причинить вреда, и сказал так:

— Была у меня дочь, царь. Если бы вы только видели, как разумна и как прекрасна она была,—

вы убедились бы, что я верно говорю. Была она девушкой и храмовой прислужницей Дельфийской Артемиды. И вот этот доблестный юноша, фессалиец по своему происхождению, прибыл в качестве главаря священного посольства в Дельфы, мой родимый город, для совершения отеческих обрядов и тайно похитил девушку из заповеднейших святилищ храма. Справедливо было бы признать, что он совершил кощунство и по отношению к вам, раз он оскорбил Аполлона, бога, почитаемого вашими отцами, — ведь Аполлон — это то же самое, что Гелиос, — и осквернил его священный участок.

Сообщником в этом нечестивом деянии был один мемфисский лжепророк. Я побывал сначала в Фессалии и потребовал Феагена от его сограждан, этеян, но нигде ничего не нашел, хотя они согласились выдать юношу и позволили убить, где бы он ни был обнаружен, как величайшего преступника. Тогда я решил, что пристанищем в бегстве будет ему Мемфис, родина Каласирида.

Я прибыл туда и застал Каласирида, как он и заслуживал того, уже мертвым. От Фиамида, его сына, узнал я все о моей дочери, между прочим и то, что она отправлена к Ороондату в Сиену. С Ороондатом и Сиеной я потерпел неудачу — я пришел туда, но на Элефантине меня застала война. Вот теперь я прихожу сюда и обращаюсь с мольбой, о которой ты узнал из письма. Похититель в твоих руках. Разыщи дочь мою, облагодетельствуй меня, многострадального старца, да и для самого себя сделай это, если хочешь показать, что почитаешь сатрапа, меня пославшего.

37. Харикл умолк, скорбным плачем закончив речь свою. Гидасп обратился к Феагену:

— Что ты скажешь на это?—спросил он.

— Справедливы,— отвечал Феаген,— все его обвинения. Разбойник я, грабитель, насильник, злодей для этого старца, однако для вас я благодетель.

— Возврати же девушку, не принадлежащую тебе,— сказал Гидасп,— она уже раньше была посвящена богам, и ты претерпишь почетное заклание при жертвоприношении, а не судебное, когда будешь казнен за преступление.

— Но ведь справедливо,— возразил Феаген,— чтобы не похититель, а тот, кто владеет похищенным, возвращал его. Владеешь же им ты сам. Так возврати похищенное, если только и этот старец не признает, что Хариклия твоя дочь.

Никто уже не был в силах терпеть. Возникло всеобщее смятение. Сисимифр, который долго сдерживался, хотя давно уже начал понимать все, что говорилось и творилось, и выжидал только, когда все будет ясно и точно раскрыто вышнею силой, подбежал к Хариклу, обнял его и воскликнул:

— Спасена считавшаяся твоею и некогда врученная тебе дочь, на самом же деле дочь людей, которых ты знаешь, ныне обретенная ими.

38. Хариклия выбежала из шатра и, откинув весь приличный ее возрасту и происхождению стыд, понеслась в вакхическом неистовстве и припала к ногам Харикла.

— Отец мой,—воскликнула она,—ты, кого я должна почитать не меньше, чем своих родителей. Накажи, как хочешь меня, беззаконницу и непокорную дочь. Если даже кто припишет воле

и предначертанию богов все совершившееся, не обращай на это внимания.

Персина в это время обнимала Гидаспа.

— Верь, что все это так и было,—говорила она ему,—знай, что этот греческий юноша действительно жених твоей дочери, как она только-что с большим усилием призналась мне.

С противоположной стороны веселился народ, испуская радостные возгласы. Все возрасты и состояния согласно ликовали о совершившемся, не понимая, правда, большей части того, что перед этим случилось с Хариклией, но, может быть, они догадались об истине по внушению божества. Ведь божество дало такое развитие всему действию, привело к созвучию величайшие противоположности, причем сплетались радость и горе, смеялись плакавшие и радовались рыдавшие, находили тех, кого не искали, и теряли тех, кого считали найденными, пока наконец ожидавшееся умерщвление не преобразилось в благочестивое жертвоприношение.

Гидасп обратился к Сисимифру с вопросом:

— Как же нам быть, великий мудрец? Отказаться от жертвы богам — нечестиво. Заклать дарованных ими — тоже неблагочестиво. Надо подумать, что нам делать.

39. Сисимифр отвечал не на греческом языке, но, чтобы все могли понять, на эфиопском:

— Царь,—сказал он,—омрачаются тьмою от чрезмерной радости, мне кажется, даже и разумнейшие из мужей. Ты, по крайней мере, давно уже должен был догадаться, что боги не желают принять приготовленной для них жертвы, раз они у самых алтарей объявили счастливую Хариклию твоей дочерью и, словно при помощи театраль-

ного приспособления, доставили из глубины Греции ее воспитателя, вселили страх и смятение в стоявших перед алтарями коней и быков, и тем дали понять, что всецело отвергнуты жертвы, считавшиеся совершеннейшими. Ныне же боги показали венец всех благополучий и как бы светоч всего представления*, когда провозгласили этого юного чужеземца женихом девушки. Так поймем же чудодейственное веление богов, станем исполнителями их решения и приступим к жертвам, более чистым, отменив человеческие жертвоприношения на вечные времена.

40. Такие слова Сисимифр провозгласил отчетливо и внятно для всех, а Гидасп, который и сам понимал местный язык, крепко обнял Хариклию и Феагена.

— Итак, о вы все, здесь присутствующие,— воскликнул он,—раз все это совершилось таким образом по воле богов, итти наперекор им было бы непозволительно. Поэтому—свидетели мне боги, вершители событий, и вы, люди, проявляющие готовность мыслить в согласии с ними—я эту чету связую законами брачными и дозволяю им соединиться узами деторождения. И, если угодно вам, да будет это решение скреплено жертвой. Обратимся к священным обрядам.

41. Приветственными кликами отвечало на эти слова все множество народа и загремели рукоплескания, словно брак уже совершался. Гидасп приблизился к алтарям и, готовясь начать жертвенный обряд, воскликнул:

— Владыко Гелиос и Селена владычица, если мужем и женой Фиаген и Хариклия по изволению вашему были объявлены, то дозволено им и жертвы приносить вам.

Сказав это, снял с себя и Персины головные повязки, символы жречества и возложил свою на Феагена, а на Хариклию—повязку Персины.

И только свершилось это, как пришло на память Хариклу дельфийское прорицание, и понял он, что подтверждается на деле давно предвозвещенное богами указание, что юноша и девушка, покинув бегством Дельфы,

В черную землю придут, жаркого солнца удел.
Здесь-то награду великую доблестно живших обрящут:
Темное знавший чело белый, прекрасный венец.

И вот юноша и девушка, увенчанные белыми повязками, по воле Гидаспа возложившие этим на себя жречество, принесли благоприятную жертву. Потом с зажженными светильниками, под напевы флейт и свирелей двинулись в Мемфис на колеснице, запряженной конями—Феаген вместе с Гидаспом, Сисимифр на другой, вместе с Хариклом, на запряженной белыми быками—Хариклия и с ней Персина, провожаемые приветствиями, рукоплесканиями, плясками. А сокровеннейшие обряды брака с еще большим блеском должны были совершиться в городе.

Такое завершение получила эфиопская повесть о Феагене и Хариклии.

Ее сочинил финикиянин из Эмесы, из рода Гелиоса, сын Феодосия Гелиодор.

Достигла конца книга Гелиодора.



КОММЕНТАРИИ

К КНИГЕ ПЕРВОЙ

I, *1. Близ устья, называемого Геракловым.* См. вступительную статью § 27.

I, *1. Не могли понять этой сцены.* См. вступительную статью § 45.

I, *3. Так, словно в трагедии, восклицала девушка.* См. вступительную статью § 45.

I, *8. Ночь достигла часа первой стражи.* Ночные караулы, продолжавшиеся с 6 часов вечера до 6 час. утра, делились на четыре стражи, по три часа каждая.

I, *8. Настанет, может быть, от бед отдохновенье.* См. вступительную статью § 24.

I, *8. Зачем ворваться хочешь ты неистово.* См. вступительную статью § 24.

I, *8. Эпизод.* См. вступительную статью § 45.

I, *10. Великие Панафинеи* справлялись каждые пять лет. В особом корабле доставлялось на Акрополь, в храм Афины, одеяние, изготовленное в честь богини афинскими девушками.

I, *10. Я был тогда эфебом*—по достижении возмужалости, на 18-м году молодые люди объявлялись совершеннолетними, получали право носить оружие, являться в суд, жениться и т. п. Право участвовать в народном собрании афинянин получал спустя два года, т. е. на 20-м году жизни.

Кроме этого, гражданского, понимания слова «эфеб», эфебом в просторечии назывался всякий молодой человек, вышедший из детского возраста. В памятниках искусства эфебы изображаются с коротко остриженными

волосами, в противоположность длинноволосым мальчикам и взрослым мужчинам. Это подстрижение волос совершалось на 16-м году жизни во время праздника Апатурий.

I, *10 Пэан*—хвалебная песнь.

I, *10. О юный Ипполит.* См. вступительную статью § 24

I, *10. Отец мой отправился обедать в пританей.* Правом обедать в пританее (здание, находившееся у северо-восточного склона Акрополя) пользовались чужестранные послы, герольды и афинские граждане, которым за их заслуги хотели оказать почет.

I, *13.* Афинские граждане разделялись на филы, каждая фила на фратрии, каждая фратрия на роды (γένη), члены этих родов назывались γεννῆται (родичи). Быть членом рода и фратрии было необходимо для получения гражданских прав, поэтому ребенка надо было ввести во фратрию и род его отца.

I, *14. Не совсем покинуло нас правосудие, согласно Гесиоду.*

Гесиод, «Работы и дни», ст. *255-260.*

Есть еще дева великая Дике,[1] рожденная Зевсом,
Славная, чтимая всеми богами, жильцами Олимпа.
Если неправым деяньем ее оскорбят и обидят,
Подле родителя-Зевса немедля садится богиня
И о неправде людской сообщает ему.

(Перевод *Вересаева*)

I, *14. Сердце тоскою круша, как говорит поэт* — Илиада VI, *202,*

I, *14. Эриннии* — богини проклятия, мести и кары, восстанавливающие попранный нравственный порядок.

I, *15. Второе плавание*—пословица.

---

1 Δίκη — правосудие, справедливость.

I, *16. Сад, где памятник эпикурейцев.* Эпикур на 36-м году своей жизни поселился в Афинах, в приобретенном им саду, где вел скромный и умеренный (вопреки обывательским о нем представлениям) образ жизни, предаваясь научным занятиям. О памятнике эпикурейцев нет других свидетельств, кроме данного места Гелиодора.

I, *17. Около пропасти, что в Академии...где полемархи приносят героям установленные отцами жертвы.* Академия—пригородное имение, приобретенное Платоном от некоего Академа. Полемарх—один из десяти архонтов. В Академии был памятник в честь Тезея и Пирифоя.

I, *18. Плакал каждый, вспоминая о собственных несчастиях.* Намек на Илиаду XIX, *301, 302*;

...стенали и прочие жены,
С виду, казалось, о мертвом, но в сердце о собственном горе.

I, *18. Богами ниспосланный сон.* Предутренние сны считались истинными.

I, *30.* Именно на это место романа Гелиодора намекает Шекспир в «Двенадцатой ночи». См. вступительную статью § 59.

К КНИГЕ ВТОРОЙ

II, *11. Те, кто сошел к Трофонию.* Агамед и его брат Трофоний построили храм Аполлона в Дельфах и сокровищницу царя Гириея в Беотии. В стене этого здания братья вставили один камень так, что снаружи его легко было вынуть, и по ночам крали богатства Гириея. Когда Агамед попался в капкан, поставленный Гириеем, Трофоний, чтобы не было улик, отрезал брату голову и унес ее с собою. За это он был поглощен землею на том месте Лебадейской рощи, где потом показывали яму Агамеда. Здесь был оракул Трофония, вопрошаемый при ночных жертвоприношениях.

II, *16. Пусть одержит верх твой треножник*—намек на прорицания Пифии.

II, *18.* Стадий — приблизительно 185 метров.

II, *19. При вашей наружности вы будете требовать себе не куска хлеба, а мечей и котлов.* Кнемон в своей остроте не обошелся без литературной реминисценции; в Одиссее так говорится о нищем:

Стоя в дверях, неопрятные плечи о притолку чешет,
Крохи одни, не мечи, не котлы, получая в подарок.

(XVII, *221, 222*).

II, *20. Мойры*—богини рока.

II, *21. От Илиона ведешь ты меня.* Намек на гомеровский эпос.

II, *21. Пожалуй, я рассказал бы и этим тростникам* — поговорка.

II, *22. На опыте знакомится с многими городами, с нравами и обычаями многих людей.* Намек на первые стихи Одиссеи.

II, *22. Гомер назвал желудок гибельным.*

Жадный и множество бед приключающий людям желудок.

(Одиссея, XVII, *474*.)

II, *24. Введя этот эпизод, не имеющий, как говорится, никакого отношения к Дионису.* Это выражение первоначально применялось к тем отступлениям в вакхических песнях, которые не касались непосредственно Диониса. Впоследствии присловье это получило более широкий смысл: ни к селу, ни к городу, некстати.

II, *24. Протей*—морской старец. Менелай захватил спящего Протея; как тот ни старался при помощи различных превращений освободиться, Менелай все же заставил его предсказать, каким образом он может возвратиться домой.

(Одиссея, IV, *351* и сл.)

II, *24. Око Кроноса поражает наш дом.* Влияние Кроноса (Сатурна) считалось гибельным.

II, *26. Гиеромнемон* — магистрат, на обязанности которого лежало хранить храмовое имущество.

II, *27. Я первый явился к богу как друг после некоего спартанца Ликурга.* Ликург, преобразователь Спарты, получил в своей деятельности одобрение со стороны Дельфийского оракула.

II, *27. О блуждании по сирингам.* Сиринги—извилистые подземные тайники.

II, *31. Гимнософисты*—индейские мудрецы.

II, *31. Обращался с ней как со свободнорожденной,* т. е. обошелся с ней не как с рабыней.

II, *33. Она воспользовалась против меня, как говорится, моими же перьями*—пословица.

II, *34. Гипатой...потому что он начальствует и властвует над прочими, а по мнению других потому, что стоит под горой Этой.* «Гипата» означает наивысшая. Вторая предложенная здесь этимология—фантастична.

II, *35. Стихи.* Здесь имеется: 1) намек на имя Хариклии, состоящее из двух слов: χάρις—прелесть, κλέος—слава; 2) намек на Феагена, который, как потомок Ахилла, происходит от богини Фетиды. Под «черной землей» разумеется Эфиопия. Белый венец, который достанется молодой чете, до тех пор украшал только темное чело эфиопских царей.

К КНИГЕ ТРЕТЬЕЙ

III, *1. Словно я, по пословице, пришел уже после праздника.* Пословица, упоминаемая и Платоном в начале «Горгия», вроде русской поговорки «притти к шапочному разбору»,

III, *1. Гекатомба*—собственно жертва в сто быков; в более широком смысле всякое большое, торжественное жертвоприношение.

III, *2. Фетида с Пелеем, затем их сын и, наконец, внук.* Их сын—Ахилл, внук—Неоптолем.

III *3. Фессалийские кони.* Фессалия славилась своими конями.

III, *3. Борьба лапифов с кентаврами.* Лапифы—фессалийское племя.

III, *12.* Илиада, XIII, *71, 72.*

III, *14.* Илиада, IX, *383.*

(Фивы) град, в котором сто врат, а из оных из каждых по двести
Ратных мужей в колесницах на быстрых конях выезжают.

III, *14,* См. вступительную статью § 21, 23.

К КНИГЕ ЧЕТВЕРТОЙ

IV, *1. Амфиктионы*—народы, живущие вблизи какого-либо святилища и составившие между собою союз для защиты этого святилища, для совместного отправления празднеств и для соблюдения в своих взаимоотношениях норм международного права.

IV, *3. Таким изображает Гомер Ахилла в бою у Скамандра.* (Илиада, песнь XXI).

IV, *4. Подобно всему остальному и любовью можно пресытиться.*

Всем человек насыщается: сном и счастливой любовью,
Пением сладостным и восхитительной пляской невинной,
Боле приятными, боле желанными каждому сердцу,
Нежели брань; но трояне не могут насытиться бранью.

(Илиада, XIII, *635* и сл.)

IV, *4*. *Наделен столь адамантовым или железным сердцем*. Выражение Пиндара. (Pind. fragm. 88—у Афинея, XIII, 601 c.).

IV, *7*. Илиада, XII, *21*.

IV, *7*. Имя этого врача происходит от того же корня, что и глагол ἀκέσθαι—исцелять.

IV, *8*. Древние всегда читали вслух. Первое свидетельство о чтении про себя относится к концу IV века н. э. (Августин рассказывает об Амвросии Медиоланском),

IV, *8*. *Персей и Андромеда*. Персей, сын Зевса и Данаи, совершив ряд подвигов, прибыл на берег Эфиопии, где спас Андромеду и женился на ней.

Андромеда—дочь Кефея, царя Эфиопии. Жена этого царя, Кассиопея, загордившись своей красотой, оскорбила нереид. Посейдон в наказание послал морское чудовище, добычей которого должна была стать Андромеда, уже прикованная к скале.

IV, *8*. *Камень Пантарб*. По своей этимологии Пантарб означает «Всестрах», то есть всячески (или для всех) страшный, грозный.

К КНИГЕ ПЯТОЙ

V, *5*. *Гермы*—четырехугольные столбы с фаллом и головой.

V, *13*. *Аметист*. Намек на этимологию слова «аметист»—ἀμέθυστος; ἀ—не (отрицание), μέθυ:—опьянение.

V, *15*. Илиада, III, *65*.

V, *19*. *Талант*—около 1500 рублей (золотом).

V, *22*. Описание Одиссея основано на ряде гомеровских мест. Одиссея, XVIII *74*, X *13* и *332*, X *330* I, I, XIX *393* и др. Кефалления—самый большой из ионийских островов, только проливом отделенный от Итаки. По Гомеру, жившие там кефаллены были подвластны Одиссею.

К КНИГЕ ШЕСТОЙ

VI, *3. Финикоптер*—птица с ярким красным оперением, упоминаемая и в «Птицах» Аристофана (ст. 272).

VI, *3. Фэникс* — мифическая птица; о ней см. Ахилл Татий, III, 25 и Геродот, II, 73.

К КНИГЕ СЕДЬМОЙ

VII, 8. *Драхма* – около 25 копеек.

VII, *10*, Илиада, IV, *236*.

Он (Главк) Диомеду герою доспех золотой свой на медный,
Во сто ценимый тельцов, обменял на стоящий девять.

VII, *13. Герой Каласирид*—в сакральном смысле слова как блаженный покойник.

К КНИГЕ ВОСЬМОЙ

VIII, *11. Персефона* (у римлян *Прозерпина*)—дочь Зевса и Деметры, супруга Аида, повелительница теней.

К КНИГЕ ДЕВЯТОЙ

IX, *3. Плефр* — 1/6 стадия, который равен 185 метрам.

IX, 3. *Длинные стены* — так назывались оборонительные стены, соединяющие Афины с Пиреем.

IX, *9. Мисты*—посвященные в таинства.

IX, *19.* Намек на звуковое сходство слов ὀϊστός (стрела) и ὀστέον (кость.)

IX, *22. Новый ил — Ипл* — фантастическая этимология слова «Нил».

IX, *22.* Греческие буквы имели также значение цифр. Сумма цифровых значений букв, составляющих слово

Νεῖλος (Нил), действительно равна *365*: Ν = 50, ε = 5, ι = 10, λ = 30, ο = 70, ς = 200.

К КНИГЕ ДЕСЯТОЙ

X, *26*. *Счастливые арабы*, т. е. арабы из так называемой Счастливой Аравии — так называли греки самый Аравийский полуостров, песчаные же пустыни к югу от Пальмиры и до полуострова назывались пустынной Аравией.

X, *26*. *Талант*, как мера веса — 26 килограмов.

X, *31*. *Гимнасий*—место для гимнастических упражнений.

X, *39*. *Светоч—лампадион*—театральный термин.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Редактор А. Н. Егунов.
Техн. редактор Г. Л. Гилес.
Сдана в набор 16/IX—31 г.
Подписана к печати 22/V—32 г.
Бумага 74×105 $^1/_{32}$. Тип. знак.
в 1 печ. л. 60 000. № 17. Ленгорлит № 10360, Тираж 5 250.
Печ. лист. $15^1/_2$, Заказ № 7870.
2-я тип. Транспечати НКПС
им. т. Лоханкова. Ленинград,
ул. Правды, 15.

